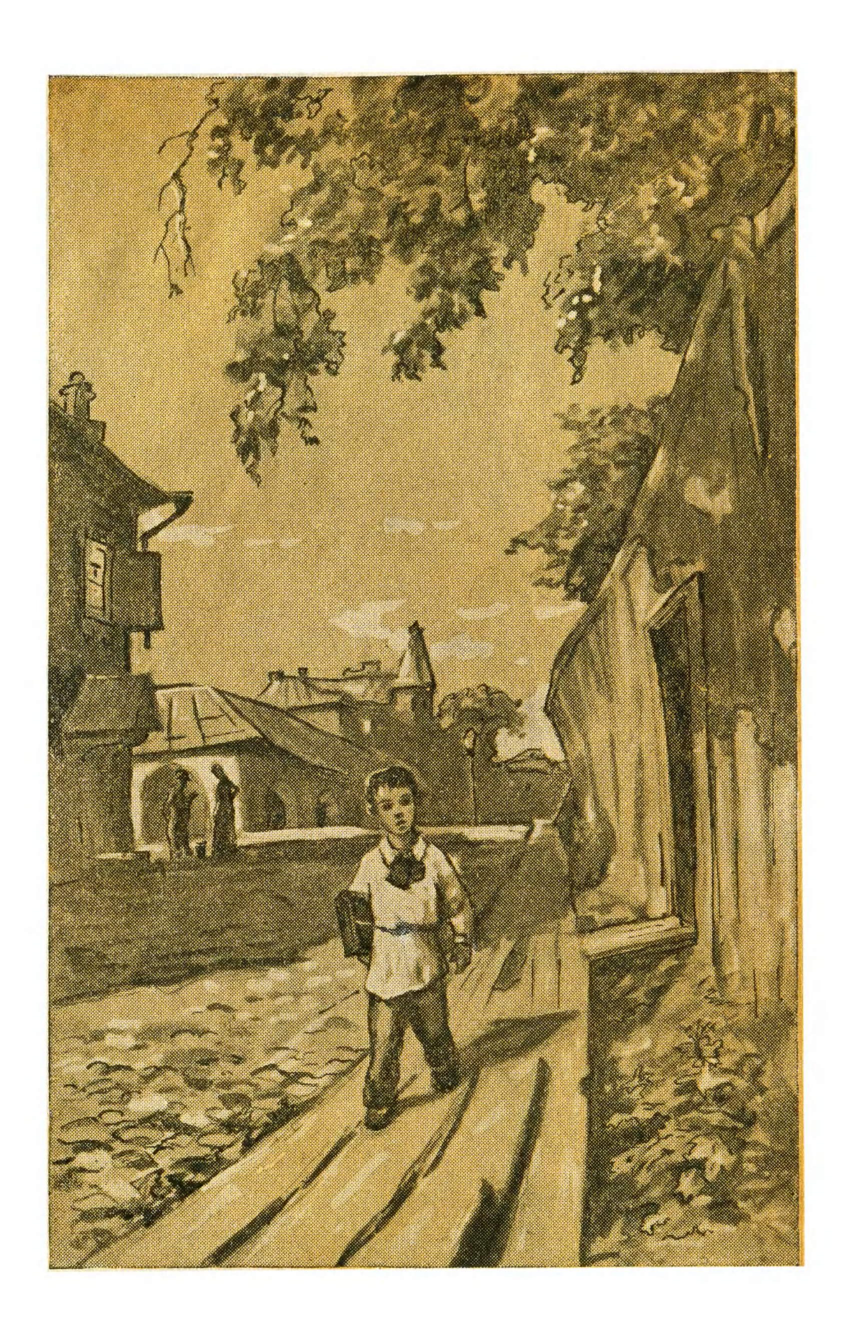
В. Г. Короленко

ИСТОРИЯ МОЕГО СОВРЕМЕННИКА






Скан и обработка:
krestik



В. Г. Короленко

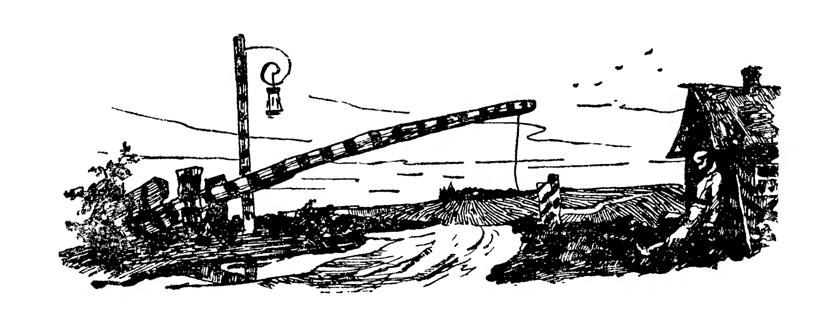
ИСТОРИЯ МОЕГО СОВРЕМЕННИКА

РАННЕЕ ДЕТСТВО И ГОДЫ УЧЕНЬЯ



Молотовское книжное издательство
г. Молотов — 1955 г.

Подготовка текста, послесловие
и примечания Б. Летова
Печатается по изданию Детгиза
Москва-Ленинград 1953 г.



РАННЕЕ ДЕТСТВО

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ БЫТИЯ

Я помню себя рано, но первые мои впечатления разрозненны, точно ярко освещенные островки среди бесцветной пустоты и тумана.

Самое раннее из этих воспоминаний — сильное зрительное впечатление пожара. Мне мог идти тогда второй год, но я совершенно ясно вижу и теперь языки пламени над крышей сарая во дворе, странно освещенные среди ночи стены большого каменного дома и его отсвечивающие пламенем окна. Помню себя, тепло закутанного, на чьих-то руках, среди кучки людей, стоявших на крыльце. Из этой неопределенной толпы память выделяет присутствие матери, между тем как отец, хромой, опираясь на палку, подымается по лестнице каменного дома во дворе напротив, и мне кажется, что он идет в огонь. Но это меня не пугает. Меня очень занимают мелькающие, как головешки, по двору каски пожарных, потом одна пожарная бочка у ворот и входящий в ворота гимназист с укороченной ногой и высоким наставным каблуком.. Ни страха, ни тревоги я, кажется, не испытывал, связи явлений не устанавливал. В мои глаза в первый еще раз в жизни попадало столько огня, пожарные каски и гимназист с короткой ногой, и я внима-

тельно рассматривал все эти предметы на глубоком фоне ночной тьмы. Звуков я при этом не помню: вся картина только безмолвно переливает в памяти пловучими отсветами багрового пламени.

Вспоминаю, затем, несколько совершенно незначительных случаев, когда меня держат на руках, унимают мои слезы или забавляют. Мне кажется, что я вспоминаю, но очень смутно, свои первые шаги... Голова у меня в детстве была большая, и при падениях я часто стукался ею об пол. Один раз это было на лестнице. Мне было очень больно, и я громко плакал, пока отец не утешил меня особым приемом. Он побил палкой ступеньку лестницы, и это доставило мне удовлетворение. Вероятно, я предполагал в деревянной доске злую и враждебную волю. И вот ее бьют за меня, а она даже не может уйти.... Разумеется, эти слова очень грубо переводят тогдашние мои ощущения, но доску и как будто выражение ее покорности под ударами вспоминаю ясно.

Впоследствии то же ощущение повторилось в более сложном виде. Я был уже несколько больше. Был необыкновенно светлый и теплый лунный вечер. Это вообще первый вечер, который я запомнил в своей жизни. Родители куда-то уехали, братья, должно быть, спали, нянька ушла на кухню, и я остался с одним только лакеем, носившим неблагозвучное прозвище Гандыло. Дверь из передней на двор была открыта, и в нее откуда-то, из озаренной луною дали, неслось рокотание колес по мощеной улице. И рокотание колес я тоже в первый раз выделил в своем сознании, как особое явление; и в первый же раз я не спал так долго... Мне было страшно,—вероятно, днем рассказывали о ворах. Мне показалось, что наш двор при лунном свете очень странный и что в открытую дверь со двора непременно войдет «вор». Я как будто знал, что вор — человек, но вместе он представлялся мне и не совсем человеком, а каким-то человекообразным таинственным существом, которое сделает мне зло уже одним своим внезапным появлением. От этого я вдруг громко заплакал.

Не знаю уж, по какой логике, но лакей Гандыло опять принес отцовскую палку и вывел меня на крыльцо, где я,— быть может, по связи с прежним эпизодом такого же рода, — стал крепко бить ступеньку лестницы. И на этот раз это опять доставило удовлетворение; трусость моя прошла настолько, что еще раза два я бесстрашно выходил

наружу уже один, без Гандыла, и опять колотил на лестнице воображаемого вора, упиваясь своеобразным ощущением своей храбрости. На следующее утро я с увлечением рассказывал матери, что вчера, когда ее не было, к нам приходил вор, которого мы с Гандылом крепко побили. Мать снисходительно поддакивала. Я знал, что никакого вора не было и что мать это знает. Но я очень любил мать в эту минуту за то, что она мне не противоречит. Мне было бы тяжело отказаться от того воображаемого существа, которого я сначала боялся, а потом положительно «чувствовал», при странном лунном сиянии, между моей палкой и ступенькой лестницы. Это не была зрительная галлюцинация, но было какое-то упоение от своей победы над страхом...

Еще стоит островком в моей памяти путешествие в Кишинев, к деду с отцовской стороны. Из этого путешествия я помню переправу через реку (кажется, Прут), когда наша коляска была установлена на плоту и, плавно колыхаясь, отделилась от берега, или берег отделился от нее,— я этого еще не различал. В то же время переправлялся через реку отряд солдат, причем, мне помнится, солдаты плыли по-двое и по-трое на маленьких квадратных плотиках, чего, кажется, при переправах войск не бывает. Я с любопытством смотрел на них, а они смотрели на нашу коляску и говорили что-то, мне непонятное. Кажется, эта переправа была в связи с севастопольской войной [1].

В тот же вечер, вскоре после переезда через реку, я испытал первое чувство резкого разочарования и обиды. Внутри просторной дорожной коляски было темно. Я сидел у кого-то на руках впереди, и вдруг мое внимание привлекла красноватая точка, то вспыхивавшая, то угасавшая в углу, в том месте, где сидел отец. Я стал смеяться и потянулся к ней. Мать говорила что-то предостерегающее, но мне так хотелось ближе ознакомиться с интересным предметом или существом, что я заплакал. Тогда отец подвинул ко мне маленькую красную звездочку, ласково притаившуюся под пеплом. Я потянулся к ней указательным пальцем правой руки; некоторое время она не давалась, но потом вдруг вспыхнула ярче, и меня внезапно обжег резкий

[1] Севастопольская война — Крымская война 1853—1856 годов. Соединенные силы англичан, французов и турок совершили нападение на Россию и высадились в Крыму. Главное событие этой войны — героическая оборона Севастополя русскими войсками.

укус. Думаю, что по силе впечатления теперь этому могло бы равняться разве крепкое и неожиданное укушение ядовитой змеи, притаившейся, например, в букете цветов. Огонек казался мне сознательно хитрым и злым. Через два-три года, когда мне вспомнился этот эпизод, я прибежал к матери, стал рассказывать и заплакал. Это были опять слезы обиды...

Подобное же разочарование вызвало во мне первое купание. Река произвела на меня чарующее впечатление: мне были новы, странны и прекрасны мелкие зеленоватые волны зыби, врывавшиеся под стенки купальни, и то, как они играли блестками, осколками небесной синевы и яркими кусочками как будто изломанной купальни. Всё это казалось мне весело, живо, бодро, привлекательно и дружелюбно, и я упрашивал мать поскорее внести меня в воду. И вдруг — неожиданное и резкое впечатление не то холода, не то ожога. Я громко заплакал и так забился на руках у матери, что она чуть меня не выронила. Купание мое на этот раз так и не состоялось. Пока мать плескалась в воде с непонятным для меня наслаждением, я сидел на скамье, надувшись, глядел на лукавую зыбь, продолжавшую играть так же заманчиво осколками неба и купальни, и сердился... На кого? Кажется, на реку.

Это были первые разочарования: я кидался навстречу природе с доверием незнания, она отвечала стихийным бесстрастием, которое мне казалось сознательно враждебным... Еще одно из тех первичных ощущений, когда явление природы впервые остается в сознании выделенным из остального мира, как особое и резко законченное, с основными его свойствами. Это — воспоминание о первой прогулке в сосновом бору. Здесь меня положительно заворожил протяжный шум лесных верхушек, и я остановился, как вкопанный, на дорожке. Этого никто не заметил, и всё наше общество пошло дальше. Дорожка в нескольких саженях впереди круто спускалась книзу, и я глядел, как на этом изломе исчезали сначала ноги, потом туловища, потом головы нашей компании. Я ждал с жутким чувством, когда исчезнет последней яркобелая шляпа дяди Генриха, самого высокого из братьев моей матери, и, наконец, остался один... Я, кажется, чувствовал, что «один в лесу» — это, в сущности, страшно, но, как заколдованный, не мог ни двинуться, ни произнести звука и только слушал то тихий свист, то звон, то смутный говор и вздохи леса, сливавшиеся в протяжную,

глубокую, нескончаемую и осмысленную гармонию, в которой улавливались одновременно и общий гул, и отдельные голоса живых гигантов, и колыхания, и тихие поскрипывания красных стволов... Всё это как бы проникало в меня захватывающей могучей волной... Я переставал чувствовать себя отдельно от этого моря жизни, и это было так сильно, что, когда меня хватились, и брат матери вернулся за мной, то я стоял на том же месте и не откликался... Подходившего ко мне дядю, в светлом костюме и соломенной шляпе, я видел, точно чужого незнакомого человека во сне...

Впоследствии и эта минута часто вставала в моей душе, особенно в часы усталости, как первообраз глубокого, но живого покоя... Природа ласково манила ребенка в начале его жизни своей нескончаемой, непонятной тайной, как будто обещая где-то в бесконечности глубину познания и блаженство разгадки...

Как, однако, грубо наши слова выражают наши ощущения... В душе есть тоже много непонятного говора, который не выразить грубыми словами, как и речи природы... И это именно то, где душа и природа составляют одно...

Всё это разрозненные, отдельные впечатления полусознательного существования, не связанные как будто ничем, кроме личного ощущения. Последним из них является переезд на новую квартиру... И даже не переезд (его я не помню, как не помню и прежней квартиры), а опять первое впечатление от «нового дома», от «нового двора» и сада. Всё это показалось мне новым миром, но странно: затем это воспоминание выпадает из моей памяти. Я вспомнил о нем только уже через несколько лет и, когда вспомнил, то даже удивился, так как мне представлялось в то время, что мы жили в этом доме вечно и что вообще в мире никаких крупных перемен не бывает. Основным фоном моих впечатлений за несколько детских лет является бессознательная уверенность в полной законченности и неизменяемости всего, что меня окружало. Если бы я имел ясное понятие о творении, то, вероятно, сказал бы тогда, что мой отец (которого я знал хромым) так и был создан с палкой в руке, что мать моя всегда была такая же красивая, голубоглазая женщина с русой косой, что даже сарай за домом так и явился на свет покосившимся и с зелеными лишаями на крыше. Это было тихое, устойчивое нарастание жизненных сил, плавно уносившее меня вместе с окружающим мирком, а берега стороннего необъятного мира, по которым можно было бы

заметить движение, мне тогда не были видны... И сам я, казалось, всегда был таким же мальчиком с большой головой, причем старший брат был несколько выше меня, а младший ниже... И эти взаимные отношения должны были остаться навсегда... Мы говорили иной раз: «когда мы будем большими», или: «когда мы умрем», но это была глупая фраза, пустая, без живого содержания...

Однажды утром мой младший брат, который и засыпал, и вставал раньше меня, подошел к моей постели и сказал с особенным выражением в голосе:

— Вставай, скорей... Что я тебе покажу!

— Что такое?

— Увидишь. Скорей, я ждать не стану.

И он опять ушел на двор с видом серьезного человека, не желающего терять время. Я торопливо оделся и вышел за ним. Оказалось, что какие-то незнакомые нам мужики совершенно разрушили наше парадное крыльцо. От него оставалась куча досок и разной деревянной гнили, а выходная дверь странным образом висела высоко над землей. А главное — под дверью зияла глубокая рана из облупленной штукатурки, темных бревен и свай... Впечатление было резко, отчасти болезненно, но еще более поразительно. Брат стоял неподвижно, глубоко заинтересованный, и провожал глазами каждое движение плотников. Я присоединился к его безмолвному созерцанию, а вскоре к нам обоим присоединилась и сестра. И так мы простояли долго, ничего не говоря и не двигаясь. Дня через три-четыре новое крыльцо было готово на месте старого, и мне положительно казалось, что физиономия нашего дома совершенно изменилась. Новое крыльцо было явно «приставлено», тогда как старое казалось органической частью нашего почтенного цельного дома, как нос или брови у человека.

А главное, — в душе отложилось первое впечатление «изнанки» и того, что под этой гладко выстроганной и закрашенной поверхностью скрыты сырые, изъеденные гнилью сваи и зияющие пустоты.

МОЙ ОТЕЦ

По семейному преданию, род наш шел от какого-то миргородского казачьего полковника, получившего от польских королей гербовое дворянство. После смерти моего деда отец, ездивший на похороны, привез затейливую печать, на

которой была изображена ладья с двумя собачьими головами на носу и корме и с зубчатой башней посредине. Когда однажды мы, дети, спросили, что это такое, то отец ответил, что это наш «герб» и что мы имеем право припечатывать им свои письма, тогда как другие люди этого права не имеют. Называется эта штука по-польски довольно странно: «Korabl i Lodzia» (ковчег и ладья), но какой это имеет смысл, сам отец объяснить нам не может; пожалуй, и никакого смысла не имеет... А вот есть еще герб, так тот называется проще: «pchla na benbenku hopki tnie» [1] и имеет более смысла, потому что казаков и шляхту [2] в походах сильно кусали блохи... И, взяв карандаш, он живо набросал на бумаге блоху, отплясывающую на барабане, окружив ее щитом, мечом и всеми гербовыми атрибутами. [3] Рисовал он порядочно, и мы смеялись. Таким образом, к первому же представлению о наших дворянских «клейнодах» [4] отец присоединил оттенок насмешки, и мне кажется, что это у него было сознательно. Мой прадед, по словам отца, был полковым писарем, дед — русским чиновником, как и отец. Крепостными душами и землями они, кажется, никогда не владели... Восстановить свои потомственно-дворянские права отец никогда не стремился, и, когда он умер, мы оказались «сыновьями надворного советника» [5], с правами беспоместного служилого дворянства, без всяких реальных связей с дворянской средой, да, кажется, и с какой бы то ни было другой.

Образ отца сохранился в моей памяти совершенно ясно: человек среднего роста, с легкой наклонностью к полноте. Как чиновник того времени, он тщательно брился; черты его лица были тонки и красивы. Орлиный нос, большие карие глаза и губы с сильно изогнутыми верхними линиями. Говорили, что в молодости он был похож на Наполеона Первого, особенно когда надевал по-наполеоновски чинов-

---

1 Pchla na benbenku hopki tnie (польск.) — блоха отплясывает на барабане.

2 Шляхта — польское дворянство.

3 Атрибуты (лат.) — характерные признаки, свойства какого-либо предмета или явления.

4 «Клейноды» (польск.) — гербы.

5 Надворный советник — в царской России люди, состоявшие на государственной службе, получали особые звания — чины и назывались чиновниками. Высшим был чин первого класса, низшим — четырнадцатого. Надворный советник относился к седьмому классу.

ничью треуголку. Но мне трудно было представить Наполеона хромым, а отец всегда ходил с палкой и слегка волочил левую ногу.

На лице его постоянно было выражение какой-то затаенной печали и заботы. Лишь изредка оно прояснялось. Иной раз он собирал нас к себе в кабинет, позволял играть и ползать по себе, рисовал картинки, рассказывал смешные анекдоты и сказки. Вероятно, в душе этого человека был большой запас благодушия и смеха: даже своим поучениям он придавал полуюмористическую форму, и мы в эти минуты его очень любили. Но эти проблески становились с годами всё реже, природная веселость всё гуще задергивалась меланхолией[1] и заботой. Под конец его хватало уже лишь на то, чтобы дотягивать кое-как наше воспитание, и в более сознательные годы у нас уже не было с отцом никакой внутренней близости... Так он и сошел в могилу, мало знакомый нам, его детям. И только долго спустя, когда миновали годы юношеской беззаботности, я собрал черта за чертой, что мог, об его жизни, и образ этого глубоко-несчастного человека ожил в моей душе — и более дорогой, и более знакомый, чем прежде..

Он был чиновник. Объективная история его жизни сохранилась поэтому в «послужных списках». Родился в 1810 году, в 1826 поступил в писцы... Умер в 1868 году в чине надворного советника... Вот скудная канва, на которой, однако, вышиты были узоры всей человеческой жизни... Надежды, ожидания, проблески счастья, разочарование... Среди пожелтевших бумаг сохранилась одна, собственно ненужная впоследствии, но которую отец сберег, как воспоминание. Это — полуофициальное письмо кн. Васильчикова по поводу назначения отца уездным судьей в город Житомир. «Суд этот, — пишет князь Васильчиков, — по случаю присоединения к нему магистрата[2], принимая более обширный а следственно, и более важный круг действий, требует председательствующего, который бы, вполне постигая свое назначение, дал судопроизводству удовлетворительное начало». В этих видах князь и выбирает отца. В конце письма «вельможа» с большим вниманием входит в положение скромного чиновника, как человека семейного, для которого

[1] Меланхолия — уныние, тоска, грусть.

[2] Магистрат — в царской России в годы юности Короленко — городское управление, которое ведало судебно-административными и податными делами города.

перевод сопряжен с неудобствами, но с тем вместе указывает, что новое назначение открывает ему широкие виды на будущее, и просит приехать как можно скорее. Последние строки вписаны автором письма собственноручно, и тон проникнут уважением. Это была скромная, теперь забытая, неудавшаяся, но всё же реформа, и блестящий вельможа, самодур и сатрап[1] как все вельможи того времени, не лишенный, однако, некоторых «благих намерений и порывов», — звал в сотрудники скромного чиновника, в котором признавал нового человека для нового дела...

Это было... в 1849 году, и отцу предлагалась должность уездного судьи в губернском городе. Через двадцать лет он умер в той же должности в глухом уездном городишке...

Итак, он был по службе очевидный неудачник...

Для меня несомненно, что это объясняется его донкихотскою честностью.

Среда не очень ценит исключения, которых не понимает, и потому беспокоится... Каждый раз на новом месте отцовской службы неизменно повторялись одни и те же сцены: к отцу являлись «по освященному веками обычаю» представители разных городских сословий с приношениями.. Отец отказывался сначала довольно спокойно. На другой день депутации являлись с приношениями в усиленном размере, но отец встречал их уже грубо, а на третий бесцеремонно гнал «представителей» палкой, а те толпились в дверях, с выражением изумления и испуга... Впоследствии, ознакомившись с деятельностью отца, все проникались к нему глубоким уважением. Все признавали, от мелкого торговца до губернского начальства, что нет такой силы, которая бы заставила судью покривить душою против совести и закона, но... и при этом находили, что если бы судья вдобавок принимал умеренные «благодарности», то было бы понятнее, проще и вообще «более по-людски»...

Уже в период довольно сознательной моей жизни случился довольно яркий эпизод этого рода. В уездном суде шел процесс богатого помещика, графа Е-ского, с бедной родственницей, кажется, вдовой его брата. Помещик был магнат[2] с большими связями, средствами и влиянием, которые он деятельно пустил в ход. Вдова вела процесс

---

[1] Сатрап — жестокий властелин-самодур, деспот.

[2] Магнат — представитель родовитой и богатой знати в старой Польше, крупный землевладелец.

«по праву бедности», не внося гербовых пошлин, и все предсказывали ей неудачу, так как дело всё-таки было запутанное, а на суд было оказано давление. Перед окончанием дела появился у нас сам граф; его карета с гербами раза два-три останавливалась у нашего скромного домика, и долговязый гайдук[1] в ливрее[2] торчал у нашего покосившегося крыльца. Первые два раза граф держался величаво, но осторожно, и отец только холодно и формально отстранял его подходы. Но в третий раз он, вероятно, сделал прямое предложение. Отец, внезапно вспылив, обругал аристократа каким-то неприличным словом и застучал палкой. Граф, красный и взбешенный, вышел от отца с угрозами и быстро сел в свою карету.

Вдова тоже приходила к отцу, хотя он не особенно любил эти посещения. Бедная женщина, в трауре и с заплаканными глазами, угнетенная и робкая, приходила к матери, что-то рассказывала ей и плакала. Бедняге всё казалось, что она еще что-то должна растолковать судье; вероятно, это всё были ненужные пустяки, на которые отец только отмахивался и произносил обычную у него в таких случаях фразу:

— А! Толкуй больной с подлекарем!.. Всё будет сделано по закону...

Процесс был решен в пользу вдовы, причем все знали, что этим она обязана исключительно твердости отца.

Когда она опять явилась в нашу квартиру, на этот раз в коляске, — все с трудом узнавали в ней прежнюю скромную просительницу. Ее траур кончился, она как будто даже помолодела и сияла радостью и счастьем. Отец принял ее очень радушно, с той благосклонностью, которую мы обыкновенно чувствуем к людям, нам много обязанным. Но когда она попросила «разговора наедине», то вскоре тоже вышла из кабинета с покрасневшим лицом и слезами на глазах. Добрая женщина знала, что перемена ее положения всецело зависела от твердости, пожалуй, даже некоторого служебного героизма этого скромного хромого человека. Но сама она не в силах ничем существенным выразить ему свою благодарность.

Ее это огорчило, даже обидело. На следующий день она приехала к нам на квартиру, когда отец был на службе, а

[1] Гайдук — слуга, лакей. Сопровождал своих хозяев при выездах, стоя на запятках кареты.

[2] Ливрея — форменная одежда слуги из богатого дома.

мать случайно отлучилась из дому, и навезла разных материй и товаров, которыми завалила в гостиной всю мебель. Между прочим, она подозвала сестру и поднесла ей огромную куклу, прекрасно одетую, с большими голубыми глазами, закрывавшимися, когда ее клали спать.

Мать была очень испугана, застав все эти подарки. Когда отец пришел из суда, то в нашей квартирке разразилась одна из самых бурных вспышек, какие я только запомню. Он ругал вдову, швырял материи на пол, обвинял мать и успокоился лишь тогда, когда перед подъездом появилась тележка, на которую навалили все подарки и отослали обратно.

Но тут вышло неожиданное затруднение. Когда очередь дошла до куклы, то сестра решительно запротестовала, и протест ее принял такой драматический характер, что отец после нескольких попыток всё-таки уступил, хотя и с большим неудовольствием.

— Через вас я стал-таки взяточником, — сказал он сердито, уходя в свою комнату.

На это все смотрели тогда, как на бесцельное чудачество.

— Ну, кому, скажи, пожалуйста, вред от благодарности, — говорил мне один «добродетельный» подсудок,[1] «не бравший взяток», — подумай: ведь дело кончено, человек чувствует, что всем тебе обязан, и идет с благодарной душой... А ты его чуть не собаками... За что?

Я почти уверен, что отец никогда и не обсуждал этого вопроса с точки зрения непосредственного вреда или пользы. Я догадываюсь, что он вступал в жизнь с большими и, вероятно, не совсем обычными для того времени ожиданиями. Но жизнь затерла его в серой и грязной среде. И он дорожил, как последней святыней, этой чертой, которая выделяла его не только из толпы заведомых «взяточников», но также и из среды добродетельных людей тогдашней золотой середины. И чем труднее приходилось ему с большой и всё возраставшей семьей, тем с большей чуткостью и исключительностью он отгораживал свою душевную независимость и гордость.

Кругом стояло (именно «стояло», как загнившее болото) повальное взяточничество и неправда. «Чиновники» того самого суда, где служил отец, несомненно, брали направо

---

[1] Подсудок — судебный чиновник.

и налево и притом не только «благодарности», но и заведомые «хабары» [1]. Я помню, как один «уважаемый» господин, хороший знакомый нашей семьи, человек живой и остроумный, на одном вечере у нас, в довольно многочисленной компании, чрезвычайно картинно рассказывал, как однажды он помог еврею-контрабандисту увернуться от ответственности и спасти огромную партию захваченного товара. Контрабандисты обещали обогатить начинавшего карьеру мелкого чиновника, но... он исполнил их просьбу раньше, чем они свое обещание. Для расчета ему назначили свидание ночью в каком-то уединенном месте, где он и ждал до зари. Я очень живо помню картинное описание этой ночи; чиновник ждал еврея, как «влюбленный свою возлюбленную». Он чутко вслушивался в ночные звуки, он лихорадочно поднимался навстречу каждому шороху. И всё общество с захватывающим вниманием следило за переходами от надежды к разочарованию в этой взяточнической драме. Когда же оказалось, что чиновника надули, то драма разрешилась общим смехом, под которым, однако, угадывалось и негодование против еврея, и некоторое сочувствие к обманутому. Отец был тут же, и моя память ясно рисует картину: карточный стол, освещенный сальными свечами, за ним четыре партнера. Среди них — мой отец, а против него — герой контрабандного анекдота, сопровождающий остротами каждую бросаемую карту. Отец весело смеется.

Вообще он относился к среде с большим благодушием, ограждая от неправды только небольшой круг, на который имел непосредственное влияние. Помню несколько случаев, когда он приходил из суда домой глубоко огорченный. Однажды, когда мать, с тревожным участием глядя в его расстроенное лицо, подала ему тарелку супу, — он попробовал есть, съел две-три ложки — и отодвинул тарелку.

— Не могу, — сказал он...

— Дело кончилось? — спросила мать тихо.

— Да... каторга...

— Боже мой! — испуганно сказала мать. — А ты что же?

— А! Толкуй больной с подлекарем, — ответил отец с раздражением: — я! я!.. что я могу сделать!

Но затем он прибавил мягче:

— Сделал, что мог... Закон ясен.

---

[1] Хабара — взятка.

Он не обедал в этот день и не лег по обыкновению спать после обеда, а долго ходил по кабинету, постукивая на ходу своей палкой. Когда часа через два мать послала меня в кабинет посмотреть, не заснул ли он и, если не спит, позвать к чаю, — то я застал его перед кроватью на коленях. Всё несколько тучное тело его вздрагивало... Он горько плакал...

ОТЕЦ И МАТЬ

У отца были свои причины для глубокой печали и раскаяния, которым была окрашена вся, известная мне его жизнь...

В молодых годах он был очень красив и пользовался огромным успехом у женщин. Повидимому, весь избыток молодых, может быть, недюжинных сил он отдавал разного рода предприятиям и приключениям в этой области, и это продолжалось за тридцать лет. Собственная практика внушила ему глубокое недоверие к женской добродетели, и, задумав жениться, он составил своеобразный план для ограждения своего домашнего спокойствия...

В Ровенском уезде Волынской губернии, где он в то время служил исправником,[1] жил поляк-шляхтич, средней руки арендатор чужих имений. Относительно этого человека было известно, что он одно время был юридическим владельцем и фактическим распорядителем огромного имения, принадлежавшего графам В. Старый граф смертельно заболел, когда его сын, служивший в гвардии в Царстве Польском, был за что-то предан военному суду. Опасаясь лишения прав и перехода имения в другую линию, старик призвал известного ему шляхтича и, взяв с него соответствующее обещание, — сделал завещание в его пользу. После этого старик умер, сын был сослан в Кавказ рядовым, а шляхтич стал законным владельцем огромных имений... Когда, через несколько лет, молодой граф, отличавшийся безумной храбростью в сражениях с горцами, был прощен и вернулся на родину, то шляхтич пригласил соседей, при них сдал, как простой управляющий, самый точный отчет по имениям и огромные суммы, накопленные за время управления. Молодой аристократ обнимал его, называл своим благодетелем и клялся в вечной дружбе. Но очень скоро забыл все клятвы и сделал какие-то нечестные и легкомысленные

---

[1] Исправник — начальник уездной полиции в царской России.

посягательства в семье своего благодетеля. Дед оскорбил барчука и ушел от него нищим, так как во всё время управления имениями не позволял себе «самовольно» определить цифру своего жалования. А магнат об этом после ссоры и не подумал...

Таково семейное предание об отце моей матери.

Семья у него была многочисленная (четыре дочери и два сына). Одна из дочерей была еще подросток, тринадцати лет, совсем девочка, ходившая в коротких платьях и игравшая в куклы. На ней именно остановился выбор отца. С безотчетным эгоизмом он, повидимому, проводил таким образом план ограждения своего будущего очага: в семье, в которой мог предполагать традиции общепризнанной честности, он выбирал себе в жены девочку полуребенка, которую хотел воспитать, избегая периода девичьего кокетства... Дед был против этого раннего брака, но уступил настояниям своей жены. Формальные препятствия, вытекавшие из несовершеннолетия невесты, были устранены свидетельством «пятнадцати обывателей», из комнаты моей будущей матери вынесли игрушки, короткие платьица сменили подвенечным, и брак состоялся.

Подвести жизненные итоги — дело очень трудное. Счастье и радость так перемешаны с несчастием и горем, что я теперь не знаю, был ли счастлив или несчастен брак моих родителей...

Начинался он, во всяком случае, очень тяжело для матери...

Ко времени своей свадьбы она была болезненная девочка, с худенькой, не вполне сложившейся фигуркой, с тяжелой светлорусой косой и прекрасными, лучистыми серо-голубыми глазами. Через два года после свадьбы у нее родилась девочка, которая через неделю умерла, оставив глубокий рубец в ее еще детском сердце. Отец оказался страшно ревнив. Ревность его сказывалась дико и грубо: каждый мужской взгляд, брошенный на его молоденькую жену, казался ему нечистым, а ее детский смех в ответ на какую-нибудь шутку в обществе представлялся непростительным кокетством. Дело доходило до того, что, уезжая, он запирал жену на замок, и молодая женщина, почти ребенок, сидя взаперти, горько плакала от детского огорчения и тяжкой женской обиды...

На третьем или четвертом году после свадьбы отец уехал по службе в уезд и ночевал в угарной избе. Наутро его

вынесли без памяти в одном белье и положили на снег. Он очнулся, но половина его тела оказалась парализованной. К матери его доставили почти без движения и, несмотря на все меры, он остался на всю жизнь калекой...

Таким образом, жизнь моей матери в самом начале оказалась связанной с человеком старше ее, больше чем вдвое, которого она еще не могла полюбить, потому что была совершенно ребенком, который ее мучил и оскорблял с первых же дней и наконец — стал калекой...

И всё-таки я не могу сказать — была ли она несчастна...

Уже на моей памяти, по чьему-то доносу, возникло дело о расторжении этого брака, и отец был серьезно напуган этим делом. В нашем доме стали появляться какие-то дотоле невиданные фигуры в мундирах с медными пуговицами, которых отец принимал, угощал обедами, устраивал для них карточные вечера. Особенно из этой коллекции консисторских чиновников[1] запомнился мне секретарь, человек низенького роста, в долгополом мундире, фалды которого чуть не волочились по полу, с нечистым лицом, производившим впечатление красной пропускной бумаги с чернильными кляксами. Глаза у него были маленькие, блестящие и быстрые. Прежде чем сесть за обеденный стол, он обыкновенно обходил гостиную, рассматривая и трогая руками находившиеся в ней предметы. И я замечал, что те предметы, на которых с особенным вниманием останавливались его остренькие глазки, вскоре исчезали из нашей квартиры. Так исчезла, между прочим, семейная драгоценность — большой телескоп, в который отец показывал нам луну... Мы очень жалели эту трубу, но отец с печальной шутливостью говорил, что этот долгополый чиновник может сделать так, что он и мама не будут женаты и что их сделают монахами. А так как у неженатых и при том монахов не должно быть детей, то значит, — прибавлял отец, — и вас не будет. Мы, конечно, понимали, что это шутка, но не могли не чувствовать, что теперь вся наша семья непонятным образом зависит от этого человека с металлическими пуговицами и лицом, похожим на кляксу.

Однажды, в это время, я вбежал в спальную матери и увидел отца и мать с заплаканными лицами. Отец нагнулся и целовал ее руку, а она ласково гладила его по голове

---

[1] Консисторские чиновники — чиновники местного духовного (церковного) управления — консистории.

и как будто утешала в чем-то, как ребенка. Я никогда ранее не видел между отцом и матерью ничего подобного, и мое маленькое сердчишко сжалось от предчувствия.

Оказалось, однако, что кризис миновал благополучно, и вскоре пугавшие нас консисторские фигуры исчезли.

Но я и теперь помню ту минуту, когда я застал отца и мать такими растроганными и исполненными друг к другу любви и жалости. Значит, к тому времени они уже сжились и любили друг друга тихо, но прочно.

Этот именно тон взаимного уважения и дружбы застает моя память во весь тот период, когда мир казался мне неизменным и неподвижным.

Отец был человек глубоко религиозный и, кажется, в своем несчастии видел праведное воздаяние за грехи молодости. Ему казалось, кроме того, что за его грехи должны поплатиться также и дети, которые будут непременно слабыми и которых он не успеет «вывести в люди». Поэтому одной из его главных забот было лечение себя и нас. А так как он был человек с фантазиями и верил в чудодейственные универсальные средства, то нам пришлось испытать на себе благодетельное действие аппретур[1] на руках, фонтанелей[2] за ушами, рыбьего жира с хлебом и солью, кровеочистительного сиропа Маттеи, пилюль Мориссона и даже накалывателя некоего Боншайта, который должен был тысячью мелких уколов усиливать кровообращение. Потом появился в нашей квартире гомеопат, доктор Червинский, круглый человек, с толстой палкой, в виде кадуцея[3] со змеей. В этот период мой старший брат, большой лакомка, добрался как-то в отсутствии родителей до гомеопатической аптечки и съел сразу весь запас мышьяку в пилюлях. Отец сначала очень испугался, но когда убедился, что брат остался в вожделенном здравии, то... усомнился в гомеопатии...[4]

---

[1] Аппретура — нанесение, с лечебными целями, на поверхность кожи особых веществ: жиров, касторового или хлопкового масла и пр.

[2] Фонтанели — искусственные раны, в которых поддерживалось незначительное нагноение. По ошибочному мнению старой медицины, такая рана отвлекала «вредные соки» из организма человека.

[3] Кадуцея — жезл глашатаев у древних греков и римлян. Крылатая палка, обвитая двумя змеями.

[4] Гомеопатия — один из способов лекарственного лечения болезней.

После этого глубокомысленные сочинения Ганемана[1] исчезли с отцовского стола, а на их месте появилась новая книжка в скромном черном переплете. На первой же странице была виньетка со стихами (на польском языке):

Если хочешь стать крепким, жить долгие годы,
Купайся, обливайся, пей холодную воду...

Для вящей убедительности на виньетке были изображены три голых человека, изрядного телосложения, из коих один стоял под душем, другой сидел в ванне, а третий с видимым наслаждением опрокидывал себе в глотку огромную кружку воды...

Мы, дети, беспечно рассматривали эту виньетку, но истинное значение ее поняли только на следующее утро, когда отец велел поднять нас с постели и привести в его комнату. В этой комнате стояла широкая бадья с холодной водой, и отец, предварительно проделав всю процедуру над собой, заставил нас по очереди входить в бадью и, черпая жестяной кружкой ледяную воду, стал поливать нас с головы до ног. Это было большое варварство, но вреда нам не принесло, и вскоре мы «закалились» до такой степени, что в одних рубашках и босые спасались по утрам с младшим братом в старую коляску, где, дрожа от холода (дело было осенью, в период утренних заморозков), ждали, пока отец уедет на службу. Мать всякий раз обещала отцу выполнить добросовестно по нашем возвращении акт обливания, но... иной раз в этом отношении обманывала отца. А так как при этом мы весь день проводили, невзирая ни на какую погоду, на воздухе, почти без всякого надзора, то вскоре даже мнительность отца уступила перед нашим неизменно цветущим видом и неуязвимостью.

Эта вера в «книгу и науку» была вообще заметной и трогательной чертой в характере отца, хотя иной раз вела к неожиданным результатам. Так, однажды он купил где-то брошюру, автор которой уверял, что при помощи буры, селитры и, кажется, серного цвета можно изумительно раскармливать лошадей при чрезвычайно скромных порциях обычного лошадиного корма. У нас была тогда пара рослых меринов, над которыми отец и стал производить опыты. Бедные лошади худели и слабели, но отец до такой степени

---

[1] Ганеман Самуэль (1755—1843) — известный немецкий врач, основатель гомеопатии.

верил в действительность научного средства, что совершенно не замечал этого, а на тревожные замечания матери: как бы лошади от этой науки не издохли, — отвечал:

— Толкуй больной с подлекарем! Толстеют, а ты говоришь глупости. Правда, Филипп, толстеют?

— А таки потолстели, — отвечал хитрый кучер.

«Лошади судьи» прославились по всему городу необычной худобой и жадностью, с которой они грызли коновязи и заборы, но отец замечал только «поправку», пока одна из них не издохла без всякой видимой причины. Я помню выражение горестного изумления и раскаяния, с которыми отец стоял над трупом бедной страдалицы. Другую лошадь он тотчас же велел накормить овсом и сеном без научной приправы и затем, кажется, продал... Впрочем, впоследствии оказалось, что в этой неудаче виновна была не одна наука, но и кучер, который пропивал и то небольшое количество овса, какое полагалось, оставляя лошадей на одной только буре с селитрой... Как бы то ни было, опыт больше не возобновлялся...

Повидимому, у отца бродили еще долго какие-то прежние планы, и он стремился выбиться из крепких тисков серой чиновничьей рутины.[1] То он приобретал телескоп и астрономические сочинения, то начинал изучать математику, то покупал итальянские книги и обзаводился словарями... Вечерние досуги, не занятые писанием бумаг и решений, он посвящал чтению и порой ходил по комнатам, глубоко обдумывая прочитанное. Иной раз он делился своими мыслями с матерью, а иногда даже, если матери не было поблизости, — с трогательным, почти детским простодушием обращался к кому-нибудь из нас, детей...

Помню, однажды я был с ним один в его кабинете, когда он, отложив книгу, прошелся задумчиво по комнате и, остановившись против меня, сказал:

— Философы доказывают, что человек не может думать без слов... Как только человек начинает думать, так непременно... понимаешь? в голове есть слова... Гм... Что ты на это скажешь?

И, не дожидаясь ответа, он начал шагать из угла в угол, постукивая палкой, слегка волоча левую ногу и, ви-

---

[1] Рутина (франц.) — рабское следование за устаревшими, но привычными правилами и порядками.

димо, весь отдаваясь проверке на себе психологического вопроса. Потом опять остановился против меня и сказал:

— Если так, то, значит, собака не думает, потому что не знает слов...

— Рябчик понимает слова, — ответил я с убеждением.

— Это что! Мало.

Я был тогда совсем маленький мальчик, еще даже не учившийся в пансионе, но простота, с которой отец предложил вопрос, и его глубокая вдумчивость заразили меня. И пока он ходил, я тоже сидел и проверял свои мысли. Из этого ничего не вышло, но и впоследствии я старался не раз уловить те бесформенные движения и смутные образы слов, которые проходят, как тени, на заднем фоне сознания, не облекаясь окончательно в определенные формы.

— А вот англичане, — сказал отец в другой раз за обедом, когда мы все были в сборе, — предлагают большие деньги тому, кто выдумает новое слово.

— Великая штука! — самонадеянно сказал старший брат, — я сейчас выдумаю.

И он, не задумываясь, брякнул какое-то совершенно ни с чем не сообразное слово. Мы засмеялись.

— А! Дурак! — сказал отец, видимо раздосадованный таким легким отношением к задаче ученых англичан. Но мы все приняли сторону брата.

— Почему же дурак, когда он действительно выдумал?

— Выдумал, выдумал! А что же оно значит?

— Оно?.. — Брат несколько затруднился, но тотчас же ответил: — Ничего не значит, но новое...

— То-то вот и есть, что ты дурак! Нужно, чтобы значило, и чтобы было с толком, и чтобы другого слова как раз с таким значением не было... А так — мало ли что ты выдумаешь!.. Ученые не глупее вас и говорят не на смех... Но всё-таки, — прибавил он затем, — выдумать, кажется, можно...

— Некоторые философы думают, — сказал он в другой раз опять за столом, — что бога нет.

— А! Глупости, — сказала мать, — для чего ты повторяешь глупые слова...

— Толкуй больной с подлекарем! — ответил отец. — Это говорят не дураки, а ученые люди...

— Кто же тогда создал мир и человека?

— Один англичанин доказывает, что человек произошел от обезьяны.

— А обезьяна откуда?

Все мы, и отец в том числе, засмеялись.

— Это, конечно, заблуждение разума, — сказал отец и прибавил убежденно и несколько торжественно:

— Бог, дети, есть, и он всё видит... всё. И тяжко наказывает за грехи...

Не помню, в этот или другой раз он сказал с особенным выражением:

— В писании сказано, что родители наказываются в детях до семьдесят седьмого колена... Это уже может показаться несправедливым, но... может быть, мы не понимаем... Всё-таки бог милосерд.

Только теперь я понимаю, какое значение имело для него это изречение... Он боялся, что мы будем нести наказание за его грехи. И его совесть восставала против несправедливой кары, а вера требовала покорности и давала надежду...

В послужном списке отца значится, что он получил образование в «непривилегированном пансионе» в городе Кишиневе. Очевидно, это образование равнялось «домашнему». Но почти до конца своей жизни он сохранил умственные запросы; и первые понятия, выходящие за пределы известного мне тогда мира, мы, дети, получили от этого простодушного полуобразованного человека. Эти понятия были наивны и несложны, но они глубоко западали в душу и навсегда остались в ней, как первые семена будущих мыслей...

ДВОР И УЛИЦА

Тот дом, в котором, казалось мне, мы жили «всегда», был расположен в узком переулке, выбегавшем на небольшую площадь. К ней сходилось несколько улиц; две из них вели на кладбище.

Одна из этих последних называлась «шоссе». По ней пробегали почтовые пары с подвязанными колокольчиками, и так как собственно наиболее оживленная часть города здесь кончалась, то иной раз почтари останавливали лошадей и отвязывали колокольчики. Тогда дальше почта трогалась уже со звоном, который постепенно стихал, всё удаляясь и замирая, пока повозка, тоже всё уменьшаясь, не превращалась в маленькую точку. Эта улица была длинная и прямая. На ней дома чередовались с заборами, пустырями, вросшими в землю хибарками, и перспектива ее заканчива-

лась вдали купами зелени, свешивавшеися из-за заборов. С одной стороны это было «православное» кладбище, с другой — чей-то обывательский сад. Между этими пятнами зелени всё, что удалялось по шоссе за город, мелькало в последний раз и скрывалось в безвестную и бесконечную даль... Мы с братом часто смотрели от угла нашего переулка или с высоты забора, как исчезали в этой перспективе почтовые повозки, высокие еврейские «балагулы» [1], неуклюжие дилижансы,[2] мужичьи телеги. И когда кого-нибудь хоронили, мы не могли уйти с угла до тех пор, пока похоронный кортеж[3] не достигал этой предельной точки. Тогда бесформенное пятно людской толпы как будто еще раз развертывалось яснее. Хоругви мелькали и наклонялись под воротами и ветвями дерев, выравнивался перпендикулярно катафалк, и всё это втягивалось в кладбищенскую ограду. Тогда мы знали, что «всё кончено»... Первые, наиболее яркие и глубокие впечатления дали связаны у меня с этой длинной перспективой «шоссе», и, быть может, их глубине и некоторой мечтательности, которая и вообще сродна представлениям о дали, содействовала эта связь с похоронами и смертью...

Улица эта немного подымалась, по мере удаления, и потому всё, приближавшееся по ней к центру города, как бы скатывалось вниз... И я еще теперь помню чувство изумления, охватившее меня в самом раннем детстве, когда небольшое, квадратное пятно, выползшее в ее перспективе из-за горизонта, стало расти, приближаться, и через некоторое время колонны солдат заняли всю улицу, заполнив ее топотом тысячей ног и оглушительными звуками оркестра. Солдаты были в круглых шапочках без козырьков и в кургузых, сильно поношенных кафтанчиках, офицеры в жестких киверах с султанами [4] или металлическими шишками. Все они шли мерно, в ногу, и было что-то суровое в этом размеренном движении...

Все кругом говорили, что они возвращаются с войны «из-под Севастополя»...

---

[1] Балагула — повозка.

[2] Дилижанс — многоместная карета для перевозки грузов и пассажиров.

[3] Кортеж (франц.) — торжественное шествие.

[4] Кивер с султаном — старинный воинский головной убор с украшением из перьев или конских волос.

По шоссе проходили также арестанты, звеня кандалами, а один раз провезли какого-то мрачного человека для «торговой казни».[1] Впереди шел взвод солдат, и четыре барабанщика отбивали суровую, мерную дробь. На каждом шагу барабанщиков барабаны приподнимались на их левой ноге, но дробь лилась безостановочно, такая же мерная и зловещая... За ними ехала телега, на которой была воздвигнута высокая скамья, и к ее спинке были привязаны назад руки сидевшего на ней человека. Голова его, ничем не покрытая, была низко опущена и моталась при встрясках на мостовой, а на груди наклонно висела доска с надписью белыми буквами. И вся эта мрачная фигура плыла высоко над толпой, как бы господствуя над стремительным людским потоком. За телегой шел взвод солдат и бежали густые толпы народа. На площадь, конечно, нас не пустили, но лакей Гандыло, который убежал туда за толпой, рассказывал потом в кухне с большим увлечением, как на эшафоте палач уложил «смертоубийцу» на «кобылу», как расправлял кнут и при этом будто бы приговаривал:

— Отец и мать тебя не учили, так я тебя научу.

Потом вскрикивал: «Берегись, ожгу!» — и затем по всей площади разносился свист плети и нечеловеческий крик наказываемого... Женщины из нашей прислуги тоже вскрикивали и крестились...

Это была, кажется, последняя «торговая казнь» в нашем городе.

Вообще по длинному прямому шоссе двигалось и в город, и из города много интересного, нового, иногда страшного.

Другая кладбищенская улица круто сворачивала около нашего переулка влево. Она вела на кладбище — католическое и лютеранское, была широка, мало заселена, не вымощена и покрыта глубоким песком. Траурные колесницы здесь двигались тихо, увязая по ступицы в чистом желтом песке, а в другое время движения по ней было очень мало.

На остром углу этой улицы и нашего переулка стояла полицейская будка, где жил старый будочник (с алебардой, вскоре упраздненной); а за будкой, среди зелени чьего-то сада, высилась огромная «фигура» — старый польский крест с крышкой, прикрывавшей распятую фигуру Христа.

---

[1] Торговая казнь — публичное наказание преступника кнутом на людной площади — «на торгу», как говорили в старину. Относилась к числу самых жестоких наказаний.

Какой-то набожный человек воздвиг ее на этом узловом перекрестке, и она своими распростертыми раменами как бы провожала на вечный покой и тех, что удалялись по шоссе, и тех, которых траурные кони, утопая в песке, тихо увозили на «польское кладбище». А напротив «фигуры» стоял старый-престарый кабак, дряхлое темное здание, сильно покосившееся и подпертое с улицы бревнами. Та̂м почти беспрестанно пилила скрипица и ухал бубен. Иногда громкий пронзительный женский плач провожавших гробы смешивался с этим диким уханьем и пьяными криками.

Времена были простые.

Двор наш был уютный и тихий. От больших улиц он отделялся двумя каменными домами, по-местному «каменицами». В одной из этих камениц жили наши домохозяева, квартира и обстановка которых казались мне верхом роскоши и богатства. Ворота выходили в переулок, и над ними низко свешивались густые ветки старого серебристого тополя. Кучер хозяйской коляски, казавшийся очень важным, в серой ливрее, въезжая в ворота, всякий раз должен был низко склонять голову, чтобы ветки не сорвали его высокую шляпу с позументной лентой и с бантом...

Наш флигель стоял в глубине двора, примыкая с одной стороны к каменице, с другой — к густому саду. За ним был еще флигелек, где жил тоже с незапамятных времен военный доктор Дударев.

Хозяин нашего дома был поляк, которого величали «пан коморник»[1] (землемер). Это был очень старый человек, высокий, статный (несмотря на некоторую полноту), с седыми усами и седыми же волосами, подстриженными в кружок. В будни он с самого утра в синем кафтане ходил по двору, хлопоча по хозяйству, как усердный управляющий. По воскресеньям надевал роскошный цветной кунтуш[2] синего или малинового цвета с «вылётами» (откидные рукава), какой-нибудь светлый жупан, широкие бархатные шаровары и рогатую «конфедератку»,[3] перепоясывался роскошным поясом, привешивал кривую саблю и шел с молитвенником в костёл.[4] Жена (гораздо моложе его)

---

[1] Коморник (польск.). — Здесь Короленко допущена ошибка; правильно: судебный исполнитель.

[2] Кунтуш — старинная польская одежда из дорогой ткани.

[3] Конфедератка — шапка, опушенная мехом, с четырехугольным верхом и кисточкой.

[4] Костёл — польская католическая церковь.

и женщины из ее штата ездили в коляске, запряженной прекрасными лошадьми, но он всегда ходил пешком. Когда он заболевал, то приказывал жарко истопить печь в кухне, постелить соломы и, раздевшись, лез туда. Затем он выходил из печи распаренный, пил липовый цвет и на следующее утро опять хлопотал по двору и в конюшне.

Всё это я узнал уже по позднейшим рассказам, а самого Коляновского помню вполне ясно только уже в последние дни его жизни. Однажды он почувствовал себя плохо, прибег к обычному средству, но оно не помогло. Тогда он сказал жене:

— Теперь буду умирать...

Жена призвала докторов. На нашем дворе стали появляться то доктор-гомеопат Червинский с своей змеей, то необыкновенно толстый Войцеховский... Старый «коморник» глядел очень сомнительно на все эти хлопоты и уверенно твердил, что скоро умрет.

В это время я ясно припоминаю себя в комнате больного. Я сидел на полу, около кресла, играл какой-то кистью и не уходил по целым часам. Не могу теперь отдать себе отчет, какая идея овладела в то время моим умом, помню только, что на вопрос одного из посетителей, заметивших меня около стула: «А ты, малый, что тут делаешь?» — я ответил очень серьезно:

— Старого Коляновского караулю.

У больного зашевелился живот, и он, болезненно улыбаясь, сказал:

— Не укараулишь (nie dopilnuiesz).

И действительно, я его не укараулил: через два-три дня после этого старый Коляновский лежал, важный и торжественный, на катафалке. Его одели, как в воскресенье, в палевый жупан и синий кунтуш, положили около кривую саблю, а рядом на стуле лежала рогатая конфедератка с пером. Его лицо, красное при жизни, было теперь так же бело, как усы... На следующий день наш двор наполнился множеством людей, принесли хоругви, и огромный катафалк не мог въехать с переулка. Тогда кто-то из дворни влез на ствол серебристого тополя и стал рубить большую нижнюю ветку. Когда она лежала на земле, я смотрел и на нее, и на образовавшийся, таким образом, пролет над воротами с таким же чувством, как и на странную фигуру Коляновского. Я, может быть, и знал, что это смерть, но она не была мне тогда еще ни страшна, ни печальна... Просто ветка странным

образом склонилась листьями к земле, чего с ней прежде никогда не бывало. А Коляновский оделся, чтобы идти в костел, но вместо этого лежит целый день на столе.

После похорон некоторое время во дворе толковали, что ночью видели старого «коморника», как при жизни, хлопотавшим по хозяйству. Это опять была с его стороны странность, потому что прежде он всегда хлопотал по хозяйству днем... Но в то время, кажется, если бы я встретил старика где-нибудь на дворе, в саду или у конюшни, то, вероятно, не очень бы удивился, а только, пожалуй, спросил бы объяснения его странного и ни с чем несообразного поведения, после того как я его «не укараулил»...

В те годы старопольский костюм вышел уже из употребления или даже был запрещен. Но богатый и своенравный «коморник» не уступал новым обычаям, жил и сошел в могилу, верный себе и своему времени. И когда я теперь вспоминаю эту характерную, не похожую на всех других людей, едва промелькнувшую передо мной фигуру, то впечатление у меня такое, как будто это — само историческое прошлое Польши, родины моей матери, своеобразное, крепкое, посвоему красивое, уходит в какую-то таинственную дверь мира в то самое время, когда я открываю для себя другую дверь, провожая его ясным и зорким детским взглядом...

Жизнь нашего двора шла тихо, раз заведенным порядком. Мой старший брат был на два с половиной года старше меня, с младшим мы были погодки. От этого у нас с младшим братом установилась, естественно, большая близость. Вставали мы очень рано, когда оба дома еще крепко спали. Только в конюшне конюхи чистили лошадей и выводили их к колодцу. Иногда нам давали вести их в поводу, и это доверие очень подымало нас в собственном мнении.

За конюхами просыпались кухарки и шли за дровами в сараи.

В восемь с половиной часов отцу подавали бричку, и он отправлялся в должность. Это повторялось ежедневно и казалось нам законом природы, как и то, что часов около трех мать уже хлопочет около стола. В три часа опять раздавался грохот колес, и отец входил в дом, а из кухни несли суповую миску.

В этот промежуток дня наш двор замирал. Конюхи от нечего делать ложились спать, а мы с братом слонялись по двору и саду, смотрели с заборов в переулок или на длинную перспективу шоссе, узнавали и делились новостями...

А солнце, подымаясь всё выше, раскаляло камни мощеного двора и заливало всю нашу усадьбу совершенно обломовским томлением и скукой...

У меня осталось одно странное воспоминание, связанное с часами этого знойного и томительного безделия... К нам во двор забрела кошка с подбитой ногой. Мы стали кормить ее, и она прижилась. Иногда, в жаркий полдень, я разыскивал эту кошку, брал ее с собой на задний двор, где у нас лежали кузова старых саней, и, улегшись в одном из этих кузовов, принимался ласкать ее. Кошка благодарно мурлыкала, лизала мне лицо, глядела в глаза и, казалось, совершенно сознательно отвечала взаимностью на мое расположение и жалость. И это чувство дружбы с животным заполняло минуты, порой даже часы.

Но по мере того как нога у нее заживала и сама она, раскормленная и сытая, становилась благополучнее, — ее благодарность исчезала. Прежде она шла на всякий мой зов, появляясь нивесть из каких углов и закоулков, теперь случалось, что она ускользала от меня, явно «прикидываясь», что не слышит.

Так она поступила и в один жаркий день, когда я, рассорившись с братом, почувствовал особенную потребность в ее дружбе. Она проходила мимо садового забора и, когда я ее позвал, попыталась лукаво проскользнуть в щель. Но я всё-таки успел захватить ее...

На этот раз она очень холодно отвечала на мои ласки. В глазах ее не было прежней взаимности, и, улучив удобную минутку, она попыталась ускользнуть. Меня охватил гнев. Ее поведение казалось мне верхом неблагодарности, и, кроме того, мне страстно хотелось вернуть наши прежние дружеские отношения. Вдруг в уме мелькнула дикая мысль, что она любила меня, пока ей было больно, а мне ее жалко... Я схватил ее за хвост и перекинул себе через плечо.

Кошка взвизгнула и больно вцепилась когтями в мою спину. Я выпустил ее, и она умчалась, как стрела, а я остался с сознанием своей вины и жгучего стыда... После этого мне стоило много труда залучить ее опять, а когда удалось, то я употребил все меры, чтобы растолковать ей, что я сознаю свою вину и теперь взял ее только для того, чтобы помириться... Дальнейшие наши отношения были мирные, хотя и довольно холодные, но я до сих пор помню эту странную вспышку искусственной жалости, под влия-

нием томительного безделия на раскаленном и до скуки знакомом дворе.

Что делать! Всякое чувство имеет цену лишь пока свободно. Попытки вернуть его во что бы то ни стало и в людских отношениях кончаются по большей части царапинами...

УЛЯНИЦКИЙ И «КУПЛЕННЫЕ МАЛЬЧИКИ»

Каждое утро в «суторынах», [1] то есть в угловой комнате подвального этажа хозяйской «каменицы», в определенный час происходило неизменно одно и то же явление. Сначала вздрагивал железный засов ставни, и кто-то выдавливал изнутри железный болт, которым ставни запирались на ночь. Железная полоса, как живая, отодвигалась, потом падала со звоном, и тогда чья-то рука через форточку окончательно раздвигала ставни. После этого и самое окно, приходившееся вровень с землей, раскрывалось, и в нем появлялась голова человека в ночном колпаке.

Это был жилец, старый холостяк, пан Уляницкий. Он высовывал свой острый профиль с испанской бородкой и горбатым носом и кидал тревожный взгляд на окна нашего флигеля. По большей части наши ставни еще были закрыты. Убедившись в этом, пан Уляницкий опять нырял в свою комнату, и вскоре на подоконнике появлялась уже вся его небольшая сухая фигурка в ночном колпаке, в пестром халате, из-под которого виднелись нижнее белье и туфли на босую ногу. Кинув еще быстрый взгляд кругом и прикрывая что-то полой халата, он шмыгал за угол, направляясь на задний двор, откуда вскоре возвращался тем же порядком.

Мы знали, что его тревожные взгляды относятся главным образом к нашему дому: он не хотел, чтобы его видела в утреннем неглиже [2] одна из моих теток, которую он иной раз провожал в костел. Над теткой посмеивались, поздравляя ее с женихом. Над Уляницким тоже смеялись и передавали, будто он поднес тетке десяток гнилок-груш в бумажном тюричке и две грошовых конфеты. Фигура Уляницкого в этот утренний час бывала, действительно, очень непрезен-

---

[1] «Souterrains» — подвальный этаж. (Примечание В. Г. Короленко.)

[2] Неглиже (франц.) — небрежная одежда, небрежный вид; утреннее домашнее платье.

табельна: халат был замызганный и рваный, туфли стоптаны, белье грязно, а усы растрепаны.

Нырнув опять в свою комнату, пан Уляницкий принимался приводить себя в порядок. Это была процедура продолжительная и сложная, особенно процесс бритья, положительно напоминавший священнодействие. Мы пользовались правом, освященным обычаем, стоять в это время снаружи, у открытого окна, причем иной раз из-за нас заглядывало еще личико сестры. Пан Уляницкий ничего не имел против этого и только, приступая к бритью, предупреждал нас, чтоб мы вели себя смирно, так как малейшее нарушение порядка в эту важную минуту угрожает опасностью его жизни.

Мы свято исполняли этот договор и в критический момент, когда пан Уляницкий, взяв себя за кончик носа и выпятив языком щеку, осторожно обходил бритвой усы или подбривал бородку около горла, — мы старались даже затаить дыхание, пока он не вытирал в последний раз бритву и не убирал прибор. После этого он умывался, неистово тер шею и щеки полотенцем, пудрился, фиксатуарил[1] и вытягивал кончики усов и затем скрывался за ширму. Через четверть часа он появлялся оттуда неузнаваемый, в сиреневых коротких брючках, в лакированных ботинках, в светлом жилете и синем сюртуке с закругленными фалдочками. Лицо у него тоже было как будто одето: измятость и морщины исчезали. Его появление в таком обновленном виде всегда производило на нас сильнейшее впечатление, и ему это было приятно. Иной раз, застегивая на последнюю пуговицу свой аккуратный сюртучок, он взглядывал на нас с заметным самодовольством и говорил:

— А? Ну? Что? Как?

Наши отношения с паном Уляницким в это время были наилучшие. Мы знали, что он — «старый холостяк» и «мартовский кавалер», что это смешно, особенно последнее, потому что напоминает котов, жалобно завывающих в марте на крышах. Пан Уляницкий будто бы ухаживал за каждой барышней, с которой знакомился, и отовсюду получал отказы. Сам он тоже казался смешным со своей козлиной бородкой и тонкими ножками в коротких узеньких брючках. Но всё это было безобидно, а процесс ежедневного обнов-

[1] Фиксатуарить — смазывать фиксатуаром — специальной помадой для приглаживания волос.

ления вызывал не только понятное любопытство, но и некоторое почтительное удивление. Каждый раз это казалось нам маленьким чудом, и впоследствии, когда я впервые прочитал о превращениях бога Озириса,[1] — в моем воображении внезапно ожило воспоминание об утренних перерождениях Уляницкого.

Однако со временем наши отношения с «мартовским кавалером» радикально[2] испортились...

В один прекрасный день он нашел не совсем удобным для своей жениховской репутации, что у него нет прислуги, вследствие чего он должен сам подметать комнату и ежедневно путешествовать с таинственным предметом под полой халата.

Ввиду этого он нанял себе в услужение мальчика Петрика, сына хозяйской кухарки. Кухарка, «пани Рымашевская», по прозванию баба Люба, была женщина очень толстая и крикливая. Про нее говорили вообще, что это не баба, а Ирод. А сын у нее был смирный мальчик, с бледным лицом, изрытым оспой, страдавший притом же изнурительной лихорадкой. Скупой, как кащей, Уляницкий дешево уговорился с нею, и мальчик поступил в «суторыны» на службу.

Закончилось это большим скандалом: в один прекрасный день баба Люба, уперев руки в бока, ругала Уляницкого на весь двор и кричала, что она свою «дытыну» не даст в обиду, что учить, конечно, можно, но не так... «Вот посмотрите, добрые люди: исполосовал у мальчика всю спину». При этом баба Люба так яростно задрала у Петрика рубашку, что он завизжал от боли, как будто у нее в руках был не ее сын, а сам Уляницкий.

Последний сидел в своей комнате, не показываясь на крики сердитой бабы, а на следующее утро опять появился на подоконнике с таинственным предметом под полой. Нам он объяснил во время одевания, что Петрик — скверный, скверный, скверный мальчишка. И мать у него подлая баба. И что она дура, а он, Уляницкий, «достанет себе другого мальчика, еще лучше». Он сердился, повторял слова, и его козлиная бородка вздрагивала очень выразительно.

---

[1] Озирис — в мифологии древних египтян — бог солнца и плодородия. В мифах говорится о гибели Озириса и о его чудесном возвращении к жизни.

[2] Радикально (лат.) — решительно, коренным образом.

Вскоре он уехал на время в деревню, где у него был жив старик отец, а когда вернулся, то за ним приехал целый воз разных деревенских продуктов, и на возу сидел мальчик лет десяти-одиннадцати, в коротенькой курточке, со смуглым лицом и круглыми глазами, со страхом глядевшими на незнакомую обстановку... С этого дня мальчик поселился в комнате Уляницкого, убирал, приносил воду и ходил в ресторацию с судками за обедом. Звали его Мамертом или, уменьшительно, Мамериком; и вскоре на дворе стало известно, что это сирота и притом крепостной, которого не то подарил Уляницкому отец, не то он сам купил себе у какого-то помещика.

Я решительно не могу припомнить, чтобы самая мысль о возможности «купить мальчика» вызывала во мне какой-нибудь сознательный протест или негодование. Явления жизни я воспринимал тогда довольно безразлично. Я видел, что люди бывают старые и молодые, здоровые и больные, богатые и нищие, и все это, как я уже говорил, казалось мне «извечным». Это были просто первичные факты, готовые явления природы. Таким же фактом явилось и то, что есть на свете мальчики, которых можно купить. Но, во всяком случае, это обстоятельство делало нового пришельца предметом интересным, так как мы видели разных мальчиков, а купленных мальчиков еще не видели ни разу. И что-то неясное при этом всё-таки шевелилось в душе.

Знакомство с купленным мальчиком завязать было трудно. Даже в то время, когда пан Уляницкий уходил в свою должность, его мальчик сидел взаперти, выходя лишь за самыми необходимыми делами: вынести сор, принести воды, сходить с судками за обедом. Когда мы при случае подходили к нему и заговаривали, он глядел волчком, пугливо потуплял свои черные круглые глаза и старался поскорее уйти, как будто разговор с нами представлял для него опасность.

Мало-помалу, однако, сближение начиналось. Мальчик перестал опускать глаза, останавливался, как будто соблазняясь заговорить, или улыбался, проходя мимо нас. Наконец однажды, встретившись с нами за углом дома, он поставил на землю грязное ведро, и мы вступили в разговор. Началось, разумеется, с вопросов об имени, «сколько тебе лет», «откуда приехал» и т. д. Мальчик спросил в свою очередь, как нас зовут, и... попросил кусок хлеба.

Скоро мы стали приятелями. Уляницкий возвращался

всегда в определенное время, как заведенная машина, и мы могли поэтому даже заходить в его комнату, не опасаясь, что он нас застанет. Мы узнали при этом, что наш ежедневно обновляющийся сосед, в сущности, очень злой скаред и мучитель. Он не кормит Мамерика, а только отдает ему вылизывать пустые судки и грызть корки хлеба и уже два раза успел его больно выдрать без всякой вины. Чтобы мальчик не сидел даром и не баловался с разными висельниками («урвисами», — мы догадались, что под этим лестным названием Уляницкий разумел нас), он задает ему урок: щипать перья для подушек, и нащипанные перья продает еврейкам. Мы приносили Мамерику хлеб, который он съедал с большою жадностью.

И пугливые взгляды печальных черных глаз, и грустное выражение его смуглого лица, и рассказы, и жадность, с какой он накидывался на приносимую нами пищу, — всё это внушало нам какое-то захватывающее острое сочувствие к купленному мальчику и злобу против его владыки, которая в одно утро и прорвалась наружу.

Бедняга Мамерик чем-то провинился, и уже накануне его томило предчувствие, что пан его непременно побьет. Наутро Уляницкий вышел из-за ширмы не с обычным самодовольным блеском, а с каким-то загадочным выражением в лице. Он был без сюртука, а руки держал назади. Остановившись у ширмы, он позвал Мамерика и приказал ему подать что-то. Но как только мальчик робко приблизился, Уляницкий с быстротою кошки схватил его, нагнул, зажал голову в свои колени, спустил штанишки, — и в воздухе засвистел пучок розог. Мамерик отчаянно завизжал и забился.

В нашей семье нравы вообще были мягкие, и мы никогда еще не видели такой жестокой расправы. Я думаю, что по силе впечатления теперь для меня могло бы быть равно тогдашнему чувству разве внезапное на моих глазах убийство человека. Мы за окном тоже завизжали, затопали ногами и стали ругать Уляницкого, требуя, чтобы он перестал бить Мамерика. Но Уляницкий только больше входил в азарт; лицо у него стало скверное, глаза были выпучены, усы свирепо торчали, и розга то и дело свистела в воздухе.

Очень вероятно, что мы могли бы доплакаться до истерики, но тут случилось неожиданное для нас обстоятельство: у Уляницкого на окне были цветочные горшки, за которыми он ухаживал очень старательно. Ближе всех

стояла любимая его резеда. По внезапному вдохновению, наша маленькая сестренка схватила резеду и кинула ее вместе с горшком на пол. Горшок разбился, земля с цветком выпала. Пан Уляницкий на мгновение остолбенел, потом оставил Мамерика, и не успели мы опомниться, как его бешеное лицо появилось на подоконнике. Мы подхватили сестренку под руки и пустились бежать к своему крыльцу, где и уселись, чувствуя себя безопасными в своих пределах. Пан Уляницкий действительно остановился невдалеке от своего окна и, спрятав розгу за спину, стал нас подзывать сладким голосом, обещая дать нам на мировую по конфетке... Но хитрость была слишком прозрачна, и мы оставались на месте, глядя весьма равнодушно на его лукавые подходы.

В этот самый день или вообще в ближайшее время после происшествия мы с матерью и с теткой шли по улице в праздничный день, и к нам подошел пан Уляницкий. Он был одет по-всегдашнему щеголевато, ботинки его сверкали ослепительным блеском, концы усов торчали, как две проволоки, и в петлице сюртучка был цветок. У меня при его появлении немного дрогнуло сердце, так как я был уверен, что он пожалуется матери на наш дебош. К нашему величайшему удивлению, он не только не пожаловался, но еще, взяв кого-то из нас за подбородок, стал фальшиво сладким голосом расхваливать перед матерью «милых деток», с которыми он живет в большой дружбе.

Этот неудачный маневр, во-первых, внушил нам большое презрение, а во-вторых, вселил уверенность, что по каким-то причинам Уляницкий скрывает от матери происшедшее между нами столкновение. А скрывает — значит, признает себя виновным. С этой стороны мы почувствовали себя вполне обеспеченными, и у нас началась с Уляницким формальная война.

Дети проявляют иной раз удивительную наблюдательность и удивительно ею пользуются.

У пана Уляницкого было много странностей: он был феноменально [1] скуп, не выносил всякой перестановки предметов в комнате и на столе и боялся режущих орудий.

Однажды, когда он весь погрузился в процесс бритья и, взяв себя за кончик носа, выпятил языком подбривае-

---

[1] Феноменально (греч.) — необыкновенно, поразительно.

мую щеку, старший брат отодвинул через форточку задвижку окна, осторожно спустился в комнату и открыл выходную дверь. Обеспечив себе таким образом отступление, он стал исполнять среди комнаты какой-то дикий танец: прыгал, кривлялся, вскидывал ноги выше головы и кричал диким голосом: «Гоп, шлеп, тана-на»...

Стоя за окном, мы с ужасом ожидали, что будет. К нашему величайшему изумлению, злополучный кавалер оставался на месте. На его лице не дрогнул ни один мускул, он так же тщательно держал себя за кончик носа, подбривая усы, и так же выпячивал языком щеки. Тогда, видя, что процедура бритья находится только в начале, а прервать ее Уляницкий не намерен, мы с младшим братом тоже спустились в комнату и присоединились к неистовой пляске. Это было какое-то детское бешенство: летели на пол стулья, платья с вешалок, щетки и щеточки. Испуганный Мамерт смотрел на это светопреставление бессмысленно выпученными круглыми глазами. Один пан Уляницкий сохранял полнейшую невозмутимость, задернутый по шею салфеткой, с бритвой в руке и с глазами, скошенными на маленькое зеркальце. И только со всегдашнею тщательностью докончив бритье и осторожно положив бритву в футляр, он внезапно сорвался с места и ринулся к розге... Старший брат шмыгнул в открытую дверь, а мы двое кинулись, как испуганные кошки, к окну. Я был уже на подоконнике, когда розга просвистела над самым моим ухом и не больно скользнула вдоль спины.

С этих пор пан Уляницкий, садясь бриться, тщательно закрывал окно. Но рамы были старые, а задвижки прилажены плохо. Увидев, что Уляницкий уже приступил к бритью, мы смело подходили к окну, дергали форточку и тонкими дранками, просунутыми в щель, сбрасывали крючки. Чем это объяснить, — я не знаю, — вероятно, боязнью режущих орудий: но раз принявшись за бритву, Уляницкий уже не мог прервать трудного дела до конца. При наших разбойничьих попытках проникнуть в его святилище он только косил один глаз, и на его застывшем лице проступало выражение тревожной тоски. Когда нам удавалось открыть задвижку, окно с шумом распахивалось, и в комнате старого кавалера начиналась пляска дикарей.

В одно утро пан Уляницкий опять появился на подоконнике с таинственным предметом под полой халата, а затем, подойдя к нашему крыльцу и как-то особенно всмат-

риваясь в наши лица, он стал уверять, что, в сущности, он очень, очень любит и нас, и своего милого Мамерика, которому даже хочет сшить новую синюю куртку с медными пуговицами, и просит, чтобы мы обрадовали его этим известием, если где-нибудь случайно встретим.

Оказалось, что купленный мальчик исчез.

В тот же день вечером младший брат таинственно вызвал меня из комнаты и повел в сарай. В сарае было темно, но брат смело пошел вперед и, остановившись на середине, свистнул. Сначала всё было тихо, потом что-то зашевелилось в углу, среди дров, и к нам вышел Мамерик. Оказалось, что он устроил себе между кладью дров и стенкой что-то вроде норы и живет здесь уже двое суток. Он говорил, что жить «ничего, можно», только хочется есть, и по ночам сначала было страшно. Теперь привык. На наше сообщение о любви Уляницкого и курточке он ответил решительно:

— Не піду. Лучче утоплюся у криниці.[1]

С этих пор у нас явилась своя тайна. По вечерам мы приносили Мамерику есть и вместе выходили гулять в укромных уголках двора. У нас установились условные сигналы и целая система конспирации.[2] Это продолжалось еще несколько дней, пока мать не заметила наших многозначительных перешептываний. Она расспросила нас обо всем и рассказала отцу. В мальчике приняли участие старшие, и пан Уляницкий вызывался для каких-то объяснений даже «наверх», к хозяйке, пани Коляновской. Нравы на нашем дворе были довольно патриархальные, и всем казалось естественным, что хозяйка-домовладелица вызывает жильца для объяснений, а может быть, и для внушения. Мы тщательно хранили тайну убежища, так как крепко забожились, что не выдадим ее «никому на свете». Поэтому, когда «наверху» были выработаны с Уляницким условия капитуляции,[3] то переговоры велись через нас. Мамерик, наконец, порешил сдаться, а власть Уляницкого была общественным мнением ограничена. Всему двору было известно, что пани Коляновская погрозила Уляницкому «выгнать его из суторын».

---

[1] Криница — колодец.

[2] Конспирация (лат.) — соблюдение тайны.

[3] Капитуляция (лат.) — прекращение борьбы, сдача на милость победителя.

Через некоторое время, однако, он и сам куда-то внезапно уехал. Купленный мальчик исчез навсегда где-то в широком неведомом мире, и дальнейшая судьба его нам осталась неизвестна.

Раз только нам показалось, что мы встретили, если не его, то его двойника.

Как-то летом появилась в узком переулочке новая личность. Это был мальчик в возрасте Мамерика, с таким же смуглым лицом и круглыми черными глазами. Но при внимательном рассмотрении оказалось, что ни походка его, ни всё поведение нимало не напоминали нашего скромного и робкого приятеля. Одет он был в новую короткую синюю курточку с двумя рядами круглых металлических шариков, в узкие синие брюки со штрипками внизу и в большие хорошо начищенные сапоги. На голове у него была круглая шапочка без козырька, надетая совершенно набекрень, по-казацки.

Заметив, что мы с величайшим любопытством смотрим на него, уткнувшись лицами между балясин палисадника, незнакомец внезапно стал на ходу проделывать какие-то удивительные штуки. Ноги он ставил так, как будто они у него вовсе не сгибались в коленях, руки скруглил, так что они казались двумя калачами, голову вздернул кверху и глядел на нас с величайшим презрением через плечо, очевидно, гордясь недавно надетым новым костюмом и, может быть, подражая манерам кого-нибудь из старшей ливрейной дворни. Он весь сверкал и наслаждался и, кроме того, был уверен, что мы совершенно подавлены его великолепием и сгораем от зависти. Поэтому, исполнив какое-то поручение в конюшне, он опять прошел мимо нас, вывертывая ноги и играя поясницей, потом вернулся, как будто что забыл, и прошел еще раз. Всё это показалось нам обидным, и один из нас сказал:

— Дурак!

Мальчик плюнул и ответил:

— Свинья!

Мой брат поднял тон диалога [1] на ноту выше:

— Сволочь!

Но мальчик, видимо, знал все формы «изысканного» обращения и тотчас же возразил:

---

[1] Диалог (греч.) — разговор между двумя или несколькими лицами.

— Я сволочь, царю помочь, а ты сам каторжан.

Мы почувствовали, что незнакомец остается победителем. Но в это время к мальчику подошел быстрыми шагами взрослый человек в ливрейном фраке с широкими длинными фалдами. Походка его тоже была несколько развихлянная и странная, и я догадался, что незнакомый мальчик подражал именно его движениям: ноги его тоже плохо сгибались, а руки скруглялись в локтях. Он окликнул мальчика, и едва тот повернулся, как подошедший ожег его резкой, сильной и внезапной пощечиной. Мальчик завыл от боли и схватился рукой за щеку, а тот ударил по другой щеке и сказал:

— Пошел! Тебя зачем послали?.. — И толкнул его сильно в шею.

Всякое неприятное чувство к незнакомому мальчишке в нас мгновенно испарилось, сменившись острой жалостью.

Мы рассказали об этом происшествии матери и отцу, думая, что и на этот раз опять последует вмешательство, как и в деле Мамерта. Но отец объяснил нам, что мальчик-казачок принадлежит незнакомым людям, приехавшим погостить к нашим соседям, и что тут ничего сделать невозможно...

Мы поджидали после этого нового появления мальчика, готовые встретить его как приятеля. Но он не выходил, и вскоре мы увидели его в последний раз на высоких козлах коляски, в которую усаживалась семья каких-то важных господ. Тут были и дети, очень чистенькие и нарядные, но нас больше всего интересовал наш знакомец. Он был в той же курточке и в той же шапочке набекрень, но уже не было в нем заметно прежнего великолепия. Он как будто избегал смотреть на нас, но, когда огромный рыдван тронулся, он повернул к нам свои черные глаза, опять удивительно напомнившие нам Мамерика, и, как бы украдкой, дружелюбно кивнул головой.

Мы долго провожали взглядами уезжавшую карету, пока она не мелькнула последний раз на гребне шоссе. Ехавшие в карете нарядные дети казались мне какими-то неприятными и холодными, а за незнакомым казачком, с которым мы только и успели обменяться ругательствами, неслось в неведомую даль ощущение жгучего сочувствия и близости.

Еще одно воспоминание из крепостного строя.

Одно время служил у отца кучер Иохим, человек небольшого роста, с смуглым лицом и очень светлыми усами и бородкой. У него были глубокие и добрые синие глаза, и он прекрасно играл на дудке. Он был какой-то удачливый, и все во дворе его любили, а мы, дети, так и липли к нему, особенно в сумерки, когда он садился в конюшне на свою незатейливую постель и брал свою дудку.

У Коляновской была любимая горничная, дворовая девушка Марья. Я тогда был плохой ценитель женской красоты, помню только, что у Марьи были густые черные брови, точно нарисованные, и черные же, жгучие глаза. Иохим полюбил эту девушку, и она полюбила его, но, когда моя мать по просьбе Иохима пошла к Коляновской просить отдать ему Марью, то властная барыня очень рассердилась, чуть ли не заплакала сама, так как и она, и ее две дочери «очень любили Марью», взяли ее из деревни, осыпали всякими благодеяниями и теперь считали, что она неблагодарная... История эта тянулась что-то около двух-трех месяцев. Рассказывали у нас на кухне, что Иохим хотел сам «идти в крепаки», лишь бы ему позволили жениться на любимой девушке, а про Марью говорили, что она с каждым днем «марнiе и сохне» [1] и, пожалуй, наложит на себя руки.

Однажды я забрался на высокую густую грушу. Под грушей, в затененной части сада, стояла скамья, и на эту скамью пришла Марья. Я с удивлением услышал, что она плачет и не то бормочет что-то, не то поет. Потом подошел Иохим и как-то робко и вместе ласково хотел обнять девушку за талию. Она резко оттолкнула его и заплакала сильнее. Он стал утешать ее, уверяя, что его «пани» (моя мать) упросит-таки Коляновскую и всё будет хорошо. Но Марья продолжала плакать и то сама порывисто обнимала Иохима, то принималась упрекать и гнать его, уверяя, что она умрет, повесится, зарежется, утопится в кринице и вообще — покончит жизнь всевозможными способами. Я с простодушным детским любопытством слушал, притаившись в густых ветвях, проявления этих незнакомых мне еще бурных чувств.

Кончилось всё это совершенно благополучно. Коляновская, в сущности, была женщина властная, но очень добрая и, согласившись, наконец, уступить свою любимицу, дала ей приданое и устроила на свой счет свадьбу. Осенью

---

[1] «Марнiе и сохне» (укр.) — худеет и сохнет.

пришли во двор молодые с «музыками», а на посыпанной песком площадке двора Иохим со «свахами и дружинами» отплясывал такого казачка, какого я уже никогда не видывал впоследствии. После этого молодые поселились в собственной хатке над Тетеревом, и мы часто заходили к ним, отправляясь купаться. Хатка стояла на склоне, вся в зелени, усыпанной яркими цветами высокой мальвы, и воспоминание об этом уголке и об этой счастливой паре осталось в моей душе светлым пятнышком, обвеянным своеобразной поэзией.

И только впоследствии раскрылись передо мной внутренний смысл и жестокая неправда, служившие фоном и началом для этой крепостной идиллии, которая могла кончиться совсем иначе.

«ЩОСЬ БУДЕ»

Я пишу не историю своего времени. Я просто всматриваюсь в туманное прошлое и заношу вереницы образов и картин, которые сами выступают на свет, задевают, освещают и тянут за собой близкие и родственные воспоминания. Я стараюсь лишь об одном: чтобы ясно и отчетливо облечь в слово этот непосредственный материал памяти, строго ограничивая лукавую работу воображения...

В октябре 1858 года, то есть когда мне было пять лет, в Житомир приезжал молодой царь Александр II.

Город делал к этому приезду торжественные приготовления, и на площади, около костела отцов бернардинов,[1] была выстроена огромная триумфальная арка. Мы смотрели ее накануне, причем это дощатое сооружение поразило меня своей громадностью и странностью, как будто ненужностью среди площади. Затем мне смутно вспоминаются толпы народа, страшный гул человеческих голосов и что-то невидимое, промчавшееся где-то в глубинах этого человеческого моря, после чего народ, точно вдруг обеспамятевший, ринулся к центру города. Все говорили, что это проехал царь.

Гораздо отчетливее сохранилось впечатление вечерней иллюминации. Я помню длинные вереницы огней, протя-

---

[1] Бернардины (точнее — бернардинцы) — монахи бернардинского ордена, католической духовной общины, существовавшей в Польше с XV по XIX век. Вели церковную пропаганду, поддерживали реакционную власть папы римского.

нувшиеся к площади, где над всем высилась огромная арка, пылавшая, как костер. Толпы людей передвигались внизу, как черные потоки, а вверху было еще более черное небо. По временам где-то поднимались крики «ура», которые подхватывались, крепли, проносились по улицам вдаль, перекатываясь огромным сплошным гулом. Я крепко ухватился за чью-то юбку; меня толкали, и прислуга с трудом выводила нас из толпы. Мать встретила нас перепуганная и сердилась на прислугу. Потом отец в мундире и при шпаге, а мать в нарядном платье куда-то уехали...

Нам приказано было ложиться, но спать мы не могли. Жили мы в тихом, тупом переулке, но, несмотря на это, из города к нам проникал какой-то заглушенный гул, и возбуждение просачивалось в нашу спальню. Когда старая нянька убрала у нас свечку и поставила ее за стеной в соседней комнате, то нам показалось, что в щели ставней видно зарево. Мы перебрались на одну кровать, у самого окна, и лепились у стекол, заглядывая в эти щели, прислушиваясь к шуму и делясь впечатлениями, над которыми, как огненная арка над городом, властно стояло одно значительно слово: «царь!»

Старший брат был, конечно, наиболее из нас сведущий. Он знал, во-первых, относившуюся к случаю песню:

Ездил белый русский царь,
Православный государь,
От земли своей далеко
Славы добывать...

Песня нам нравилась, но объяснила мало. Брат прибавил еще, что царь ходит весь в золоте, ест золотыми ложками с золотых тарелок и, главное, «всё может». Может прийти к нам в комнату, взять, что захочет, и никто ему ничего не скажет. И этого мало: он может любого человека сделать генералом и любому человеку отрубить саблей голову или приказать, чтобы отрубили, и сейчас отрубят... Потому что царь «имеет право»...

Царь уехал, но отголоски его посещения долго еще составляли значительное содержание нашей жизни.

У нас был далекий родственник, дядя Петр, человек уже пожилой, высокий, довольно полный, с необыкновенно живыми глазами, гладко выбритым лицом и остренькими усами. Когда он поводил кончиками усов, мы хохотали до

слез, а когда он говорил, то хохотали часто и взрослые; вообще это был человек с установившейся репутацией остряка. После царского проезда он рассказал несколько анекдотов. Мне особенно запомнился один: перед самым царским проездом полиция заметила в боковой улице корову. Когда будочники кинулись на нее, она смертельно испугалась; когда же раздались крики «ура!», то корова пришла в совершенное исступление и бросилась в толпу, раскидывая людей рогами. Таким образом она, будто бы, пробила себе путь до пустого пространства, оставленного для проезда царя, и попала туда как раз в то мгновение, когда промчалась царская карета. Корова ринулась прямо за каретой и торжественно прибыла к губернаторскому дому, а за нею два запыхавшиеся, насмерть запуганные подчаска. [1]

На меня рассказ произвел странное впечатление... Царь и вдруг — корова... Вечером мы разговаривали об этом происшествии в детской и гадали о судьбе бедных подчасков и владельца коровы. Предположение, что им всем отрубили головы, казалось нам довольно правдоподобным. Хорошо ли это, не жестоко ли, справедливо ли, — эти вопросы не приходили в голову. Было что-то огромное, промчавшееся, как буря, и в середине этого царь, который «всё может»... Что значит перед этим судьба двух подчасков? Хотя, конечно, жалко...

Должно быть, в это время уже шли толки об освобождении крестьян. Дядя Петр и еще один знакомый высказывали однажды сомнение, может ли «сам царь» сделать всё, что захочет, или не может.

— Николай — на что уж царь был... всё перед ним дрожало... А чем кончил?

Отец отвечал обыкновенной своей поговоркой:

— Толкуй больной с подлекарем... Захочет и сделает...

Прошел год, другой. Толки шли всё шире. В тихую жизнь как бы вонзилась какая-то заноза, порождавшая смутную тревогу и окрашивавшая особенным оттенком все события. А тут случилось знамение: гром ударил в «старую фигуру». Я уже говорил о ней. Это был большой крест с распятием, стоявший в саду нашего соседа пана Добровольского, на перекрестке нашего переулка и двух других улиц, среди кустов акации, бузины и калины, буйно разросшихся у его подножия. Говорили, будто владельцу этой

---

[1] Подчасок — помощник часового на посту.

усадьбы не давали спать покойники, чуть не ежедневно провозимые на польское и лютеранское кладбища; в защиту от них он и воздвиг «фигуру». Было это давно; с тех пор и самого владельца провезли по той же песчаной дороге; «фигура» обветрела, почернела, потрескалась, покрылась вся разноцветными лишаями и вообще приобрела вид почтенной дремлющей старости... Кому случилось хоть раз хоронить близкого или знакомого человека, тот навсегда запоминал темное, старое распятие, торжественно высившееся у самого поворота на кладбище, и вся окружающая местность получила от него свое название: о нас так и говорили, что мы живем в доме Коляновских, «около старой фигуры».

Одной ночью разразилась сильная гроза. Еще с вечера надвинулись со всех сторон тучи, которые зловеще толклись на месте, кружились и сверкали молниями. Когда стемнело, молнии, не переставая, следовали одна за другой, освещая, как днем, и дома, и побледневшую зелень сада, и старую фигуру. Обманутые этим светом, воробьи проснулись и своим недоумелым чириканьем усиливали нависшую в воздухе тревогу, а стены нашего дома то и дело вздрагивали от раскатов, причем оконные стекла после ударов тихо и жалобно звенели...

Нас уложили, но мы не спали, робко прислушиваясь к шумным крикам грозы и испуганному чириканию воробьев и глядя в щели ставен, вспыхивавшие синими отсветами огня. Уже глубокой ночью гроза как будто начала смиряться, раскаты уносились вдаль, и только ровный ливень один шумел по крышам... Как вдруг, где-то совсем близко, грянул одинокий удар, от которого заколыхалась земля... В доме началась тревога, мать поднялась с постели, сняли из-за иконы и зажгли большую восковую свечу «громницу». И долго в доме не ложились, с жутким чувством ожидая какого-то особенного божьего гнева... На утро мы встали поздно, и первое известие, которое нам сообщили, состояло в том, что этот последний ночной гром разбил «старую фигуру»...

Весь наш двор и кухня были, конечно, полны рассказами об этом замечательном событии. Свидетелем и очевидцем его был один только будочник, живший у самой фигуры. Он видел, как с неба слетела огненная змея и села прямо на фигуру, которая вспыхнула вся до последней дощечки. Потом раздался страшный треск, змея перепорхнула на старый пень, а фигура медленно склонилась в зелень кустов...

Когда мы с братьями побежали в конец переулка, — там уже была целая толпа народа. Фигура была сломана. Расщепленное основание всё еще довольно высоко торчало в воздухе, а из густой примятой зелени кустов и деревьев виднелись опаленные плечи с распятием. Картина была полна какого-то особенного значения. По временам придавленная тяжестью зелень поддавалась, трещала какая-нибудь ветка, и верхушка «фигуры», как живая, вздрагивала и опускалась книзу. Тогда не только мы, дети, но, кажется, и вся толпа смолкала в суеверном страхе...

В тот год у нас служил кучер Петро, человек уже старый, ходивший в бараньем кожухе лето и зиму. Лицо у него было морщинистое, а тонкие губы под небольшими усами сохраняли выражение какой-то необъяснимой горечи. Он был необыкновенно молчалив, никогда не принимал участия в толках и пересудах дворни и не выпускал изо рта глиняной «люльки», в которой помешивал иногда горящий табак прямо заскорузлым мизинцем. Мне кажется, что именно он первый сказал, глядя на сломанную фигуру:

— Гм... Щось воно буде...

С этих пор эта фраза на некоторое время становится фоном моих тогдашних впечатлений, отчасти, может быть, потому, что за гибелью «фигуры» последовало и другое однородное происшествие.

В одной деревне стала являться мара... Верстах в сорока от нашего города, за густым, почти непрерывным лесом, от которого, впрочем, теперь, быть может, остались жалкие следы, — лежит местечко Чуднов. В лесу были рассеяны сторожки и хаты лесников, а кое-где над лесной речушкой были и целые поселки.

Не помню, у кого именно из нашей прислуги, чуть ли не у Петра, были в этих местах родные, приезжавшие порой в наш город. Должно быть, они-то и привезли известие о том, что в одном из лесных поселков около Чуднова стало с некоторого времени появляться привидение... Появлялось оно, разумеется, ночью, за речкой, против слободки — высокое, белое. В огромной голове светились два огненных глаза, изо рта пыхало пламя. Выступив внезапно на круче, мара стояла против слободки, наводя на всех ужас, и кричала замогильным голосом:

— Ой, щось буде, о-о-о-ой...

После этого глаза потухали, и мара исчезала.

Впоследствии отец, в то время, кажется, бывший судеб-

ным следователем и разъезжавший по уезду, вернувшись из одной поездки, рассказал конец этой истории. По его словам, через слободку проходил билетный или отставной солдат, который решился избавить народ от мары. Для этого, за сравнительно дешевое вознаграждение водкой, он переправился в сумерках за речку и притаился под кручей. Когда в обычный час высокая фигура с огненными глазами стала на обычном месте, то все, конечно, считали отчаянного солдата погибшим. Но вот, при первых же звуках зловещего воя, вдруг произошла какая-то возня, из головы мары посыпался сноп искр, и сама она исчезла, а солдат, как ни в чем не бывало, через некоторое время закричал лодку... Впрочем, он ничего не рассказал испуганным жителям, а только уверил, что «більш нічого не буде»...

Отец дал нам свое объяснение таинственного события. По его словам, глупых людей пугал какой-то местный «гультяй», поповский племянник, который становился на ходули, драпировался простынями, а на голову надевал горшок с углями, в котором были проделаны отверстия в виде глаз и рта. Солдат будто бы схватил его снизу за ходули, отчего горшок упал, и из него посыпались угли. Шалун заплатил солдату за молчание...

Нам очень нравилось это юмористическое объяснение, побеждавшее ужасное представление о воющем привидении, и мы впоследствии часто просили отца вновь рассказывать нам это происшествие. Рассказ кончался веселым смехом... Но это трезвое объяснение на кухне не произвело ни малейшего впечатления. Кухарка Будзиньская, а за ней и другие объяснили дело еще проще: солдат и сам знался с нечистою силой; он по-приятельски столковался с «марой», и нечистый ушел в другое место.

И потому мораль всего эпизода оставалась в прежней силе:

— Таки щось буде...

Потом стали толковать о каких-то «золотых грамотах», которые появлялись нивесть откуда на дорогах, в полях, на заборах, будто «от самого царя», и которым верили мужики, а паны не верили, мужики осмеливались, а паны боялись... Затем грянула поразительная история о «рогатом попе»...

История эта состояла в следующем: мужик пахал поле и выпахал железный казанок (котел) с червонцами. Он тихонько принес деньги домой и зарыл в саду, не говоря никому ни слова. Но потом не утерпел и доверил тайну своей

бабе, взяв с нее клятву, что она никому не расскажет. Баба, конечно, забожилась всеми внутренностями, но вынести тяжесть неразделенной тайны была не в силах. Поэтому она отправилась к попу и, когда тот разрешил ее от клятвы, выболтала всё на духу.

Поп оказался жадный и хитрый. Он убил и ободрал молодого бычка, надел на себя его шкуру с рогами, причем попадья кое-где зашила его нитками, пошел в полночь к хате мужика и постучал рогом в оконце. Мужик выглянул и обомлел. На другую ночь случилось то же, только на этот раз чорт высказал категорическое требование «віддай мої гроші»...

Мужик очень испугался и перед третьей ночью выкопал котелок и принес в хату. Когда чорт опять явился со своим требованием, мужик, по его приказу, открыл оконце и повесил котелок за железное ухо на рога своего страшного гостя...

Поп радостно прибежал к своей попадье и, наклонив рога, сказал: «снимай гроши». Но когда попадья захотела снять котелок, то оказалось, что он точно прирос к рогам и не поддавался. «Ну, так разрежь шов и сними с кожей». Но и тут, как только попадья стала ножницами резать шов, — поп закричал не своим голосом, что она режет ему жилы. Оказалось, что червонцы прикипели к котлу, котел прирос к рогам, а бычья кожа — к попу...

Разумеется, как всё необычайное, дело «дошло до царя», он посоветовался с стариками, и решили, что попа надо водить по всей земле, по городам и селам, и ставить на площадях. И чтобы все люди подходили и пробовали снять, — потому что клад, должно быть, разбойничий или заклятый. Разбойники, верно, убили человека и зарыли деньги в землю, или кто-нибудь «знающий» закопал с заговором. И если, может, найдутся наследники того, чьи это деньги по правде, то котелок такому человеку отдастся и снимется с рог, а с попа сойдет бычья шкура.

Отец сам рассказал нам, смеясь, эту историю и прибавил, что верят этому только дураки, так как это просто старая сказка; но простой, темный народ верил, и кое-где уже полиция разгоняла толпы, собиравшиеся по слухам, что к ним ведут «рогатого попа». На кухне у нас следили за поповским маршрутом: передавали совершенно точно, что поп побывал уже в Петербурге, в Москве, в Киеве, даже в Бердичеве и что теперь его ведут к нам...

Мы с младшим братом колебались между верой и сомнением, однако у нас теперь явилось новое занятие. Мы взбирались на высокие столбы забора на углу переулка и глядели вперед в перспективу шоссе. Так мы просиживали целые часы неподвижно, иногда запасшись ломтями хлеба, и глядели в пыльную даль, следя за каждым появлявшимся пятнышком. Какая-то неотвязная инерция ожидания держала нас в этом неудобном положении на солнцепеке — до головной боли. Иной раз и хотелось уйти, но из-за горизонта в узком просвете шоссе, у кладбища, то и дело появлялись какие-то пятнышки, скатывались, росли, оказывались самыми прозаическими предметами, но на смену выкатывались другие, и опять казалось: а вдруг это и есть то, чего все ждут.

Раз кто-то крикнул во дворе «ведут!..» Поднялась кутерьма, прислуга выбегала из кухни, бежали горничные, конюха, бежали соседи из переулка, а на перекрестке гремели барабаны и слышался гул. Мы с братом тоже побежали... Но оказалось, что это везли для казни на высокой телеге арестанта...

Эта глупая сказка смешалась с падением фигуры, с марой и вообще попала в настроение ожидания: «Щось буде!» Что именно будет, — неизвестно... Золотые грамоты, бунты мужиков, убийства, рогатый поп... вообще что-то необычайное, тревожное, небывалое — бесформенное... Одни верили в одно, другие — в другое, но все чувствовали, что идет на застоявшуюся жизнь что-то новое, и всякая мелочь встречалась тревожно, боязливо, чутко... От детского впечатления неподвижности всего существующего мира не осталось к этому времени и следа. Наоборот, я чувствовал, что не только мой маленький мирок, но и вся даль, за пределами двора, города, даже где-то в «Москве и Петербурге» — и ждет чего-то, и тревожится этим ожиданием...

Газета тогда в глухой провинции была редкость, гласность заменялась слухами, толками, догадками, вообще — «превратными толкованиями». Где-то в верхах готовилась реформа, грядущее кидало свою тень, проникавшую глубоко в толщу общества и народа; в этой тени вставали и двигались призраки, фоном жизни становилась неуверенность. Крупные черты будущего были неведомы, мелочи вырастали в крупные события.

Тогда же через наш город повели телеграфную линию. Сначала привезли ровные свежие столбы и уложили штабе-

лями на известных расстояниях по улицам. Потом нарыли ямы, и одна из них пришлась как раз на углу нашего переулка и торговой Виленской улицы... Потом столбы уставили в ямы и затем на тележках привезли большие мотки проволоки. Чиновник в свеженьком телеграфном мундире распоряжался работами, а рабочие влезали по лесенкам на столбы и, держась ногами и одной рукой на вбитых в столбы крючьях, натягивали проволоки. Натянув их в одном месте, они перекатывали тележку и сами переходили дальше к следующему промежутку, и к вечеру в воздухе параллельными линиями протянулись уже три или четыре проволоки, и столбы уносили их вдаль по длинной перспективе шоссе. Работники очень торопились, не останавливая работы и ночью. На следующее утро они были уже далеко за заставой, а через несколько дней говорили, что проволока доведена до Бродов и соединена с заграничной... В городе же остался труп: с столба сорвался рабочий, попал подбородком на крюк, и ему разрезало голову...

Я не помню, чтобы когда-нибудь впоследствии мне доводилось слышать такой сильный звон телеграфа, как в эти первые дни. В особенности вспоминается один ясный вечер. В нашем переулке было как-то особенно тихо, рокот экипажей по мощеным улицам города тоже стихал, и оттого яснее выступал непривычный звон... Становилось както жутко слушать этот несмолкающий ровный, непонятный крик мертвого железа, протянувшегося в воздухе откуда-то из неведомой столицы, где «живет царь». Солнце совсем зашло, только промеж дальних крыш, в стороне польского кладбища, еще тлела на небе огненно-багровая полоска. А проволока, холодея, кричала всё громче, наполняя воздух своими стонущими воплями.

Потом, вероятно, проволоку подтянули, и гул стал не так громок: в обыкновенные неветреные дни телеграф только тихо позванивал, как будто крики сменились смутным говором.

В эти первые дни можно было часто видеть любопытных, приставлявших уши к столбам и сосредоточенно слушавших. Тогдашняя молва опередила задолго открытие телефонов: говорили, что по проволоке разговаривают, а так как ее вели до границы, то и явилось естественное предположение, что это наш царь будет разговаривать о делах с иностранными царями.

Мы с братом тоже подолгу простаивали под столбами.

Когда я в первый раз прислонил ухо к дереву, меня поразило разнообразие этих текучих звуков. Это был уже не один ровный и неглубокий металлический звон; казалось, целая звуковая река переливалась по дереву, сложная, невнятная, завлекающая. И положительно иной раз воображение ловило что-то вроде отдаленного говора.

В один прекрасный день этот говор, наконец, был переведен на обыкновенную речь. Кто-то принес на нашу кухню известие, что отставной чиновник Попков уже разобрал «разговор по телеграфу». Чиновник Попков представлялся необыкновенно сведущим человеком; он был выгнан со службы неизвестно за что, но в знак своего прежнего звания носил старый мундир с форменными пуговицами, а в ознаменование теперешних бедствий ноги его были иной раз в лаптях. Он был очень низок ростом, с уродливо большой головой и необыкновенным лбом. Пробавлялся он писанием просьб и жалоб. В качестве «заведомого ябедника» ему это было воспрещено, но тем большим доверием его «бумаги» пользовались среди простого народа: думали, что запретили ему писать именно потому, что каждая его бумага обладала такой силой, с которой не могло справиться самое большое начальство. Жизнь он, однако, влачил бедственную, и в трудные минуты, когда другие источники иссякали, он брал шутовством и фокусами. Один из этих фокусов состоял в том, что он разбивал лбом волошские орехи [1].

И вот, говорили, что именно этот человек, которого и со службы-то прогнали потому, что он слишком много знает, сумел подслушать секретные разговоры нашего царя с иностранными, преимущественно с французским Наполеоном...

Тревожное, неуловимое предсказание чудновской мары— «щось буде» — облекалось в определенную идею: царь хочет отнять у помещиков крестьян и отпустить на волю...

Хорошо это или плохо?

Если бы я писал беллетристический рассказ, то мне было бы очень соблазнительно связать этот вопрос с судьбой описанных выше двух «купленных мальчиков»... Выходило бы так, что я, еще ребенок, из сочувствия к моему приятелю, находящемуся в рабстве у пана Уляницкого, всей

---

[1] **Волошские орехи** широко распространены в южной и средней полосе нашей страны. Более известны под названием «грецких орехов».

душою призываю реформу и молюсь за доброго царя, который хочет избавить всех купленных мальчиков от злых Уляницких... Это бы очень хорошо рекомендовало мое юное сердце и давало бы естественный повод для эффектных картин: в глухом городе неиспорченное детское чувство несется навстречу доброму царю и народной свободе...

Но, увы! — вглядываясь в живые картины, выступающие для меня теперь из тумана прошлого, я решительно вижу себя вынужденным отказаться от этого эффектного мотива. Не знаю, право, как это случилось... Может быть, просто потому, что дети слишком сильно живут непосредственными впечатлениями, чтобы устанавливать между ними те или другие широкие связи, — но только я как-то совсем не помню связи между намерениями царя относительно всех крестьян и всех помещиков — и ближайшей судьбой, например, Мамерика и другого безымянного нашего знакомца. И потому я не мог тогда чувствовать, что надвигающееся освобождение хорошо...

Да и впечатления были сбивчивы и смутны. На кухне у нас, сколько могу припомнить, ничего хорошего не ждали, — может быть, потому, что состав ее был до известной степени аристократический. Кухарка была *«пани»* Будзиньская, комнатная горничная *«пани»* Хумова», женщина с тонкими изящными чертами лица, всегда говорившая по-польски, лакей Гандыло, конечно, очень бы обиделся, если бы его назвали мужиком. Из всей нашей тогдашней прислуги старая нянька и Будзиньская сохраняли деревенскую одежду и головы повязывали кичками, но и у них вид уже был не деревенский. Только кучер Петро, в своем вечном кожухе и тяжелых чоботах с отвернутыми книзу голенищами, имел облик настоящего мужика. Но он был человек очень молчаливый, всё только курил и сплевывал, не высказывая никаких общих суждений. Лицо его оставалось постоянно суровым, загадочным и мрачным...

Человек вообще меряет свое положение сравнением. Всему этому кругу жилось недурно под мягким режимом матери, и по вечерам в нашей кухне, жарко натопленной и густо насыщенной запахом жирного борща и теплого хлеба, собиралась компания людей, в общем довольных судьбой... Трещал сверчок, тускло горел сальный каганчик «на прыпичку»,[1] жужжало веретено, лились любопытные

[1] «На прыпичку» (укр.) — на шестке — так называется площадка перед устьем русской печки.

рассказы, пока кто-нибудь, сытый и разомлевший, не подымался с лавки и не говорил:

— А таки поздно... пора и спать....

Среди вечерних рассказов попадались и эпизоды панской жестокости, но обобщений не делалось. Есть на свете паны добрые и паны не милостивые. Бог таких наказывает и иногда очень жестоко. Но и мужик обязан знать свое место, так как всё это установлено богом. На долю этих людей бог выделил сравнительно легкую работу, полную сытость и немало досуга в теплой кухне... То неизвестное, что надвигалось на жизнь, представлялось им поэтому отчасти тревожным. «Щось буде», — но хорошо это или плохо — неизвестно. Вообще же — беспокойно...

Это, впрочем, было настроение и не одной нашей кухни.

В одно раннее утро на нашем дворе оказалась большая толпа мужиков в свитках и бараньих шапках. Они только что привалили из деревни, за плечами у многих были берестяные кошолки или через плечо — холщевые торбы. Толпа тихо гудела, сгрудившись около широкой лестницы большого дома, и даже на некотором расстоянии чувствовался тяжеловатый мужицкий запах — пота, дегтя и овчины. Вскоре сверху, из хозяйского дома, спустились два старика без шапок и сказали что-то тревожно двинувшейся к ним толпе. Среди мужиков раздался общий негромкий, как будто довольный говор, а затем вся толпа опустилась на колени: наверху лестницы показалась, поддерживаемая паннами-камеристками, г-жа Коляновская. Это была полная, величавая дама, с очень живыми, черными глазами, орлиным носом и весьма заметными черными усиками. На верху лестницы высоко над коленопреклоненной толпой, окруженная своим штатом, она казалась королевой среди своих подданных. Она сказала им несколько милостивых слов, на которые толпа ответила каким-то особенно преданно-радостным гулом..

В полдень на дворе составили несколько столов и угощали мужиков перед обратной дорогой...

Из разговоров старших я узнал, что это приходили крепостные Коляновской из отдаленной деревни Сколубова просить, чтобы их оставили по-старому — «мы ваши, а вы наши». Коляновская была барыня добрая. У мужиков земли было довольно, а по зимам почти все работники расходились на разные работы. Жилось им, очевидно, тоже лучше

соседей, и «щось буде» рождало в них тревогу, — как бы это грядущее неизвестное их «не поровняло».

В это же лето Коляновские взяли меня к себе в имение. Поездка эта осталась у меня в памяти, точно картинка из волшебного сна: большой барский дом, и невдалеке ряд крестьянских хаток, выглядывавших из-за косогора соломенными крышами и белыми мазаными стенами. По вечерам барский дом светился большими окнами, а хатки мерцали как-то ласково и смиренно разбросанными в темноте огоньками. И это казалось таким мирным, дружелюбным и согласным... В хатах жили мужики, те самые, которые однажды сломали наше крыльцо и построили новое, — умные и сильные. В доме — господа, добрые и ласковые. За столом у Коляновской собирались дальние родственники и служащие, народ смирный, услужливый и мягкий. На всем лежал какой-то особенный отпечаток прочно сладившегося быта, без противоречий и диссонансов[1]. Помню, однажды за вечерним столом появился какой-то заезжий господин, в щегольском сюртуке, крахмальной сорочке и золотых очках, — фигура, резавшая глаз своей отчужденностью от этого деревенского общего тона. Между прочим, он стал доказывать, что мужики—«быдло», лентяи, пьяницы и ничего не умеют. Коляновская спокойно возражала: вот этот дом, в котором мы сидим, и всё в этом доме до последнего стула сделано ее мужиками. Дом в городе строили они же, и всем распоряжался умный старый мужик... Спрашивается: какой заграничный архитектор построит прочнее и лучше? И бедные родственники и официалисты[2] убежденно поддакивали, а мнению чужого господина как будто некуда было втиснуться в это законченное и бесповоротное убеждение.

Я тоже чувствовал, что права Коляновская. Незнакомый деревенский мир, мир сильных, умелых и смиренных, казался мне добрым и прекрасным в своем смирении. По вечерам мимо барского сада возвращались с работы парубки и дивчата, в венках из васильков, с граблями и косами на плечах и с веселыми песнями... Когда сняли первый сноп в поле, то принесли его торжественно в барский двор. Сноп качался над головами парубков в бараньих шапках и девушек в венках из васильков. И казалось, что он сознательно

---

[1] Диссонанс — неблагозвучное сочетание звуков; несоответствия одного предмета, явления другому или ряду других.

[2] Официалисты (официалы) — служащие у знатных особ в старой Польше.

принимает молчаливое участие в этой радости труда. Это называлось «зажинки». С еще большей торжественностью принесли на «дожинки» последний сноп, и тогда во дворе стояли столы с угощением, и парубки с дивчатами плясали до поздней ночи перед крыльцом, на котором сидела вся барская семья, радостная, благожелательная, добрая. Потом толпа с песнями удалилась от освещенного барского дома к смиренным огонькам за косогором, и, по мере того как певцы расходились по хатам, песня замирала и таяла, пока не угасла совсем где-то в невидном дальнем конце деревни. И всё казалось так мирно, прекрасно, цельно и ненарушимо... И всё вспоминается мне, как уголок крепостной идиллии, освещенный мягкими лучами заката.

А между тем где-то далеко в столицах судьбы крепостного строя уже взвешивались, и в городе носилось тревожное ожидание. «Щось буде», — кричала чудновская мара. Старая фигура, стоявшая с незапамятных времен, вдруг взяла да упала... Рогатый поп ходит по городам — должно быть, перед концом мира... «Щось буде», — испуганно воет телеграфная проволока.. На кухне вместо сказок о привидениях по вечерам повторяются рассказы о «золотых грамотах», о том, что мужики не хотят больше быть панскими, что Кармелюк[1] вернулся из Сибири, вырежет всех панов по селам и пойдет с мужиками на город. Неведомая страна за пределами города представлялась после этих рассказов темной, угрожающей, освещенной красным заревом пожаров. В детскую душу, как зловещая зарница из-за тучи, порой заглядывала непонятная тревога, которая, впрочем, быстро исчезала с впечатлениями ближайшего яркого дня...

«ФОМКА ИЗ САНДОМИРА» И ПОМЕЩИК ДЕШЕРТ

Около этого времени я прочитал первую толстую книгу и познакомился с одним ярким представителем крепостного строя.

Читать все мы научились как-то незаметно. Нам купили вырезную польскую азбуку, и мы, играя, заучивали буквы. Постепенно перешли к чтению неизбежного «Степки-рас-

---

[1] Кармелюк (1784—1835) — известный украинский повстанец, руководивший в тридцатых годах XIX века борьбой крепостных крестьян против помещиков и царских чиновников. В народных песнях о Кармелюке говорится как о защитнике бедных и угнетенных.

трепки», а затем мне случайно попалась большая повесть польского писателя, кажется, Коржениовского[1] «Фомка из Сандомира» («Tomek Sandomierzak»). Я начал разбирать ее почти еще по складам и постепенно так заинтересовался, что к концу книги читал уже довольно бегло. Результатом этого, может быть, слишком раннего чтения, как мне кажется, явилось некоторое ослабление зрения и значительное расширение представлений об обществе и деревне.

Книга мне попалась на первый раз очень хорошая: в ней рассказывалось о маленьком крестьянском мальчике, сироте, который сначала пас стадо. Случайно он встретился с племянницей приходского ксёндза[2] (proboszcza), своей сверстницей, которая начала учить его грамоте и пробудила умственные стремления. Добрый ксёндз упросил пана отпустить подростка, и тот пошел в свет искать знания. В повести не было ни таинственных приключений, ни сложной интриги. Просто, реально и тепло автор рассказывал, как Фомка из Сандомира пробивал себе трудную дорогу в жизни, как он нанялся в услужение к учителю в монастырской школе, как потом получил позволение учиться с другими учениками, продолжая чистить сапоги и убирать комнату учителя, как сначала над ним смеялись гордые паничи и как он шаг за шагом обгонял их и первым кончил школу. Ему предстоит блестящая карьера, но ученый мужик возвращается в деревню, чтобы стать деревенским учителем. Здесь он опять встречает подругу своего детства. Конец повести, вероятно несколько сантиментальный, вспоминается мне озаренным радостью честного, хорошего счастья.

Я и теперь храню благодарное воспоминание и об этой книге, и о польской литературе того времени. В ней уже билась тогда струя раннего, пожалуй, слишком наивного народничества, которое, еще не затрагивая прямо острых вопросов тогдашнего строя, настойчиво проводило идею равенства людей...

За этой повестью я просиживал целые дни, а иной раз и вечера, разбирая при сальной свече (стеариновые тогда считались роскошью) страницу за страницей. Помню также, что старшие не раз с ласковым пренебрежением уверяли меня, что я ничего не понимаю, а я удивлялся: что же тут

---

[1] Коржениовский Иосиф (1797—1863) — польский писатель, автор многих повестей и драм.

[2] Ксёндз — католический священник.

понимать? Я просто *видел* всё, что описывал автор: и маленького пастуха в поле, и домик ксендза среди кустов сирени, и длинные коридоры в школьном здании, где Фомка из Сандомира торопливо несет вычищенные сапоги учителя, чтобы затем бежать в класс, и взрослую уже девушку, застенчиво встречающую тоже взрослого и «ученого» Фому, бывшего своего ученика.

Знакомство с деревней, которое я вынес из этого чтения, было, конечно, наивное и книжное. Даже воспоминание о деревне Коляновских не делало его более реальным. Но кто знает — было ли бы оно вернее, если бы я в то время только жил среди сутолоки крепостных отношений... Оно было бы только конкретнее, но едва ли разумнее и шире. Я думаю даже, что и сама деревня не узнает себя, пока не посмотрится в свои более или менее идеалистические (не всегда «идеальные») отражения.

Как бы то ни было, наряду с деревней, темной и враждебной, откуда ждали какой-то неведомой грозы, в моем воображении существовала уже и другая. А фигура вымышленного Фомки стала мне прямо дорогой и близкой. Однажды, когда отец был на службе, а мать с тетками и знакомыми весело болтали за какой-то работой, на дворе послышалось тарахтение колес. Одна из теток выглянула в окно и сказала упавшим голосом:

— Дешерт!..

Мать поднялась со своего места и, торопливо убирая зачем-то работу со стола, говорила растерянно:

— Иисус, Мария, святой Иосиф... Вот беда... И мужа нет дома.

Дешерт был помещик и нам приходился как-то отдаленно сродни. В нашей семье о нем ходили целые легенды, окружавшие это имя грозой и мраком. Говорили о страшных истязаниях, которым он подвергал крестьян. Детей у него было много, и они разделялись на любимых и нелюбимых. Последние жили в людской, и, если попадались ему на глаза, он швырял их, как собачонок. Жена его, существо бесповоротно забитое, могла только плакать тайком. Одна дочь, красивая девушка с печальными глазами, сбежала из дому. Сын застрелился...

Всё это, повидимому, нимало не действовало на Дешерта. Это была цельная крепостническая натура, не признававшая ничего, кроме себя и своей воли. Города он не любил: здесь он чувствовал какие-то границы, которые

вызывали в нем постоянное глухое кипение, готовое ежеминутно прорваться... И это-то было особенно неприятно и даже страшно хозяевам.

На этот раз, сойдя с брички, он категорически объявил матери с первых слов, что умирает. Он был страшно мнителен и при малейшем недомогании ставил всех на ноги. Без всякой церемонии он занял отцовский кабинет, и оттуда понеслись на весь дом его стоны, окрики, распоряжения, ругательства. Вернувшись со службы, отец застал свою комнату заваленною тазами, компрессами, примочками, пузырьками с лекарством. На его постели лежал «умирающий» и то глухо стонал, то ругался так громко, точно командир перед полком во время учения. Отец пожал плечами и подчинился.

Несколько дней, которые у нас провел этот оригинальный больной, вспоминаются мне каким-то кошмаром. Никто в доме ни на минуту не мог забыть о том, что в отцовском кабинете лежит Дешерт, огромный, страшный и «умирающий». При его грубых окриках мать вздрагивала и бежала сломя голову. Порой, когда крики и стоны смолкали, становилось еще страшнее: из-за запертой двери доносился богатырский храп. Все ходили на цыпочках, мать высылала нас во двор.

Кончилась эта болезнь довольно неожиданно. Однажды отец, вернувшись со службы, привез с собой остряка дядю Петра. Глаза у Петра, когда он здоровался с матерью, смеялись, усики шевелились.

Свободным голосом, какого уже несколько дней не слышно было в нашей квартире, он спросил:

— Ну, где же ваш больной?

Мать испуганно посмотрела на Петра и сказала умоляющим голосом:

— Ради бога!.. Что вы хотите делать?.. Нет, нет, пожалуйста, не ходите туда.

Но отец, которому всё это и надоело и мешало, открыл свою дверь, и оба вошли в кабинет. Петр без всяких предосторожностей подошел к постели и громко сказал по-польски:

— Слышал, что умираешь! Пришел с тобой проститься...

Больной застонал и стал жаловаться, что у него колет в боку, что он «не имеет желудка» и вообще чувствует себя совсем плохо..

— Ну, что делать, — сказал Петр, — я и сам вижу умираешь... Все когда-нибудь умрем. Ты сегодня, а я завтра... Позовите священника, пусть приготовится, как следует доброму христианину.

Дешерт застонал. Петр отступил шага на два и стал мерить больного глазами от головы до ног.

— Что ты так на меня смотришь? — спросил Дешерт жалобно и ворчливо.

— Ничего, ничего... — успокоил его Петр и, не обращая на него внимания, деловито сказал отцу: — Гроб, я тебе скажу, понадобится... ой-ой-ой!..

От этих слов Дешерта подкинуло на постели.

— Лошадей! — крикнул он так громко, что его кучер тотчас же кинулся из кухни исполнять приказание.

Дешерт стал одеваться, крича, что он умрет в дороге, но не останется ни минуты в доме, где смеются над умирающим родственником. Вскоре лошади Дешерта были поданы к крыльцу, и он, обвязанный и закутанный, ни с кем не прощаясь, уселся в бричку и уехал. Весь дом точно посветлел. На кухне говорили вечером, каково-то у такого пана «людям», и приводили примеры панского бесчеловечья.

Дешерт долго не появлялся в нашем доме, и только от времени до времени доносились слухи о новых его жестокостях в семье и на деревне.

Прошло, вероятно, около года. «Щось буде» нарастало, развертывалось, определялось. Отец уже работал в каких-то «новых комитетах», но о сущности этих работ всё-таки говорилось мало и осторожно.

Однажды я сидел в гостиной с какой-то книжкой, а отец, в мягком кресле, читал «Сын отечества».[1] Дело, вероятно, было после обеда, потому что отец был в халате и в туфлях. Он прочел в какой-то новой книжке, что после обеда спать вредно, и насиловал себя, стараясь отвыкнуть; но порой преступный сон всё-таки захватывал его внезапно в кресле. Так было и теперь: в нашей гостиной было тихо, и только по временам слышались то шелест газеты, то тихое всхрапывание отца.

---

[1] «Сын отечества» — журнал политический, ученый и литературный; издавался с 1856 по 1861 год. Позже был преобразован в дешевую ежедневную газету и просуществовал до 1900 года. Отвечал запросам мелкой буржуазии.

Вдруг в соседней комнате послышались тяжелые, торопливые шаги; кто-то не просто открыл, а рванул дверь, и на пороге появилась худая высокая фигура Дешерта.

Явился он, как привидение. Лицо было бледное, усы растрепаны, волосы ежом, глаза мрачно горели. Шагнув в комнату, он остановился, потом стал ходить из угла в угол, как будто стараясь подавить клокотавшее в его груди бешенство.

Я прижался в своем уголке, стараясь, чтобы он меня не заметил, но вместе что-то мешало мне выскользнуть из комнаты. Это был страх за отца: Дешерт был огромный и злой, а хромой отец казался слабым и беззащитным.

Сделав несколько быстрых оборотов, Дешерт вдруг остановился посредине комнаты и сказал:

— Слушай! Это, значит, всё-таки правда?

— Что? — спросил отец. Глаза его наблюдали и смеялись.

Дешерт нетерпеливо рванулся и ответил:

— А, пусть вас возьмут все черти! Ну, понимаешь, то, о чем теперь трубят во все трубы? Даже хамы уже громко разговаривают об этом...

Отец, всё так же с любопытством вглядываясь в него своими повеселевшими глазами, молча кивнул головой.

Дешерт не то застонал, не то зарычал, опять метнулся по комнате и потом, круто остановившись, сказал:

— А, вот как!.. Ну, так вот я вам говорю... Пока они еще мои... Пока вы там сочиняете свои подлые проекты... Я... я...

Он остановился, как будто злоба мешала ему говорить. В комнате стало жутко и тихо. Потом он повернулся к дверям, но в это время от кресла отца раздался сухой стук палки о крашеный пол. Дешерт оглянулся; я тоже невольно посмотрел на отца. Лицо его было как будто спокойно, но я знал этот блеск его больших выразительных глаз. Он сделал было усилие, чтобы подняться, потом опустился в кресло и, глядя прямо в лицо Дешерту, сказал по-польски, видимо сдерживая порыв вспыльчивости:

— Слушай, ты... как тебя?.. Если ты... теперь... тронешь хоть одного человека в твоей деревне, то, богом клянусь: тебя под конвоем привезут в город.

Глаза у Дешерта стали круглы, как у раненой хищной птицы. В них виднелось глубокое изумление.

— Кто?.. Кто посмеет?.. — прохрипел он, почти задыхаясь.

— А вот увидишь, — сказал отец, уже спокойно вынимая табакерку.

Дешерт еще немного посмотрел на него остолбенелым взглядом, потом повернулся и пошел через комнату. Платье на его худощавом теле как будто обвисло. Он даже не стукнул выходной дверью и как-то необычно тихо исчез.

А отец остался в своем кресле. Под расстегнутым халатом засыпанная табаком рубашка слегка колебалась. Отец смеялся своим обычным нутряным смехом несколько тучного человека, а я смотрел на него восхищенными глазами, и чувство особенной радостной гордости трепетало в моем юном сердце.

В комнату вбежала мать и спросила с тревогой:

— Что он? Ушел? Ради бога, — что у вас вышло?

Когда отец в коротких словах передал, что именно вышло, она всплеснула руками:

— Что теперь будет!.. Бедные люди!..

— Не посмеет, — сказал отец уверенно. — Не те времена.

В связи с описанной сценой мне вспоминается вечер, когда я сидел на нашем крыльце, глядел на небо и «думал без слов» обо всем происходящем... Мыслей словами, обобщений, ясных выводов не было... «Щось буде» развертывалось в душе вереницей образов... Разбитая фигура... мужики Коляновской, мужики Дешерта... его бессильное бешенство... спокойная уверенность отца. Всё это, в конце концов, по странной логике образов, слилось в одно сильное ощущение, до того определенное и ясное, что и до сих пор еще оно стоит в моей памяти.

Незадолго перед этим Коляновской привезли в ящике огромное фортепиано. Человек шесть рабочих снимали его с телеги и, когда снимали, то внутри ящика что-то глухо погромыхивало и звенело. Одну минуту, когда его поставили на край и взваливали на плечи, случилась какая-то заминка. Тяжесть, нависшая над людьми, дрогнула и, казалось, готова была обрушиться на их головы... Мгновение... Сильные руки сделали еще поворот, и мертвый груз покорно и пассивно стал подыматься на лестницу...

И вот в этот тихий вечер мне вдруг почуялось, что где-то высоко, в ночном сумраке, над нашим двором, над

городом и дальше, над деревнями и над всем доступным воображению миром нависла невидимо какая-то огромная ноша и глухо гремит, и вздрагивает, и поворачивается, грозя обрушиться... Кто-то сильный держит ее и управляет ею и хочет поставить на место. Удастся ли? Сдержит ли? Подымет ли, поставит?.. Или неведомое «щось буде» с громом обрушится на весь этот известный мне мир?..

Так или иначе — то время справилось со своей задачей. Ноша поставлена на место, и жизнь твердою волею людей двинута в новом направлении... Прошло почти полвека... И теперь, когда я пишу эти воспоминания, над нашей страной вновь висят тяжкие задачи нового времени, и опять что-то гремит и вздрагивает, поднятое, но еще не поставленное на место. И в душе встают невольно тревожные вопросы: Хватит ли силы?.. Поднимут ли?.. Повернут ли?.. Поставят ли?.. Где добрая воля? Где ясное сознание? Где дружные усилия и сильные руки?..

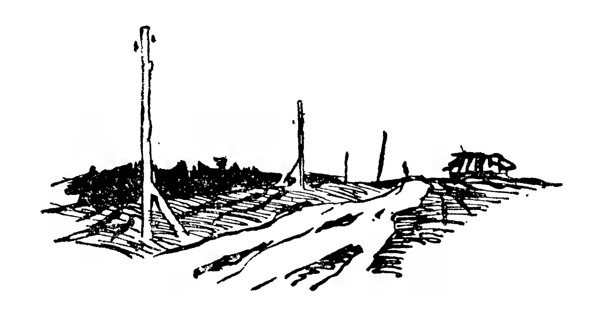
Обыкновенно беллетристы, пишущие о том времени, заканчивают апофеозом освобождения. Толпы радостно умиленного народа, кадильный дым, благодарная молитва, надежды... Я лично ничего подобного не видел, может быть потому, что жил в городе. Мне, положим, вспоминается какое-то официальное торжество — не то по поводу освобождения, не то объявление о завоевании Кавказа. Для выслушания «манифеста» в город были «согнаны» представители от крестьян, и уже накануне улицы переполнились сермяжными свитками. Было много мужиков с медалями, а также много баб и детей.

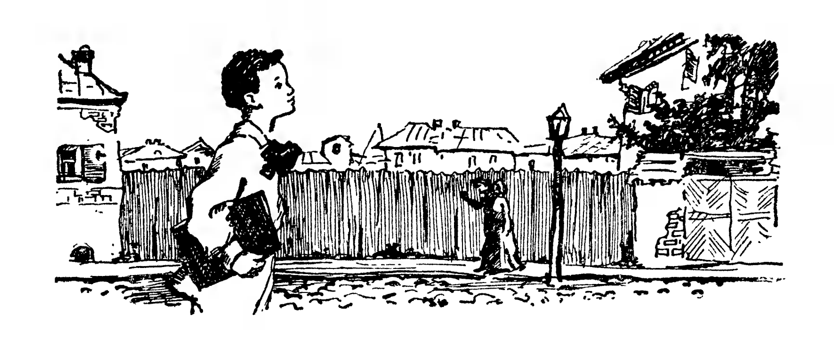
Это последнее обстоятельство объяснялось тем, что в народе прошел зловещий слух: паны взяли верх у царя, и никакой опять свободы не будет. Мужиков сгоняют в город и будут расстреливать из пушек. В панских кругах, наоборот, говорили, что неосторожно в такое время собирать в город такую массу народа. Толковали об этом накануне торжества и у нас. Отец, по обыкновению, махал рукой: «Толкуй больной с подлекарем!»

В день торжества в центре города на площади квадратом были расставлены войска. В одной стороне блестел ряд медных пушек, а напротив выстроились «свободные» мужики. Они производили впечатление угрюмой покорности судьбе, а бабы, которых полиция оттирала за шпалеры солдат, по временам то тяжко вздыхали, то принимались голосить. Когда после чтения какой-то бумаги грянули холостые

выстрелы из пушек, в толпе послышались истерические крики, и произошло большое замешательство. Бабы подумали, что это начинают расстреливать мужиков.

Старое время завещало новому часть своего печального наследства...





НАЧАЛО УЧЕНЬЯ. — ВОССТАНИЕ

ПАНСИОН

Мне было, кажется, лет шесть, когда меня отдали в маленький польский пансион пани Окрашевской.

Это была добрая женщина, которая вынуждена была заняться педагогией собственно потому, что ее бросил муж, оставив с двумя дочерьми на произвол судьбы. Она делала, что могла: у нее я выучился французскому чтению и «вокабулам», [1] а затем она заставила меня вытверживать на польском языке «исторические песни Немцевича». [2] Мне они нравились, и мой ум обогатился стихотворными сведениями из польского гербовника. [3] Но когда добрая женщина, желая сразу убить двух зайцев, заставила меня изучать географию по французскому учебнику, то мой детский мозг решительно запротестовал. Напрасно она стала уменьшать

---

[1] «Вокабулы» — иностранные слова и их переводы на родной язык специально выписанные для заучивания наизусть.

[2] Немцевич Юлиан Урсынь (1758—1841) — польский писатель и политический деятель, боровшийся за национальную независимость Польского государства. Автор многих стихотворений, драматических произведений и повестей. Особой известностью пользовались его «Исторические песни».

[3] Гербовник — изображение и описание гербов старинных дворянских фамилий.

порции этих полезных знаний до полустраницы, одной четверти, пяти строк, одной строки... Я сидел над книгой, — на глазах моих стояли слезы; и опыт кончился тем, что я не мог уже заучить даже двух рядом стоящих слов.

Вскоре после этого я заболел перемежающейся лихорадкой, а после болезни меня отдали в большой пансион «пана Рыхлинского», где уже учился мой старший брат. Это был один из значительных переломов в моей жизни.

В пансионе Окрашевской учились одни дети, и я чувствовал себя там ребенком. Меня привозили туда по утрам, и по окончании урока я сидел и ждал, пока за мной заедет кучер или зайдет горничная. У Рыхлинского учились не только маленькие мальчики, но и великовозрастные молодые люди, умевшие уже иной раз закрутить порядочные усики. Часть из них училась в самом пансионе, другие ходили в гимназию. Таким образом, я с гордостью сознавал, что впервые становлюсь членом некоторой корпорации. [1]

После двух-трех раз, когда я хорошо узнал дорогу, мать позволила мне идти в пансион одному.

Я отлично помню это первое самостоятельное путешествие. В левой руке у меня была связка книг и тетрадей, в правой — небольшой хлыст для защиты от собак. В это время мы переехали уже из центра города на окраину, и дом наш окнами глядел на пустырь, по которому бегали стаями полуодичавшие собаки. Я шел, чувствуя себя так, как, вероятно, чувствуют себя в девственных лесах охотники. Сжимая хлыст, я зорко смотрел по сторонам, ожидая опасности. Еврейский мальчик, бежавший в ремесленное училище; сапожный ученик с выпачканным лицом и босой, но с большим сапогом в руке; длинный верзила, шедший с кнутом около воза с глиной; наконец, бродячая собака, пробежавшая мимо меня с опущенной головой, — все они, казалось мне, знают, что я — маленький мальчик, в первый раз отпущенный матерью без провожатых, у которого вдобавок в кармане лежит огромная сумма в три гроша (полторы копейки). И я был готов отразить нападение еврейского мальчика, и мальчика с сапогом. Только верзила, — я сознавал это, — может меня легко ограбить, а собака могла быть бешеная... Но и тот, и другая не обратили на меня внимания.

---

[1] Корпорация (лат.) — союз равных по положению людей, чаще всего имеющих общую профессию или специальность.

Наконец я подошел к воротам пансиона и остановился. Остановился лишь затем, чтобы продлить ощущение особого наслаждения и гордости, переполнявшей всё мое существо. Подобно Фаусту, я мог сказать этой минуте: «Остановись, ты прекрасна!» Я оглядывался на свою короткую еще жизнь и чувствовал, что вот я уже как вырос и какое, можно сказать, занимаю в этом свете положение: прошел один через две улицы и площадь, и весь мир признает мое право на эту самостоятельность.

Должно быть, было что-то особенное в этой минуте, потому что она запечатлелась навеки в моей памяти и с внутренним ощущением, и с внешними подробностями. Кто-то во мне как бы смотрел со стороны на стоявшего у ворот мальчика, и, если перевести словами результаты этого осмотра, то вышло бы приблизительно так:

«Вот — я! Я тот, который когда-то смотрел на ночной пожар, сидя на руках кормилицы; тот, который колотил палкой в лунный вечер воображаемого вора; тот, который обжег палец и плакал от одного воспоминания об этом; тот, который замер в лесу от первого впечатления лесного шума; тот, которого еще недавно водили за руку к Окрашевской... И вот теперь я тот, что бесстрашно прошел мимо стольких опасностей, подошел к самым воротам пансиона, где я уже имею высокое звание «учня»; и я смотрю кругом и кверху. Кругом — улица и дома, вверху — старая перекладина ворот, и на ней два голубя. Один сидит смирно, другой ходит взад и вперед по перекладине и воркует как-то особенно приятно и чисто. И всё кругом чисто и приятно: дома, улица, ворота и особенно высокое синее небо, по которому тихо, как будто легкими толчками, передвигается белое облако. И всё это — мое, всё это как-то особенно проникает в меня и становится моим достоянием».

От восторга я чуть не вскрикнул и, сильно взмахнув книгами, зашагал через двор огромными для моего возраста шагами. И мне казалось, что со мною в пансион Рыхлинского вступил кто-то необыкновенно значительный и важный. Это, впрочем, не мешало мне относиться с величайшим благоговением ко всем пансионерам, поступившим ранее меня, не говоря, конечно, об учителях.

Нельзя сказать, чтобы в этом пансионе господствовало последнее слово педагогической науки. Сам Рыхлинский был человек уже пожилой, на костылях. У него была коротко остриженная квадратная голова, с мясистыми чертами ши-

рокого лица; плечи от постоянного упора на костыли были необыкновенно широки и приподняты, отчего весь он казался квадратным и грузным. Когда же, иной раз, сидя в кресле, он протягивал вперед свои жилистые руки и, вытаращив глаза, вскрикивал сильным голосом: «Кос-ти переломаю!.. все кости...» — то наши детские души уходили в пятки. Но это бывало не часто. Старый добряк экономил этот эффект и прибегал к нему лишь в крайних случаях.

Языкам обучали очень оригинальным способом: с первого же дня поступления я узнал, что я должен говорить один день по-французски, другой — по-немецки. Я не знал ни того, ни другого языка, и как только заговорил по-польски, — на моей шее очутилась веревочка с привешенной к ней изрядной толщины дубовой линейкой. Линейка имела форму узкой лопатки, на которой было написано по-французски: «la règle», а на другой стороне по-польски: «dla bicia» (для битья). К завтраку, когда все воспитанники уселись за пять или шесть столов, причем за средним сидел сам Рыхлинский, а за другими — его жена, дочь и воспитатели, Рыхлинский спросил по-французски:

— У кого линейка?

— Иди! Иди! — стали толкать меня товарищи.

Я робко подошел к среднему столу и подал линейку.

Рыхлинский был дальний родственник моей матери, бывал у нас, играл с отцом в шахматы и всегда очень ласково обходился со мною. Но тут он молчаливо взял линейку, велел мне протянуть руку ладонью кверху, и... через секунду на моей ладони остался красный след от удара. В детстве я был нервен и слезлив, но от физической боли плакал редко; не заплакал и в этот раз и даже не без гордости подумал: вот уже меня, как настоящих пансионеров, ударили и «в лапу».

— Хорошо, — сказал Рыхлинский. — Линейку возьми опять и отдай кому-нибудь другому. А вы, гультяи, научите малого, что надо делать с линейкой. А то он носится с нею, как дурень с писаной торбой.

Действительно я носил линейку на виду, тогда как надо было спрятать ее и накинуть на шею тому, кто проговаривался польским или русским словом. Это походило немного на поощрение шпионства, но при общем тоне пансиона превратилось в своего рода шутливый спорт. Ученики весело перекидывались линейкой, и тот, кто приходил с нею к столу, мужественно принимал крепкий удар.

Зато во всех остальных отношениях всякое шпионство и взаимные жалобы совершенно не терпелись. В тех случаях, когда какой-нибудь новичок приходил с жалобой или доносом, Рыхлинский немедленно вызывал виновного и производил строгое расследование. Если донос оказывался верным, — следовало наказание: шла в ход та же линейка, или виновный ставился на колени. Но при наказании непременно должен был присутствовать и доносчик. Иной раз Рыхлинский спрашивал его:

— Ну, что? Тебе теперь приятно?

Все чувствовали, что жалоба на товарища осуждается более, чем самый проступок. Вся масса учеников смотрела сочувственно на наказываемого и с презрением — на доносчика. Некоторое время после этого его дразнили звуками, похожими на блеяние козы, и звали «козою».

Вообще в пансионе был свой особенный тон, и всё в нем мне очень нравилось, кроме учителя математики — пана Пашковского. Это был человек лет за тридцать, большого роста, худощавый, но сильный и довольно красивый. Я, впрочем, тогда плохо ценил его всеми признаваемую красоту. Мне казались крайне неприятными и его большие, круглые, как у птицы, глаза, и острый нос с сильной горбинкой, напоминавший клюв ястреба. Усы у него были длинные, нафабренные, с концами, вытянутыми в ниточку, а ногти на руках он отпускал и холил. Они у него были очень длинные и заостренные на концах. Вообще весь он был какой-то выхоленный, щеголеватый и чистый, носил цветные жилетки, кольца на руках и цепочки с брелоками и распространял вокруг себя запах помады, крепкого табаку и крахмала.

Во время уроков он или подчищал ногти какой-то костяшкой, или старательно поправлял усы концами длинных костлявых и закуренных до желтизны пальцев. Говорили, что он ищет себе богатую невесту и уже потерпел несколько неудач; а пока что мне суждено было воспринять от этого «красавца» первые основы математических познаний.

Дело это сразу пошло не настоящей дорогой. Мне казалось, что этот рослый человек питает неодолимое презрение к очень маленьким мальчикам, а я и еще один товарищ, Сурин, были самые малые ростом во всем пансионе. И оба не могли почему-то воспринять от Пашковского ни одного «правила» и особенно ни одной «поверки».

Педагогические приемы у пана Пашковского были осо-

бенные: он брал малыша за талию, ставил его рядом с собою и ласково клал на голову левую руку. Малыш сразу чувствовал, что к поверхности коротко остриженной головы прикоснулись пять заостренных, как иголки, ногтей, через которые, очевидно, математическая мудрость должна проникнуть в голову.

— Ну, милый мальчик, понял?

В больших, навыкате, глазах (и кто только мог находить их красивыми!) начинала бегать какая-то зеленоватая искорка. Всё мое внимание отливало к пяти уколам на верхушке головы, и я отвечал тихо:

— Понял.

— Объясняй.

Я начинал что-то путать. Острия ногтей всё с большим нажимом входили в мою кожу, — и последние проблески понимания исчезали. Была только зеленая искорка в противных глазах и пять горячих точек на голове. Ничего больше не было.

— Сурин, объясни ему! — Та же история начиналась с Суриным.

К доске он тоже вызывал нас вместе. Мы выходили, покорные судьбе, что-то писали, подымаясь на цыпочки, и что-то объясняли друг другу. Круглое лицо Сурина с добрыми глазами глядело прямо на меня с неосновательной надеждой, что я что-то пойму, а я с такой же надеждой глядел на него. Товарищи угрюмо молчали. Пашковский наслаждался, но искорки в его глазах становились всё злее. Внезапно он взвивался во весь свой рост, и тогда над нами разражалась какая-нибудь неожиданность. Чаще всего он схватывал с чьей-нибудь постели большую подушку и метким ударом сбивал нас обоих с ног. Потом он обходил весь дортуар,[1] — и гора подушек вырастала у доски над нашими злополучными телами.

— Ты дышишь? — спрашивал меня добряк Сурин.

— Дышу. А ты?

— Ничего, можно...

Окрики Пашковского долетали до нас всё глуше, и мы не прочь были бы пролежать так до конца урока. Скоро, однако, подушки одна за другой летели опять по кроватям,

---

[1] Дортуар — общая спальня для воспитанников в общежитии мужского или женского учебного заведения.

наше благополучное погребение кончалось, и мы воскресали для новых бедствий.

Однажды мучитель подошел ко мне и, схватив за шиворот, поднял сильной рукой на воздух.

— Где?.. Где тут гвоздь? — говорил он сдавленным голосом, и его выпуклые глаза бегали по стенам.

— Повешу негодяя!

Гвоздя не оказалось. Тогда он крикнул:

— Открыть окно!

Окно распахнулось. Пашковский стал напротив и принялся раскачивать меня, точно маятник, скандируя[1] в такт этим движениям:

Вот бро-шу
Гуль-та-я
В Те-те-рёв...

Это была одна из ярких минут моей жизни. Реки, которою грозил мне Пашковский, в окно не было видно, но за обрезом горы чувствовался спуск, а дальше — крутой подъем противоположного берега. Окно с этим пейзажем мелькало, качаясь, перед моим печальным взглядом, а в это время Пашковский с каким-то особенным мучительным сладострастием развивал дальнейшие перспективы: мать ожидает сынка... Сынок не идет. Посылает кучера Филиппа. Филипп приходит за паничем. Панич лежит в реке, ногами к берегу. Голова в воде, и в обеих ноздрях... по раку!.. Я слушал, качаясь в воздухе, и мне было жаль какого-то бедного мальчика... Особенный ужас вызывала реалистическая подробность о раках.

Эти сильные и довольно разнообразные ощущения стали между мной и арифметикой неодолимой преградой. Даже когда Пашковскому через некоторое время отказали (или он нашел невесту), я всё-таки остался при убеждении, что поверку деления можно понять лишь по особой милости господа, в которой мне отказано с рождения.

По остальным предметам я шел прекрасно, всё мне давалось без особенных усилий, и основной фон моих воспоминаний этого периода — радость развертывающейся жизни, шумное хорошее товарищество, нетрудная, хотя и строгая дисциплина, беготня на свежем воздухе и мячи, летающие в вышине.

---

[1] Скандировать — читать стихи, подчеркивая размер, которым они написаны.

Самое лучшее, что было в приемах этого воспитательного режима, — это чувство какой-то особенной близости, почти товарищества с воспитателями. На уроках всегда бывало так тихо, что одни голоса учителей, занимавшихся в разных комнатах, раздавались по всему пансиону. Зато те же молодые учителя принимали участие в игре в мяч и в городки на обширном пустыре или зимою в снежки. И тогда не полагалось для них никаких уступок или поблажек. Их так же крепко били мячами, и расплющить мокрую снежку о лицо мосье Гюгенета, воспитателя и учителя французского языка, считалось совершенно дозволенным удовольствием.

Гюгенет был молодой француз, живой, полнокровный, подвижной, очень веселый и необыкновенно вспыльчивый. Мы слушались его беспрекословно там, где ему приходилось приказывать, и очень любили его дежурства, которые проходили необыкновенно весело и живо. Ему наше общество тоже доставляло удовольствие, а купаться он ходил с нами даже не в очередь.

Для купанья нам приходилось пройти большие пустыри Девичьей площади (Plac panienski), которая приводила к старому девичьему монастырю (кляштор). В этом монастыре был приют для девочек. И каждый раз в те часы, когда мы веселой ватагой проходили к Тетереву и обратно, приютянки в длинных белых накрахмаленных капорах, совершенно скрывавших их лица, чинно и тихо кружились вереницами по площадке. Впереди и позади шли монахини-надзирательницы, а одна старуха, кажется, игуменья,[1] сидела на скамье, вязала чулок или перебирала четки, то и дело поглядывая на гуляющих, точно старая наседка на стаю своих цыплят.

Пройдя через эту площадку, мы весело сбегали по откосу, густо поросшему молодым грабником,[2] и затем берег Тетерева оглашался нашими криками и плеском, а река кишела барахтающимися детскими телами.

При этом мосье Гюгенет, раздетый, садился на откосе песчаного берега и зорко следил за всеми, поощряя малышей, учившихся плавать, и сдерживая излишние проказы старших. Затем он командовал всем выходить и лишь тогда

---

[1] Игуменья — монахиня, стоящая во главе женского монастыря.

[2] Грабник — грабы, или иначе белые буки, — лиственные деревья, распространенные на юге и юго-западе нашей страны.

кидался сам в воду. При этом он делал с берега изумительные сальтомортале,[1] фыркал, плескался и уплывал далеко вдоль реки.

Однажды, сидя еще на берегу, он стал дразнить моего старшего брата и младшего Рыхлинского, выходивших последними из воды. Скамеек на берегу не было, и, чтобы надеть сапоги, приходилось скакать на одной ноге, обмыв другую в реке. Мосье Гюгенет в этот день расшалился, и, едва они выходили из воды, он кидал в них песком. Мальчикам приходилось опять лезть в воду и обмываться. Он повторил это много раз, хохоча и дурачась, пока они не догадались разойтись далеко в стороны, захватив сапоги и белье.

Когда это кончилось, мосье Гюгенет сам беспечно бросился в воду и принялся нырять и плавать, как утка. Затем, порядочно задышавшийся и усталый, он вышел на берег и только было стал залезать в рубаху, как оба мальчика обсыпали его, в свою очередь, песком.

Гюгенет захохотал и полез опять в воду, но едва подошел к одежде, как повторилось то же.

Он сделал la bonne mine,[2] но лицо его покраснело. Он остановился и сказал коротко:

— Assez!..[3]

После этого он стал вновь натягивать рубашку, но один из шалунов не удержался и опять сыпнул песком.

Француз внезапно рассвирепел. Крахмальная рубашка полетела на песок; лицо Гюгенета стало багровым, глаза — совершенно дикими. Оба шалуна поняли, что зашли слишком далеко, и испуганно бросились по горной тропинке наверх; Гюгенет, голый, пустился вдогонку, и вскоре все трое исчезли из пределов нашего зрения.

То, что произошло затем, наверное, долго обсуждалось в угрюмых стенах монастыря как случай бесовского наваждения. Прежде всего над обрезом горы мелькнули фигуры двух испуганных школьников и, пробившись через ряды гуляющих приютянок, помчались вдоль по широкой дороге между монастырскими огородами. Едва стихло замешательство, произведенное этим бегством, как на гору взлетел за-

---

[1] Сальтомортале (итальянск.) — акробатический прыжок с высокой площадки, когда тело перевертывается в воздухе.

[2] La bonne mine (франц.) — хорошее выражение лица. Подразумевается французская поговорка: «делать хорошую мину при плохой игре».

[3] Assez! (франц.) — довольно!

пыхавшийся и совершенно голый Гюгенет. Впереди были еще видны фигуры убегавших, и бешеный француз, в свою очередь, ринулся через площадку. Испуганные монахини, крестясь и читая молитвы, быстро согнали в кучу свою паству и погнали ее, как стаю цыплят, в стены монастыря, а Гюгенет мчался далее.

Мальчики скрылись в большом монастырском огороде, между густыми порослями гороха и фасоли. Гюгенет подбежал к городьбе и только тут убедился, что дальнейшее преследование бесполезно. Вместе с тем, как Адам после грехопадения, он сознал, что наг, и устыдился. Как раз на середине широкой полосы между огородами, по которой шла дорога к огороду, стояла живописная кучка деревьев, густо обросшая у пней молодой порослью. Бедный француз забился туда и, выставив голову, стал ожидать, что его питомцы догадаются принести ему платье.

Но мы не догадались. Внезапное исчезновение голого воспитателя нас озадачило. Мы не думали, что он убежит так далеко, и, поджидая его, стали кидать камнями по реке и бегать по берегу.

На монастырской площадке тоже всё успокоилось, и жизнь стала входить в обычную колею. На широкое крыльцо кляштора выглянули старые монахини и, видя, что все следы наваждения исчезли, решили докончить прогулку. Через несколько минут опять степенно закружились вереницы приютянок в белых капорах, сопровождаемые степенными сестрами-бригитками.[1] Старуха с четками водворилась на своей скамье.

Между тем солнце склонялось. Бедный француз, соскучившись напрасным ожиданием в своих зарослях и видя, что никто не идет ему на выручку, решился вдруг на отчаянное предприятие и, выскочив из своего убежища, опять ринулся напролом к реке. Мы подымались как раз на гору на разведки, когда среди истерических женских воплей и общего смятения француз промелькнул мимо нас, как буря, и, не разбирая тропинок, помчался через рощу вниз.

Когда мы вернулись в пансион, оба провинившиеся были уже тут и с тревогой спрашивали, где Гюгенет и в каком мы его оставили настроении. Француз вернулся к вечернему чаю; глаза у него были веселые, но лицо серьезно. Вечером

[1] Сестры-бригитки — монахини, члены женского духовного ордена «святой Бригитты». Этот орден был основан в средние века и, как все организации католической церкви, являлся опорой реакции.

мы по обыкновению сидели в ряд за длинными столами и, закрыв уши, громко заучивали уроки. Шум при этом стоял невообразимый, а мосье Гюгенет, строгий и деловитый, ходил между столами и наблюдал, чтобы не было шалостей.

Только уже совсем вечером, когда все улеглись и в лампе притушили огонь, с «дежурной кровати», где спал Гюгенет, внезапно раздался хохот. Он сидел на кровати и хохотал, держась за живот и чуть не катаясь по постели.

Под конец моего пребывания в пансионе добродушный француз как-то исчез с нашего горизонта. Говорили, что он уезжал куда-то держать экзамен. Я был в третьем классе гимназии, когда однажды, в начале учебного года, в узком коридоре я наткнулся вдруг на фигуру, изумительно похожую на Гюгенета, только уже в синем учительском мундире. Я шел с другим мальчиком, поступившим в гимназию тоже от Рыхлинского, и оба мы радостно кинулись к старому знакомому.

— Мосье Гюгенет!.. Мосье Гюгенет!..

Фигура остановилась и смерила нас официальным взглядом. Оба мы сконфузились и оробели.

— Hein?.. Что такой-е? Что надо?—спросил он, и, опять окатив нас холодным взглядом, новый учитель проследовал дальше по коридору, не оборачиваясь и размахивая классным журналом.

— Не он? — спросил мой товарищ. Оказалось, однако, что фамилия нового учителя была всё-таки Гюгенет, но это была уже гимназия, казенное учреждение, в котором веселый Гюгенет тоже стал казенным.

В другой раз мы встретились на улице. Мое сердце сильно забилось. Я подумал, что Гюгенет строг и чопорен только в гимназии, а здесь, на улице, он заговорит опять попрежнему со смехом и прибаутками, как веселый старший товарищ. Поровнявшись с ним, я снял свою форменную фуражку и взглянул на него с ожиданием и надеждой. Я был уверен, что он узнал меня. Но его взгляд скользнул по моему лицу; он сощурился и отвернулся, холодно кивнув на поклон. Сердце мое сжалось так сильно, как будто я потерял дорогого и близкого человека.

Один год пребывания в пансионе Рыхлинского очень изменил и развил меня. Мне уже странно было вспоминать себя во время первого самостоятельного путешествия. Теперь я отлично изучил весь пустырь, все бурьяны, ближайшие улицы и переулки, дорогу к реке...

В один вечер мать захлопоталась и забыла прислать за мною. Остаться ночевать в пансионе мне не хотелось. Было страшно уходить одному, но вместе что-то манило. Я решился и, связав книги, пошел из дортуара, где ученики уже ложились.

— За тобой пришли? — спросил меня воспитатель.

— Пришли, — ответил я и торопливо, точно от искушения, выбежал на крыльцо, а оттуда — на двор.

Дело было осенью, выпал снег и почти весь днем растаял; оставались только пятна, кое-где неясно белевшие в темноте. По небу ползли тучи, и на дворе не было видно ни зги.

Я вышел за ворота и с бьющимся сердцем пустился в темный пустырь, точно в море. Отходя, я оглядывался на освещенные окна пансиона, которые всё удалялись и становились меньше. Мне казалось, что пока они видны ясно, я еще в безопасности. Но вот я дошел до середины, где пролегала глубокая борозда — не то канава, указывавшая старую городскую границу, не то овраг.

Я чувствовал, что здесь я буду одинаково далек от пансиона и от дома, огоньки которого уже мелькали где-то впереди в сырой темноте.

И вдруг сзади меня, немного справа, раздался резкий, пронзительный свист, от которого я инстинктивно присел к земле. Впереди и влево раздался ответный свист, и я сразу сообразил, что это два человека идут навстречу друг другу, приблизительно к тому месту, где должен был проходить и я. В темноте уже как будто мелькала неясная фигура и слышались тяжелые шаги. Я быстро наклонился к земле и заполз в овражек.

Между тем раздался третий свисток, и вскоре три человека сошлись на пустыре, в нескольких саженях от того места, где я притаился. Сердце у меня стучало, и я боялся, как бы незнакомцы не открыли по этому стуку моего присутствия. Они были так близко, что, глядя из своего овражка, я видел их неясные силуэты на мглистом небе. Они разговаривали о чем-то подозрительно тихо. Затем они двинулись в глубь пустыря, а я, почти не переводя дыхания, побежал к своему дому. И опять моя детская душонка была переполнена радостным сознанием, что это уже «почти наверное» были настоящие воры и что я, значит, пережил, и притом довольно храбро, настоящую опасность.

Пожалуй, это была правда: почти не проходило ночи, чтобы в наших пустынных местах не случалось грабежей или краж. Наши ставни всегда накрепко запирались с вечера. По ночам, особенно когда отец уезжал по службе, у нас бывали тревоги. Все подымались на ноги, женщины вооружались кочергами и рогачами и становились у окон. И когда водворялась тишина, то ясно слышно было, как кто-то снаружи осторожно пробует, не забыли ли вставить задвижки в засовах и нельзя ли где-нибудь открыть ставню. Женщины принимались стучать в рамы и кричать. В голосах их слышался смертельный испуг.

ПЕРВЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Первая театральная пьеса, которую я увидел в своей жизни, была польская и при том насквозь проникнутая национально-историческим романтизмом.

Читатель уже заметил из предыдущих очерков, что нашу семью нельзя было назвать чисто русской. Жили мы на Волыни, то есть в той части правобережной Малороссии, которая дольше, чем другие, оставалась во владении Польши. К ней всего ближе была железная рука кн. Еремы Вишневецкого[1]... Вишневец, Полонное, Корец, Острог, Дубно, вообще волынские городки и даже иные местечки усеяны и теперь развалинами польских магнатских замков или монастырей... Стены их обрушились, на проломах густо поросли плющи, продолжающие разъедать старые камни... В селах помещики, в городах — среднее сословие были поляки или, во всяком случае, люди, говорившие по-польски. В деревнях звучал своеобразный малорусский говор, подвергавшийся влиянию и русского, и польского. Чиновники (меньшинство) и военные говорили по-русски...

Наряду с этим были также и три веры (не считая евреев): католическая, православная и между ними — униатская, наиболее бедная и утесненная. Поляки в свое время считали ее верой низшей; резали униатов набегавшие из Украйны казаки и гайдамаки, потом их стали теснить и преследовать русские... Таким образом, религия, явившаяся результатом малодушного компромисса, пустив корни в сердцах нескольких поколений, стала гонимой и потребо-

[1] Вишневецкий Иеремия (1612—1651) — литовский магнат. Враг Богдана Хмельницкого, боровшегося за освобождение украинского народа от власти польских феодалов и дворян.

вала от своих последователей преданности и самоотвержения. Я вспоминаю одного из этих униатских священников, высокого старика с огромной седой бородой, с дрожащею головой и большим священническим жезлом в руках. Он очень низко кланялся отцу, прикасаясь рукой к полу, и жаловался на что-то, причем длинная седая борода тряслась, а по старческому лицу бежали крупные слезы. Он говорил что-то, мне непонятное, о боге, которого не хочет продать, и о вере предков. Мой отец с видимым уважением подымал старика, когда он пытался земно поклониться, и обещал сделать всё, что возможно. По уходе старика отец долго задумчиво ходил по комнатам, а затем, остановившись, произнес сентенцию: [1]

— Есть одна правая вера... Но никто не может знать, которая именно... Надо держаться веры отцов, хотя бы пришлось терпеть за это...

А что по этому поводу говорили «царь и закон», — он на этот раз не прибавил, да, вероятно, и не считал это относящимся к данному вопросу.

Мать моя была католичка. В первые годы моего детства в нашей семье польский язык господствовал, но наряду с ним я слышал еще два: русский и малорусский. Первую молитву я знал по-польски и по-славянски, с сильными искажениями на малорусский лад. Чистый русский язык я слышал от сестер отца, но они приезжали к нам редко.

Мне было, вероятно, лет семь, когда однажды родители взяли ложу в театре, и мать велела одеть меня получше. Я не знал, в чем дело, и видел только, что старший брат очень сердит за то, что берут не его, а меня.

— Да он заснет там!.. Что он понимает? Дурак! — говорил он матери.

— Пожалуй, это правда, — подтвердил кто-то из старших, но я обещал, что не засну, и был очень счастлив, когда, наконец, все уселись в коляску, и она тронулась.

И я, действительно, не заснул. В городе был каменный театр, и на этот раз его снимала польская труппа. Давали историческую пьесу неизвестного мне автора, озаглавленную «Урсула или Сигизмунд III»...

Когда мы вошли в ложу, уже началось первое действие, и я сразу жадно впился глазами в сцену...

Содержание пьесы я понял плохо. Речь шла о каких-то

---

[1] Сентенция (лат.) — изречение нравоучительного характера.

придворных интригах во время Сигизмунда третьего[1], в центре которых стояла куртизанка Урсула. Помню, что она была не особенно красива, под ее глазами я ясно различал нарисованные синие круги, лицо было неприятно присыпано пудрой, шея у нее была сухая и жилистая. Но всё это не представлялось мне нисколько несообразным! Урсула была скверная женщина, от которой страдали хорошенькая молодая девушка и прекрасный молодой человек. То обстоятельство, что она была противна лицом, только усиливало мое нерасположение к низкой интриганке...

Вся обстановка, полная блеска, бряцания шпор, лязганья сабель, дуэлей, криков виват, бурных столкновений, опасностей, произвела на меня сильное впечатление. Хороша ли, или плоха была эта пьеса, — я теперь судить не могу. Знаю только, что вся она была проникнута особым колоритом, и на меня сразу пахнуло историей, чем-то романтическим, когда-то живым, блестящим, но отошедшим уже туда, куда на моих глазах ушел и последний «старополяк», пан коморник Коляновский. Один старый шляхтич на сцене — высокий, с белыми, как снег, усами, — напоминал Коляновского до такой степени, что казался мне почти близким и знакомым. И роль у него была подходящая: он говорил об ушедших в вечность временах старинной доблести... В его голосе звучала глубокая печаль, и я проникся к нему живейшей симпатией.

Особенно ярко запомнились мне два-три отдельных эпизода. Высокий, мрачный злодей, орудие Урсулы, чуть не убивает прекрасного молодого человека, но старик, похожий на Коляновского (или другой, точно не помню), ударом кулака вышибает из рук его саблю... Сабля, сверкая и звеня, падает на пол. Я тяжело перевожу дыхание, а мать наклоняется ко мне и говорит:

— Не бойся... Это не в самом деле... Это они только представляют.

В другом действии два брата Зборовские, предводители казаков, воевавшие во славу короля и Польши в татарских степях, оскорбленные каким-то недостойным действием бесхарактерного Сигизмунда, произносят перед его троном пылкие речи, а в заключение каждый из них снимает кривую саблю, прощается с нею и гордо кидает ее к ногам ко-

---

[1] Сигизмунд третий — (1566—1632) — польский король. При нем произошел бунт шляхты против королевской власти.

роля... И опять гремит железо, среди придворной толпы движение ужаса и негодования, а в центре—гордые фигуры суровых казацких вождей. И мое детское сердце горит непонятным еще, но заразительным чувством рыцарской доблести и бесстрашия...

Кончается пьеса смертью короля. У его роскошной постели собираются послы от войска, чтобы добиться назначения коронного гетмана... Загорелые, суровые, они пробиваются к королю и во имя отчизны требуют решения. Грудь умирающего вздымается и, судорожно задыхаясь, он произносит:

— Дать им... Конецпольского... [1]

Придворные говорят: «король умер», а зал оглашается бурными криками: «виват Конецпольский!..»

Не знаю, имел ли автор в виду каламбур, которым звучало последнее восклицание, но только оно накинуло на всю пьесу дымку какой-то особой печали, сквозь которую я вижу ее и теперь... Прошлое родины моей матери, когда-то блестящее, шумное, обаятельное, уходит навсегда, гремя и сверкая последними отблесками славы.

Эта драма ударила в мою голову, как крепкое вино, опьянением романтизма. Я рассказал о ней братьям и сестре и заразил их своим увлечением. Мы сделали себе деревянные сабли, а из простынь состряпали фантастические мантии. Старший брат, в виде короля, восседал на высоком стуле, задрапированный пестрым одеялом, или лежал на одре смерти; сестренку, которая во всем этом решительно ничего не понимала, мы сажали у его ног, в виде злодейки Урсулы, — а сами, потрясая деревянными саблями, кидали их с презрением на пол или кричали дикими голосами:

— Виват Конецпольский!..

Если бы в это время кто-нибудь вскрыл мою детскую душу, чтобы определить по ней признаки национальности, то, вероятно, он решил бы, что я — зародыш польского шляхтича восемнадцатого века, гражданин романтической старой Польши, с ее беззаветным своеволием, храбростью, приключениями, блеском, звоном чаш и сабель.

И, пожалуй, он был бы прав...

Вскоре после этого пьесы, требовавшие польских костюмов, были воспрещены, а еще через некоторое время поль-

---

[1] Конецпольский Станислав (1596—1646) — знаменитый польский полководец, в конце жизни — гетман Польши.

ский театр вообще надолго смолк в нашем крае. Но романтическое чувство прошлого уже загнездилось в моей душе, нарядившись в костюмы старой Польши.

ВРЕМЯ ПОЛЬСКОГО ВОССТАНИЯ

Вспыхнуло оно, как известно, в начале 1863 года. Но глухое волнение и демонстрации происходили уже ранее.

Приблизительно в 1860 году отец однажды вернулся со службы серьезный и озабоченный. Переговорив о чем-то с матерью, он затем собрал нас и сказал:

— Слушайте, дети. Вы — русские и с этого дня должны говорить по-русски.

После этого впервые в нашей «ополяченной» семье зазвучала обиходная русская речь. Мы приняли эту реформу довольно беззаботно, пожалуй, даже с удовольствием,—это вводило к нам нечто новое, — но причины, вызвавшие ее, оставались нам чужды. Доносились уже слухи о каких-то событиях в Варшаве, потом в Вильне (где уже в 1861 году происходили довольно серьезные демонстрации). Но всё это было где-то далеко, в неведомом, почти отвлеченном мире, и нас не интересовало. В нашем мирке царило еще безмятежное спокойствие...

Господствующим языком в пансионе Рыхлинского был польский, но ни малейшей национальной розни между нами собственно в пансионе не было. Рыхлинскому удалось долго поддерживать тон взаимной терпимости. Было у нас несколько чистых великороссов, в том числе два брата Сухановы, из которых старший шел всегда первым... Однажды с ним или с другим русским воспитанником вышел следующий эпизод: какой-то юный поляк, узнав, что русский товарищ вчера причащался, стал смеяться над православным обрядом. Для этого он сделал из бумаги подобие чаши и кривлялся над нею, а под конец плюнул в нее. Русский некоторое время сдерживался, но затем размахнулся и ударил обидчика по щеке так звонко, что звук разнесся по всей зале, и его услышал Рыхлинский. Узнав, в чем дело, он призвал обоих и при всех учениках спросил у поляка:

— Что бы ты сделал, если бы он стал так же смеяться над «гостией» (католическое причастие)?

Поляк замялся, но затем сказал, потупясь:

— Я бы его ударил.

— Ну, вот и он тебя ударил. Поди вдобавок стань на колени.

Мальчик встал, весь красный, на колени в углу и стоял очень долго. Мы догадались, чего ждет от нас старик Рыхлинский. Посоветовавшись, мы выбрали депутацию, во главе которой стал Суханов, и пошли просить прощения наказанному. Рыхлинский принял депутацию с серьезным видом и вышел на своих костылях в зал. Усевшись на своем обычном месте, он приказал наказанному встать и предложил обоим противникам протянуть друг другу руки.

— Ну, теперь кончено, — сказал он, — и забыто. А если, — прибавил он, вдруг свирепо вытаращив глаза и протягивая вперед свои жилистые руки с короткими, растопыренными пальцами, — если я еще услышу, что кто-нибудь позволит себе смеяться над чужой верой... к-кос-сти переломаю... все кости...

И мы опять жили дружно, не придавая никакого значения разнице национальностей...

Между тем далекие события разгорались, и к нам, точно порывами ветра, стало заносить их знойное дыхание. Чаще и чаще приходилось слышать о происшествиях в Варшаве и Вильне, о каких-то «жертвах», но старшие всё еще старались «не говорить об этом при детях»...

Однажды отец с матерью долго ночью засиделись у Рыхлинских. Наконец, сквозь дремоту я услышал грохот нашей брички во дворе, а через некоторое время совсем проснулся от необычайного ощущения: отец и мать, оба одетые, стояли в спальне и о чем-то горячо спорили, забыв, очевидно, и о позднем часе, и о спящих детях. Разговор шел приблизительно такой:

— Всё-таки... — говорила мать, — ты должен согласиться: ведь было прежде, даже еще при Николае... Еще живы люди, которые помнят...

— Ну, так что же, — возражал отец, — было, да нет. При Александре было, Николай отнял... Не нужно было бунтоваться...

— Но... Согласись сам.... разве это справедливо?

— Толкуй больной с подлекарем! Что справедливо, что несправедливо... Тебя не спросили. Вы присягали и баста!

— Нет, постой...

— Нет, ты постой.

— Да дай мне сказать....

Я никогда не слышал между ними таких горячих споров, да еще в такой час, и, удивленный, я сел в своей постели. Заметив неожиданного слушателя, они оба обратились ко мне.

— Ну, вот. Пусть ребенок скажет, — говорила мать.

— Хорошо, пусть скажет. Вот послушай, малый: вот ты, положим, обещал маме всегда ее слушаться... Должен исполнить обещание?..

— Должен, — ответил я довольно уверенно.

— Постой, — перебила мать, — теперь послушай меня. Вот около тебя новое платье (около меня действительно лежало новое платье, которое я с вечера бережно разложил на стуле). Если придет кто-нибудь чужой со двора и захватит... Ты захочешь отнять?..

— Отниму, — ответил я еще увереннее.

— Толкуй больной с подлекарем! — сказал отец с раздражением, чувствуя, что судья склоняется к противной стороне, — так он тебе и отдал! Если он сильнее....

— Ну, вот, вот... — горячо подхватила мать... — Сильнее, так и отнимать. Вот ты слышишь! Слышишь?

— А, пустяки! — рассердился отец, видя, что его шансы становятся еще слабее. — Ну, а если ты сам отдал?.. И обещал никогда не требовать назад? А потом кричишь: отдавай?..

— Отдал, отдал! — перебила мать с горечью... — Ну, скажи: разве ты сам отдашь?.. А вот, если приставят нож к горлу...

В это время заплакала во сне сестренка. Они спохватились и прекратили спор, недовольные друг другом. Отец, опираясь на палку, красный и возбужденный, пошел на свою половину, а мать взяла сестру на колени и стала успокаивать. По лицу ее текли слезы...

Я долго не спал, удивленный этой небывалой сценой... Я сознавал, что ссора не имела личного характера. Они спорили, и мать плакала не от личной обиды, а о том, что было прежде и чего теперь нет: о своей отчизне, где были короли в коронах, гетманы, красивая одежда, какая-то непонятная, но обаятельная «воля», о которой говорили Зборовские, школы, в которых учился Фома из Сандомира... Теперь ничего этого нет. Отняли родичи отца... Они сильнее... Мать плачет, потому что это несправедливо... их обидели...

Наутро первая моя мысль была о чем-то важном. О новой одежде?.. Она лежала на своем месте, как вчера. Но

многое другое было не на своем месте. В душе, как заноза, лежали зародыши новых вопросов и настроений.

«Щось буде» принимало новые формы... Атмосфера продолжала накаляться. Знакомые дамы и барышни появлялись теперь в черных траурных одеждах. Полиция стала за это преследовать, демонстранток в черных платьях и особенно с эмблемами[1] (сердце, якорь и крест) хватали в участки, составляли протоколы. С другой стороны—светлые платья обливались кислотой, их в костелах резали ножиками... Ксендзы говорили страстные проповеди..

В сентябре 1861 года город был поражен неожиданным событием. Утром на главной городской площади у костела бернардинов, в пространстве, огражденном небольшим палисадником, публика, собравшаяся на базар, с удивлением увидела огромный черный крест с траурно-белой каймой по углам, с гирляндой живых цветов и надписью: «в память поляков, замученных в Варшаве». Крест был высотою около пяти аршин и стоял у самой полицейской будки.

Известие с быстротою молнии облетело весь город. К месту появления креста стал стекаться народ. Начальство не нашло ничего лучше, как вырыть крест и отвезти его в полицию.

По городу грянула весть, что крест посадили в кутузку. У полиции весь день собирались толпы народа. В костеле женщины составили совет, не допустили туда полицмейстера,[2] и после полудня женская толпа, все в глубоком трауре, двинулась к губернатору. Небольшой одноэтажный губернаторский дом на Киевской улице оказался в осаде. Отец, проезжая мимо, видел эту толпу и седого старого полицмейстера, стоявшего на ступенях крыльца и уговаривавшего дам разойтись.

Были вызваны войска. К вечеру толпа всё еще не расходилась, и в сумерках ее разогнали... В городе это произвело впечатление взрыва. Рассказывали, как грубо преследуемые женщины кидались во дворы и подъезды, спасались в магазинах. А «арест креста при полиции» вызывал смущение даже в православном населении, привыкшем к общим с католиками святыням...

---

[1] Эмблема — условное изображение какого-либо понятия или идеи.

[2] Полицмейстер — начальник полиции в больших городах царской России.

С этих пор патриотическое возбуждение и демонстрации разлились широким потоком. В городе, с барабанным боем, было объявлено военное положение. В один день наш переулок был занят отрядом солдат. Ходили из дома в дом и отбирали оружие. Не обошли и нашу квартиру: у отца над кроватью, на ковре, висели старый турецкий пистолет и кривая сабля. Их тоже отобрали... Это был первый обыск, при котором я присутствовал. Процедура показалась мне тяжелой и страшной.

Всё это усиливало общее возбуждение и, конечно, отражалось даже на детских душах... А так как я тогда не был ни русским, ни поляком или, вернее, был и тем, и другим, то отражения этих волнений неслись над моей душой, как тени бесформенных облаков, гонимых бурным ветром.

Однажды мать взяла меня с собою в костел. Мы бывали в церкви с отцом и иногда в костеле с матерью. На этот раз я стоял с нею в боковом приделе, около «сакристии» [1]. Было очень тихо, все будто чего-то ждали... Священник, молодой, бледный, с горящими глазами, громко и возбужденно произносил латинские возгласы... Потом жуткая, глубокая тишина охватила готические своды костела бернардинов и среди молчания раздались звуки патриотического гимна: «Boze, cos Polske przez tak dlugie wieki...» [2]

Тихо, разрозненно, в разных местах набитого народом храма зародилось сначала несколько отдельных голосов, сливавшихся постепенно, как ручьи... Ближе, крепче, громче, стройнее, и наконец под сводами костела загремел и покатился волнами согласный тысячеголосый хор, а где-то в вышине над ним гудел глубокий рев органа... Мать стояла на коленях и плакала, закрыв лицо платком.

На меня этот вопль, соединивший всю толпу в одном порыве, широком, как море, произвел прямо потрясающее впечатление. Мне казалось, что меня подхватило что-то и несет в вышине, баюкая и навевая странные видения...

— Казаки, — сказал кто-то поблизости. Слово ясным шопотом понеслось дальше, толкнулось во что-то и утонуло в море звуков. Но оно дало определенное содержание неясным грезам, овладевшим моим разгоревшимся воображением.

---

[1] Сакристия (лат.) — название особого помещения в католических храмах, где хранятся принадлежности религиозного культа.

[2] Boze, cos Polske przez tak dlugie wieki... — Боже, что ж Польше долгие века...

...Казаки! Они врываются в костел. У алтаря на возвышении стоит священник, у его ног женщины, и среди них моя мать. Казаки выстраиваются в ряд и целятся... Но в это время маленький мальчик вскакивает на ступеньки и, расстегивая на груди свой казакин, говорит громким голосом:

— Стреляйте в меня... Я — православный, но я не хочу, чтобы оскорбляли веру моей матери...

Казаки стреляют... Дым, огонь, грохот... Я падаю... Я убит, но... как-то так счастливо, что потом все жмут мне руку, поляки и польки говорят: «Это сын судьи, и его мать полька. Благородный молодой человек»...

— Этот мальчик прав... — говорят также и русские господа: — нельзя стрелять в костелах и оскорблять чужую веру...

Очевидно, раннее чтение, польский спектакль, события, проносившиеся одно за другим в раскаленной атмосфере патриотического возбуждения, — всё это сделало из меня маленького романтика. И очень вероятно, что если бы всё разыгралось так, как в театре, то есть казаки выстроились бы предварительно в ряд против священника, величаво стоящего с чашей в руках и с группой женщин у ног, и стали бы дожидаться, что я сделаю, то я мог бы выполнить свою программу. Но жизнь груба и нестройна, и еще более вероятно, что в прозаически беспорядочной свалке я бы струсил, как самый трусливый из городских мальчишек...

Узнав о «демонстрации», отец был очень недоволен. Через несколько дней он сказал матери:

— Полицмейстер мне говорил, что тебя тоже уже записали...

— Что же мне делать? — сказала мать. — Я не пела сама и не знала, что будет это пение...

— А если бы знала? — спросил отец.

— То... не взяла бы ребенка,— ответила она.— Не могу же я не ходить в костел...

Впоследствии она всё время и держалась таким образом: она не примкнула к суетне экзальтированных[1] патриоток и «девоток»,[2] но в костел ходила, как прежде, не считаясь с тем, попадет ли она на замечания или нет. Отец нервничал и тревожился и за нее, и за свое положение, но

---

[1] Экзальтированных (лат.) — восторженных, находящихся в возбужденном состоянии.

[2] «Девотки» (польск.) — ханжи, святоши.

как истинно религиозный человек признавал право чужой веры...

Через город проходили войска. Однажды разнесся слух, что к нам идут башкиры... Дикие, ни слова не понимают ни по-польски, ни по-русски, только лопочут по-своему и бьют... Это вызывало почти суеверный ужас. Через несколько дней, действительно, по улицам прошел отряд странных всадников на маленьких лошадках, в остроконечных шапках с бараньей мохнатой оторочкой. Скуластые лица, маленькие глазки, какая-то особенная дикая посадка. Увидев кучку любопытных, в том числе женщин, один внезапно спятил лошадь и взмахнул нагайкой. Послышался истерический визг, но башкир проехал, скаля на смуглом лице белые зубы, а мимо ехали другие, взбивая пыль конскими копытами, и тоже смеялись. Мне было странно, что они смеются, как и обыкновенные люди, и я с ужасом представлял себе атаку этих смуглых дикарей.

Они прошли и исчезли за западной заставой, по направлению к Польше, где, как говорили, «уже лилась кровь», а в город вступали другие отряды...

В нашей конюшне тоже стояли три или четыре казацкие лошади. Сами казаки устраивались тут же, около лошадей, а на кухне и в сарае расположились пехотинцы... Этих постояльцев встречали не очень приветливо; домохозяева и квартиранты долго спорили с «квартирьерами», не желали отводить помещения, ходили куда-то жаловаться. Но мы, дети, вскоре с ними освоились. Казаки иной раз сажали нас на лошадей и брали с собой на речку к водопою. Солдаты снисходительно позволяли чистить суконкой и мелом пуговицы своих мундиров, а жидкие щи, которые они приносили в котелках из ротной кухни, казались нам необыкновенно вкусными.

Особенно ярко вспоминается мне одна солдатская фигура. Это был уже старик, с морщинистым лицом, щетинистыми седыми усами и сережкой в левом ухе. Вид у него был неприветливый и суровый. Устроившись в сарае, где он развесил на гвоздях «амуницию», а ружье заботливо уставил в угол, он оперся плечом в косяк двери и долго, молча, с серьезным вниманием смотрел, как мы с мальчишками соседей проделывали на дворе «учение» с деревянными ружьями. Через некоторое время он не выдержал роли стороннего зрителя, подошел к нашему фронту, взял «ружье» и стал показывать настоящие приемы, поражая

нас отчетливостью и упругостью своих движений. Казалось, при каждом таком движении внутри солдата лязгали и стучали какие-то пружины.

— Вот научу вас, ляшков, а вы пойдете бунтовать да меня же и убьете, — сказал он в заключение, полушутя, полусердито.

Через некоторое время у нас установились с ним отличные отношения. Много часов мы провели вместе, в летние сумерки, на солдатской койке Афанасия, пропахшей пóтом, кожаной амуницией и кислыми солдатскими щами, — пока его рота не ушла куда-то в уезд преследовать повстанские отряды. Для нас расставание с ним было большой неприятностью, да и старому солдату, видимо, было не по себе. Долгая «николаевская» служба уже взяла всю его жизнь, порвала все семейные связи, и старое солдатское сердце пробавлялось хоть временными привязанностями на стоянках...

Из казаков особенно выделяется в памяти кудрявый брюнет, урядник.[1] Лицо его было изрыто оспой, но это не мешало ему слыть настоящим красавцем. Для нас было истинным наслаждением смотреть, как он, почти волшебством, без приготовлений, взлетал на лошадь...

Однажды черноволосый красавец что-то набуянил, и его пришли арестовать. Он, совершенно пьяный, вырвался из рук товарищей, вскочил на свою нерасседланную лошадь и умчался со двора. Его качало в седле так, что, казалось, он вот-вот свалится на мостовую и расшибется вдребезги. Но, выбежав за ворота, мы увидели его уже далеко в перспективе улицы. Он летел, как птица, к Киевской заставе, а сзади, отставая, скакала погоня. Наутро, как ни в чем не бывало, он заботливо чистил своего скакуна, пересмеиваясь с недогнавшими его товарищами.

Банды появились уже и в нашем крае. Над жизнью города нависала зловещая тень. То и дело было слышно, что тот или другой из знакомых молодых людей исчезал. Ушел до «лясу».[2] Остававшихся паненки иронически спрашивали: «Вы еще здесь?» Ушло до лясу несколько юношей и из пансиона Рыхлинского...

Однажды за обедом мать сказала отцу:

— Стасик приезжал. Зовут сегодня вечером.

---

[1] Урядник — самый младший по чину командир в казачьих войсках царской армии и в полиции.

[2] Ляс (польск.) — лес.

Отец посмотрел на нее с удивлением и потом спросил:

— Все трое?

— Да, все трое, — ответила мать с тихой печалью.

— С ума вы все посходили! — сказал отец, сердито откладывая ложку. — Все посходили с ума, — и старые туда же!..

Оказалось, что это три сына Рыхлинских, студенты Киевского университета, приезжали прощаться и просить благословения перед отправлением в банду. Один был на последнем курсе медицинского факультета, другой, кажется, на третьем. Самый младший, Стасик, лет восемнадцати, только в прошлом году окончил гимназию. Это был общий любимец, румяный, веселый мальчик с блестящими черными глазами.

После вечера, проведенного среди родных и близких знакомых, все три стали на колени, старики благословили их, и ночью они уехали...

— Я бы этого Стасика высек и запер на ключ, — сердито говорил отец на другой день.

— Даже дети идут биться за отчизну, — сказала мать задумчиво, и на глазах у нее были слезы. — Что-то будет?

— Что будет? — переловят всех, как цыплят, — ответил отец с горечью. — Все вы посходили с ума...

Первое время настроение польского общества было приподнятое и бодрое. Говорили о победах, о каком-то Ружицком, который становится во главе волынских отрядов, о том, что Наполеон пришлет помощь. В пансионе ученики поляки делились этими новостями, которые приносила Марыня, единственная дочь Рыхлинских. Ее большие, как у Стасика, глаза сверкали радостным одушевлением. Я тоже верил во все эти успехи поляков, но чувство, которое они во мне вызывали, было очень сложно.

Однажды ночью мне приснился яркий и тяжелый сон. Дело как будто началось с игры «в поляков и русских», которая в то время заменяла для нас все другие. Разделялись обыкновенно не по национальностям, а по жребию, так что русские попадали на польскую сторону и поляки на русскую. Не помню теперь, на чьей стороне я был на этот раз, во сне, помню только, что игра вскоре перешла в действительную войну. Было широкое поле, по которому вилась речка, поросшая камышами. Где-то горело, где-то проносились в пыли и дыму всадники в остроконечных шапках, где-то трещали выстрелы, и ветер уносил белые дымки, как

на солдатском стрельбище. Я от кого-то убегал и скрывался под обрывом речного берега...

И вдруг оказалось, что скрываюсь собственно не я, а взвод русских солдат. Испуганные и жалкие, они притаились под обрывом, за камышами по колени в воде. Впереди всех, ближе ко мне, стоял старик Афанасий в своей круглой шапочке без козырька, с серьгой в левом ухе. Он смотрел на меня серьезным, немного суровым и укоризненным взглядом, и сердце у меня сжалось тоской и страхом. Там, в широком поле, носились в дыму торжествующие поляки... Вдруг над обрывом появился верхом Стасик Рыхлинский... Он сверкал веселыми черными глазами и улыбался своей детски-задорной улыбкой. Я замер от ожидания, и мне казалось, что на свете нет ничего страшнее этого милого юноши, который сейчас откроет притаившегося в камышах Афанасия и солдат... Между тем эти люди были мне теперь близки и дороги, и мне было их жаль, как родных. «Это оттого, — подумал я, проснувшись весь в поту и с сильно стучавшим сердцем, — что они русские и я русский». Но я ошибался. Это было только оттого, что они люди... И вскоре мои сожаления переместились.

Недели через две или три прошли слухи о стычках под Киевом. Это были жалкие попытки, быстро рассеянные казаками и крестьянами. В семье Рыхлинских водворилась тяжелая тревога. Однажды мы сидели за уроком в комнате Марыни, которая занималась с малышами французским языком, когда ее позвали в кабинет отца. Вернулась она оттуда вся красная, с заплаканными глазами и попыталась продолжать урок. Но вдруг вскочила, кинулась на свою постель и разрыдалась... Я бросился за водой, но она отстранила рукой стакан и говорила сквозь рыдания:

— Уйдите, уйдите все... Ничего не надо.

Вскоре в пансионе стало известно, что все три брата участвовали в стычке и взяты в плен. Старший ранен казацкой пикой в шею...

Старик Рыхлинский попрежнему выходил к завтраку и обеду, попрежнему спрашивал: «Qui a la régle»,[1] попрежнему чинил суд и расправу. Его жена так же степенно вела обширное хозяйство. Марыня занималась с нами, не давая больше воли своим чувствам; и вся семья гордо несла свое горе, ожидая новых ударов судьбы.

---

[1] Qui a la régle (франц.) — у кого линейка?

Восстание нигде не удавалось, Наполеон не приходил, мужики даже в Польше неохотно приставали к «рухавке»,[1] а в других местах жестоко расправлялись с восставшими панами.

Однажды мне пришлось увидеть поезд с захваченными пленными. На длинных возах с «драбинами»,[2] в каких возят снопы, сидели кучей повстанцы, некоторые с повязанными головами и руками на перевязях. Лица у раненых были бледны. У одного на повязке виднелись пятна крови. Впереди сидели мужики, погонявшие лошадей, а по бокам верхами скакали такие же мужики-конвоиры. Сочувствие городского большинства было на стороне пленников. Молодые горничные плевали в гарцовавших на своих клячах победителей, а те насмешливо потряхивали чупринами и заламывали бараньи шапки.

Тюрьма, помещавшаяся на тесной узенькой Чудновской улице, скоро была переполнена этими пленниками, и для содержания просто «подозрительных» и «неблагонадежных» нанимали помещения у частных лиц.

Начиналось «торжество победителей» и расплата.

Однажды к нашей квартире подъехала извозчичья парная коляска, из которой вышел молодой офицер и спросил отца. Он был в новеньком, свежем синем мундире, на котором эффектно выделялись белые аксельбанты.[3] Шпоры его звенели на каждом шагу приятным тихим звоном.

— Ка-кой красивый, — сказала моя сестренка. И нам с братом он тоже очень понравился. Но мать, увидев его, отчего-то вдруг испугалась и торопливо пошла в кабинет... Когда отец вышел в гостиную, красивый офицер стоял у картины, на которой довольно грубо масляными красками была изображена фигура бородатого поляка, в красном кунтуше, с саблей на боку и гетманской булавой в руке.

Офицер поклонился, звякнул шпорами и, указывая на картину, спросил:

— Мазепа?[4]

---

[1] Рухавка (польск.) — брожение, волнение.

[2] Драбины (укр.) — высокие решетчатые борта у телег.

[3] Аксельбанты — наплечные шнуры с металлическими наконечниками.

[4] Мазепа — украинский гетман эпохи Петра I. Предал интересы украинского народа, изменил России и вступил в союз со шведским королем Карлом XII. После того как шведы были разбиты под Полтавой, бежал в Турцию.

— Нет, это Жолкевский,[1] — ответил отец.

— А-а, — протянул офицер с таким видом, как будто он одинаково не одобряет и Мазепу, и Жолкевского, а затем удалился с отцом в кабинет. Через четверть часа оба вышли оттуда и уселись в коляску. Мать и тетки осторожно, но с тревогой следили из окон за уезжавшими. Кажется, они боялись, что отца арестовали... А нам казалось странным, что такая красивая, чистенькая и приятная фигура может возбуждать тревогу...

Вечером отец рассказывал, что, когда они проезжали мимо тюрьмы, повстанцы, выглядывавшие из окна, тоже подумали, что «судью арестовали», и стали громко ругать жандарма...

Отец по должности принимал участие в комиссиях, в которых этот красивый офицер, с приятным, ласковым звоном шпор, был одним из самых свирепых членов. Другие чиновники, с местными связями, были мягче.

Однажды, вернувшись из заседания, отец рассказал матери, что один из «подозрительных» пришел еще до начала заседания и, бросив на стол только что полученное письмо, сказал с отчаянием:

— Я не защищаюсь более... Делайте, что хотите... Мой сын ушел в отряд и — убит...

Жандарма и прокурора еще не было. Отец, взглянув на остальных членов комиссии, отдал старику письмо и сказал официальным тоном:

— Заседание еще не открыто, а частные разговоры здесь неуместны.

Через несколько минут вошел жандарм, но старик уже овладел собою и спрятал письмо. Его личное дело окончилось благоприятно, и семья была спасена от конфискации имущества и разорения.

Казней в нашем городе, если не ошибаюсь, было три. Казнили так называемых жандармов-вешателей[2] и примкнувших к восстанию офицеров русской службы.

Я помню только одну. Казнили бывшего офицера, кажется, Стройновского. Он был молод, красив, недавно женился, и ему предстояла блестящая карьера. Он был взят

---

[1] Жолкевский Станислав — известный польский военачальник конца XVI и начала XVII веков.

[2] Жандармы-вешатели — исполнители распоряжений тайного центрального комитета, руководившего восстанием. Захватывали и казнили людей, враждебных польскому освободительному движению.

на месте битвы, и «закон был ясен»... Не знаю, стояла ли подпись отца в числе других под приговором, или нет, но никто не питал к нему по этому поводу никакой горечи. Наоборот, уже приговоренный, Стройновский попросил, чтобы отец посетил его перед казнью. На этом свидании он передал отцу какие-то поручения и последний привет молодой жене. При этом он с большой горечью отзывался о своем бывшем отряде: когда он хотел отступить, они шумно требовали битвы, но когда перед завалами на лесной дороге появились мужики с косами и казаки, — его отряд «накивал конскими хвостами», а его взяли... Умирал он с горечью и сожалением, но мужественно и гордо.

Романтизм, которым питалось настроение восставшей тогда панской молодежи, — плохая военная школа. Они вдохновлялись умершим прошлым, тенями жизни, а не самой жизнью... Грубое, прозаическое наступление толпы мужиков и казаков ничем не напоминало красивых батальных картин... И бедняга Стройновский поплатился за свое доверие к историческому романтизму...

Был яркий светлый день в июне или в июле. С утра было известно, что за Киевской заставой, на пустыре, около боен, уже поставлен черный столб и вырыта яма, поэтому всё в этот день казалось особенным, печально торжественным, томительно важным. В середине дня в светлом воздухе тяжеловато, отчетливо, ясно, прокатился глухой короткий удар, точно в уши толкнулся плотный круглый комок... И с ним как будто раскрылось что-то среди этого ясного дня, как раскрывается облако от зарницы... Облака не было, не было и зарницы; светило солнце... А между тем что-то всё-таки раскрылось, и на одно мгновение из-за ясного дня выглянуло что-то таинственное, скрытое, невидимое в обычное время.

Это было мгновение, когда заведомо для всех нас не стало человеческой жизни... Рассказывали впоследствии, будто Стройновский просил не завязывать ему глаз и не связывать рук. И будто ему позволили. И будто он сам скомандовал солдатам стрелять... А на другом конце города у знакомых сидела его мать. И когда комок докатился до нее, она упала, точно скошенная...

Повторяю: я и теперь не знаю, стояла ли подпись отца на приговоре военно-судной комиссии, или это был полевой суд из одних военных. Никто не говорил об этом, и никто не считал это важным. «Закон был ясен»...

ЖИТОМИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ

Это было время перелома в воспитательной системе. В обществе и литературе шли рассуждения о том, «пороть ли розгами ребенка, учить ли грамоте народ». В Киевском округе попечителем был знаменитый Пирогов.[1] Незадолго перед тем (в 1858 году) он издал ряд блестящих статей о воспитании, в которых решительно высказывался против розог. Добролюбов горячо приветствовал эти статьи, тем более, что они вышли из-под пера практического деятеля в области воспитания. Добролюбов сделал из них заключение, что, значит, в Киевском округе розга отошла уже в область предания. Оказалось, однако, что надежды эти были преждевременны. В следующем 1859 году Пироговым было созвано «совещание», в котором участвовали, кроме попечителя и его помощника, некоторые профессора, директоры, инспекторы гимназий и выдающиеся учителя. Совещание высказалось за «постепенность реформы» и, сохраняя розгу, решило только регламентировать ее применение. Пирогов не только не остался при особом мнении, но еще прибавил свою мотивировку к знаменитым в свое время «правилам», в которых все виды гимназических преступлений были тщательно взвешены, разнесены по рубрикам и таксированы такими-то степенями наказаний. Таблица с этими рубриками должна была висеть на стене, и ученику, совершившему проступок, предстояло самому найти его в соответствующей графе. Предполагалось, что это будет «способствовать развитию чувства законности». В числе провинностей, неизбежно навлекавших телесное наказание, значился, между прочим, «религиозный фанатизм».

Это был компромисс[2] «теории с практикой» и при том очень неудачный. Правила не продержались и нескольких лет. «Дух времени» быстро изгонял розгу, но там, где педагогическая рутина еще держалась, принципиальное признание телесных наказаний было ей очень наруку. Добролюбов ответил на появление «правил» резкой статьей,

---

[1] Пирогов Николай Иванович (1810—1881) — знаменитый русский ученый-хирург и педагог, автор ряда статей о воспитании. В пятидесятых годах прошлого века был попечителем (начальником) Одесского и Киевского учебных округов.

[2] Компромисс — соглашение, достигнутое путем взаимных уступок.

полной горечи и сарказма[1] по адресу Пирогова. Вся журналистика разделилась на два лагеря: за и против Добролюбова, причем «умеренный либерализм» того времени был за попечителя и за постепенность против журналиста с его радикальными требованиями. В этом споре на долю житомирской гимназии выпала своеобразная известность. Оказалось, что по количеству случаев порки она далеко оставила за собой все остальные: в 1858 году из 600 учеников было высечено 290. Это было в семь раз чаще, чем, например, в киевской второй гимназии, и в 35 раз больше, чем в киевской первой. Простодушные старозаветные педагоги, с директором Киченком во главе, проставили в своем ответе на запрос Пирогова эту красноречивую цифру, очевидно, не предвидя эффекта, который ей суждено было вызвать.

Я был тогда слишком мал и не помню, в какой мере отголоски этого журнального спора проникали в гимназическую среду. У нее была своя литература, заучиваемая наизусть, ходившая в рукописях и по альбомам. Ученическая муза неизменно настраивалась при этом на сатирический лад. Я помню длинную поэму в стихах, написанную, кажется, очень недурно, в которой говорилось, между прочим, что в Житомире не могут ужиться «учителя-люди» среди «учителей-зверей». По какой-то роковой неизбежности «людей» похищает нечистая сила:

Взяли черти Трофимова,
Возьмут Добрашова...

говорил, между прочим, неизвестный автор, не щадивший красок для изображения педагогов, остающихся в педагогическом зверинце.

Уже по тону этих произведений, проникнутых горечью и злобой, можно было бы судить, какие благодарные чувства возбуждала тогдашняя школа и с каким настроением выпускала она в жизнь своих питомцев.

Ярче запомнилось мне другое шуточное «подпольное» произведение, где выступала злоба дня современной педагогической литературы. Это было «сказание о Мине». «Бе некий человек, — говорилось в этом сказании, — именем

---

[1] Сарказм — язвительная и едкая насмешка.

дерзновенный Прометей,[1] сиречь ученик Буйвид. И той похищаше огнь с небесе, сиречь книги из класса. И бог Зевс,[2] сиречь директор Киченко, приковаше его к кавказской скале, сиречь скамье в карцере. И абие свирепый коршун, сиречь сторож Мина, клеваше печень его, сиречь з-цу, железным клювом, сиречь розгою. И услыша вопли его Геракл,[3] сиречь Буйвид-отец...»

Дальше в том же тоне описывалась баталия, действительно происшедшая между отцом наказываемого и гимназическим начальством, в лице любителя порки Киченка, надзирателя Журавского и Мины. С большим злорадством изображались подвиги и победы Геракла, который освобождает Прометея с великим уроном для самого Зевса.

В пансионе Рыхлинского было много гимназистов, и потому мы все заранее знакомились с этой рукописной литературой. В одном из альбомов я встретил и сразу запомнил безыменное стихотворение, начинавшееся словами: «Выхожу задумчиво из класса». Это было знаменитое добролюбовское «Размышление гимназиста лютеранского вероисповедания и не Киевского округа». По вопросу о том, «был ли Лютер[4] гений или плут», бедняга говорил слишком вольно и из «чувства законности» он сам желает, чтобы его высекли.

Но не тем сечением обычным,
Как секут повсюду дураков,
А таким, какое счел приличным
Николай Иваныч Пирогов.

---

[1] Прометей — гигант, один из героев древнегреческой мифологии. В мифе говорится, что Прометей похитил огонь с неба и научил им пользоваться людей. За это громовержец Зевс приковал его к скале в горах Кавказа и обрек на страшные муки. Огромный орел прилетал каждый день клевать у непокорного гиганта печень.

[2] Зевс — главный бог греческой мифологии. Древние греки верили, что он обитает на заоблачной вершине горы Олимп. Имя его означало «свет». Зевса называли повелителем грома, дождя, ясного дня и неба, отцом всех богов и людей.

[3] Геракл или Геркулес — самый популярный герой древнегреческих мифов, наделенный необычайной силой и высокой добродетелью. Мифы приписывают ему ряд необыкновенных подвигов — истребление различных чудовищ и даже победу над подземным псом Цербером, олицетворявшим смерть.

[4] Лютер Мартин (1483—1546) — религиозный реформатор в Германии. Подверг суровой критике католическую церковь и порвал с нею. По его имени новое церковное движение получило в Германии и Скандинавских странах название лютеранства.

Я б хотел, чтоб для меня собрался
Весь педагогический совет
И о том чтоб долго препирался,
Сечь меня за Лютера иль нет...
...Чтоб узнал об этом попечитель,
И, лежа под свежею лозой,
Чтоб я знал, что наш руководитель
В этот миг скорбит о мне душой...

Каждый из нас, пансионеров, мечтал, конечно, о поступлении в гимназию, и потому мы заранее интересовались всем, что гимназисты приносили из классов. Мы знали о грозном Киченке, о старых учителях, о надзирателе Журавском, о Мине, жена которого угощала гимназистов в перемену отличными пирожками по $1^{1}/_{2}$ копейки, а сам он тех же гимназистов угощал в карцере розгами. И если, тем не менее, мы мечтали о гимназическом мундире, то это было нечто вроде честолюбия юного воина, отправляющегося на опасную войну с неприятелем...

Наконец, в конце июня 1863 года и я, в мундире с красным воротником и медными пуговицами, отправился первый раз на уроки в новое гимназическое здание.

Шел я далеко не таким победителем, как когда-то в пансион Рыхлинского. После вступительного экзамена я заболел лихорадкой и пропустил почти всю первую четверть. Жизнь этого огромного «казенного» учреждения шла без меня на всех парах, и я чувствовал себя ничтожным, жалким, вперед уже в чем-то виновным. Виновным в том, что болел, что ничего не знаю, что я, наконец, так мал и не похож на гимназиста... И иду теперь беззащитный навстречу Киченку, Мине, суровым нравам и наказаниям.

В большом шумном классе всё было чуждо, но особенное смущение вызвала во мне знакомая фигура некоего старого гимназиста Шумовича. Это был малый лет восемнадцати, широкоплечий, приземистый, с походкой молодого медведя и серьезным, почти угрюмым взглядом. Два или три последних года он почти ежедневно проходил в гимназию мимо нашего двора. Если случайно я или младший брат попадались ему при этом на дороге, — он сгребал попавшегося в свои медвежьи лапы, тискал, мял, сплющивал нос, хлопал по ушам и, наконец, повернув к себе спиной, пускал в пространство ловким ударом колена пониже спины. Затем неторопливо шел дальше. Завидев его еще издали, мы прятались за калитку, но, когда он проходил, что-то тянуло нас за ним.

Мы бежали сзади и окликали: «Шумович! Шумович!» Он поворачивался и серьезным взглядом измерял расстояние.

Оказалось, что реформа, запретившая оставаться более двух лет в одном классе, застигла его продолжительную гимназическую карьеру только на второй ступени. Богатырь оказался моим товарищем, и я со страхом думал, что он сделает со мной в ближайшую перемену... Но он не показал и виду, что помнит о наших внегимназических отношениях. Вероятно, ему самому эти воспоминания доставляли мало удовольствия.

Я чувствовал себя, как в лесу, и, когда на первом уроке молодой учитель естественной истории назвал вдруг мою фамилию, я замер. Сердце у меня забилось, и я беспомощно оглянулся. Сидевший рядом товарищ толкнул меня локтем и сказал: «Иди, иди к кафедре». И тотчас же громко прибавил:

— Он не готовил. Был болен.

— Был болен, был болен... Не готовил! — загудел весь класс.

Я несколько ободрился, почувствовав, что за мной стоит какая-то дружественная и солидарная сила. Подойдя к кафедре, я остановился и потупился.

— Болен, болен, болен!.. бо-о-о... не го-то-о... — гудело за мной пятьдесят голосов.

Учитель Прелин оказался не страшным. Молодой, красивый блондин с синими глазами спросил у меня, что я знаю, и, получив ответ, что я не знаю еще ничего, пригласил прийти к нему на дом... Я сел на место, ободренный и покоренный его ласковым и серьезным взглядом.

— Этот ничего... славный малый, — сказал мой сосед, по фамилии Крыштанович.

В это время дверь широко и быстро открылась. В класс решительной, почти военной походкой вошел большой полный человек. «Директор Герасименко», — робко шепнул мне сосед. Едва поклонившись учителю, директор развернул ведомость и сказал отрывистым, точно лающим голосом:

— Четвертные отметки. Слушать! Абрамович... Баландович... Буяльский... Варшавер... Варшавский...

Точно из мешка, он сыпал фамилии, названия предметов и отметки. По временам из этого потока вырывались краткие сентенции: «похвально», «совет высказывает порицание»... «угроза розог», «вып-пороть мерзавца». Назвав мою фамилию, он прибавил: «много пропущено... стараться»...

Пролаяв последнюю сентенцию, он быстро сложил журнал и так же быстро вышел.

В классе поднялся какой-то особенный шум. Сзади кто-то заплакал. Прелин, красный и как будто смущенный, наклонился над журналом. Мой сосед, голубоглазый, очень приятный мальчик в узком мундирчике, толкнул меня локтем и спросил просто, хотя с несколько озабоченным видом:

— Слушай... Что он сказал обо мне: «угроза розог» или «выпороть мерзавца»?

— Я не заметил.

— Свинья... тебе не жаль товарища?

— Но ведь ты и сам не заметил...

— Да, чорт его знает... лает, как собака...

— Крыштановичу что? Кто заметил?.. — заговорили кругом. — Кажется, «угроза».

— Нет, «выпороть мерзавца»... Я слышал, — сказал кто-то сзади.

— Ну? — повернулся Крыштанович.

— Верно, брат, верно...

Я с сочувствием взглянул на него, но он беспечно мотнул головой с буйным золотистым вихром и сказал:

— Чорт с ними! Ты... будешь учиться?

— А то как же? — спросил я наивно.

— Много пропустил. Всё равно не догонишь. Будут пороть... Я вот не учусь совсем... Хочу в телеграфисты...

Прелин постучал карандашом. Разговоры стихли.

В ближайшую перемену я не вышел, а меня вынесло на двор, точно бурным потоком. И тотчас же завертело, как щепку. Я был новичок. Это было заметно, и на меня посыпались щипки, толчки и удары по ушам. Ударить по уху так, чтобы щелкнуло, точно хлопушкой, называлось на гимназическом жаргоне «дать фаца», и некоторые старые гимназисты достигали в этом искусстве значительного совершенства. У меня вдобавок была коротко остриженная голова и несколько торчащие уши. Поэтому, пока я беспомощно оглядывался, вокруг моей головы стояла пальба, точно из пулемета, которую прекратило только бурное вмешательство моего знакомого гимназиста Ольшанского.

Это был толстый, необыкновенно жизнерадостный крепыш, ринувшийся в атаку с беззаветной храбростью и вскоре вырвавший меня из водоворота. Правда, он и сам вышел из битвы не без урона и даже раза два катался с противниками в траве. Потом схватился на ноги и крикнул:

— Беги за мною!

Мы побежали во второй двор. Убегая от какого-то настигнувшего меня верзилы, я схватился за молодое деревцо. Оно качнулось и затрещало. Преследователь остановился, а другой крикнул: «Сломал дерево! Сломал дерево! Скажу Журавскому!»

Между тем с крыльца раздался звонок, и все гимназисты ринулись с той же стремительностью в здание. Ольшанский, вошедший в роль покровителя, тащил меня за руку. Добежав до крыльца, где низенький сторож потрясал большим звонком, он вдруг остановился и, ткнув в звонаря пальцем, сказал мне:

— Это Мина!

Знаменитый Мина оказался небольшим плотным человеком, с длинными, как у обезьяны, руками и загорелым лицом, на котором странно выделялась очень светлая заросль. Длинный прямой нос как будто утопал в толстых, как два полена, светлых усах. Перестав звонить, он взглянул на моего жизнерадостного покровителя и сказал:

— Чего смеешься?.. Смотри, Ольшанский, — скоро суббота... Уроки, небось, опять не вытвердил?

Ольшанский беспечно показал грозному Мине язык и скрылся в коридоре.

Перед уроком, когда уже все сидели на местах, в класс вошел надзиратель Журавский и, поискав кого-то глазами, остановил их на мне:

— Ты, новичок, останься после класса.

Я был удивлен. Товарищи тоже были заинтересованы. Крыштанович хлопнул меня по плечу и сказал:

— Молодец, новичок! Сразу попадешь под розги... Здорово!

Я чувствовал себя до такой степени невинным, что даже не испугался. Оказалось, однако, что я был уже виновен.

— Ты сломал дерево? — спросил меня какой-то незнакомый ученик, подошедший с задней парты.

— Нет, но... я его согнул.

— Ну, вот. Я сам слышал, как Домбровский ябедничал Журавскому.

— За дерево... могут выпороть... — опять предположил Крыштанович.

Последовал обмен мнений. Хотя поломка деревьев едва ли была предусмотрена таблицей наказаний, но в новой гимназии только что были произведены посадки, и порча их

считалась большим преступлением. Тем не менее большинство мнений было в мою пользу.

— Без согласия родителей пороть не станут.

Это была еще одна форма «постепенного» компромисса: родителям предлагали: выпороть или уволить. Относительно Ольшанского, Крыштановича и некоторых других была получена carte blanche,[1] и дело шло как по маслу, без дальнейших формальностей.

— А Домбровского пора проучить, — сказал Крыштанович. — Это уже не в первый раз.

— Гм-да... — многозначительно сказал еще кто-то.

По окончании уроков я с несколькими учениками прошел к Журавскому. Дело обошлось довольно благополучно. Новые товарищи мои дружно доказывали, что я еще новичок, недавно оправившийся от болезни, и дерева не ломал. К концу этой беседы незаметно подошла еще кучка учеников, которые как-то особенно демонстративно вступали в объяснения с надзирателем. Журавский сделал мне выговор и отпустил с миром. Когда мы проходили по коридору, из пустого класса выскочил Домбровский. Он был весь красный, на глазах у него были слезы.

Крыштанович рассказал мне, улыбаясь, что над ним только что произведена «экзекуция»...[2] После уроков, когда он собирал свои книги, сзади к нему подкрался кто-то из «стариков», кажется, Шумович, и накинул на голову его собственный башлык. Затем его повалили на парту. Крыштанович снял с себя ремень, и «козе» урезали десятка полтора ремней. Закончив эту операцию, исполнители кинулись из класса, и, пока Домбровский освобождался от башлыка, они старались обратить на себя внимание Журавского, чтобы установить alibi.[3]

Так сплоченное гимназическое «товарищество» казнило «изменника»... Впоследствии то же мне пришлось встретить в тюрьмах. Формы, конечно, были жесточе, но сущность та же.

Этот эпизод как-то сразу ввел меня, новичка, в новое

---

[1] Carte blanche (франц.) — чистый бланк с подписью. На таком бланке может быть написан любой текст. В переносном смысле означает предоставление полной свободы действий.

[2] Экзекуция (лат.) — телесное наказание.

[3] Alibi (лат.) — нахождение обвиняемого в то время, когда совершалось преступление, в другом месте, как доказательство непричастности его к преступлению.

общество на правах его члена. Домой я шел с гордым сознанием, что я уже настоящий ученик, что меня знает весь класс и из-за меня совершился даже некоторый важный акт общественного правосудия.

— Ты славный малый, начинаешь недурно! — с покровительственной важностью одобрил меня Крыштанович. В его глазах мне недоставало еще только карцера и порки...

В ближайшую субботу мой приятель и защитник Ольшанский показался мне несколько озабоченным. На мои вопросы, — что с ним? — он не ответил, но мимо Мины в перемену проскользнул как-то стыдливо и незаметно.

Крыштанович, с которым мы теперь каждый день уходили из гимназии вместе, тоже был настроен невесело и перед последним уроком сказал:

— А меня, знаешь... того... действительно сегодня будут драть. Ты меня подожди.

И затем, беспечно тряхнув завитком волос над крутым лбом, прибавил:

— Это недолго. Я попрошу, чтобы меня первым...

— Тебе это... ничего? — спросил я с сочувствием.

— Плевать... У нас, брат, в Белой Церкви, не так драли... Черви заводились. Отец тоже лупит здорово!

После уроков, когда масса учеников быстро схлынула, в опустевшем и жутко затихшем коридоре осталась только угрюмая кучка обреченных. Вышел Журавский с ведомостью в руках. Мина своей развалистой походкой последовал за ним. Увидев меня, Журавский остановился.

— А, новичок! — сказал он. — Тоже попался! Не говорил я тебе, а?

— Нет, я вот с ним... — ответил я.

— Ага, с Крыштановичем!.. Хорошая компания. Пойдешь далеко... Тебе, Крыштанович, сегодня пятнадцать...

— Я, господин надзиратель, хочу попросить...

— Не могу. Просил бы у совета...

— Нет, я не то... Я хочу, чтобы меня первым... Ко мне, господин надзиратель, тетушка приехала... Из Киева.

— А! Так ты хочешь ее поскорее обрадовать... Ну, хорошо, хорошо, это можно... — И, сделав по ведомости перекличку, он развел оставшихся по классам и потом сказал: — Ну, что ж. Пойдем, господин Крыштанович. Тетушка дожидается.

И они втроем — Мина, Журавский и мой приятель — отправились к карцеру с видом людей, идущих на деловое

свидание. Когда дверь карцера открылась, я увидел широкую скамью, два пучка розог и помощника Мины. Затем дверь опять захлопнулась, как будто проглотив красивую фигуру Крыштановича в мундирчике с короткой талией.

Тишина в коридоре стала еще жутче. Я с бьющимся сердцем ждал за дверью карцера возни, просьб, криков. Но ничего не было. Была только насторожившаяся тишина, среди которой тикало что-то с своеобразным свистом. Едва я успел сообразить, что это за тиканье, как оно прекратилось, и из-за плотной двери опять показался Мина. Своей медвежеватой походкой он подошел к одному из классов, щелкнул ключом, и в ту же минуту оттуда понесся по всему зданию отчаянный рев. Мина тащил за руку упиравшегося Ольшанского. Рот у моего жизнерадостного знакомца был открыт до ушей, толстые щеки измазаны слезами и мелом; он ревел во весь голос, хватался за косяки, потом даже старался схватиться за гладкие стены.

Но Мина, равнодушный, как сама судьба, без всякого видимого усилия увлекал его к карцеру, откуда уже выходил Крыштанович, застегивая под мундиром свои подтяжки. Лицо его было немного краснее обыкновенного, и только. Он с любопытством посмотрел на барахтавшегося Ольшанского и сказал мне:

— Вот дурак!.. Что этим выиграет?

Его глаза засветились насмешливым огоньком.

— И урежет же ему теперь Мина... Постой, — прибавил он, удерживая меня и прислушиваясь.

Мина со своей жертвой скрылся за дверью. Через минуту раздался резкий звук удара — ж-жик — и отчаянный вопль...

Мы подходили уже в выходной калитке, когда из коридора, как бомба, вылетел Ольшанский; он ронял книги, оглядывался и на бегу доканчивал свой туалет. Впрочем, в ближайший понедельник он опять был радостен и беспечен на всю неделю.

В назначенный день я пошел к Прелину. Робко, с замирающим сердцем нашел я маленький домик на Сенной площади, с балконом и клумбами цветов. Прелин, в светлом летнем костюме и белой соломенной шляпе, возился около цветника. Он встретил меня радушно и просто, задержал немного в саду, показывая цветы, потом ввел в комнату. Здесь он взял мою книгу, разметил ее, показал, что уже

пройдено, разделил пройденное на части, разъяснил более трудные места и указал, как мне догнать товарищей.

Вышел я от него почти влюбленный в молодого учителя и, придя домой, стал жадно поглощать отмеченные места в книге. Скоро я догнал товарищей по всем предметам, и на следующую четверть Герасименко после моей фамилии пролаял сентенцию: «похвально». Таким образом, ожидания моего приятеля Крыштановича на оправдались: испробовать гимназических розог мне не пришлось.

Впрочем, розга была уже осуждена бесповоротно, и порка исчезала. На следующий год мне запомнился, впрочем, один случай ее применения: два гимназиста убежали из дому, направляясь в девственные степи Америки искать приключений. Школьный строй никогда не мог понять этих, во всяком случае, незаурядных порывов юной натуры к чему-то необычному, выходящему из будничных рамок, неведомому и заманчивому... Побег этот взволновал всю гимназию, и, сидя на уроках, мы шопотом делились предположениями о том, далеко ли успели уйти наши беглецы. Дня через три мы узнали, что они пойманы, привезены в город и сидят день и ночь в карцере в ожидании педагогического совета.

Был как раз урок арифметики, когда один из беглецов, уже наказанный, угрюмо вошел в класс. На кафедре сидел маленький, круглый Сербинов, человек восточного типа, с чертами ожиревшей хищной птицы. Он был груб, глуп и строг, преподавал по своему предмету одни только «правила», а решение задач сводилось на переписку в тетрадках; весь класс списывал у одного или двух лучших учеников, и Сербинов ставил отметки за чистоту тетрадей и красоту почерка. Он дослуживал срок пенсии, был очень раздражен всякими новшествами и в классе иной раз принимался ругать разных «дураков, которые пишут против розги...» Когда беглец вошел в класс, Сербинов с четверть часа продержал его у порога, злорадно издеваясь и цинично расспрашивая о разных подробностях порки. Затем, хорошо зная, что мальчик не мог приготовиться, он спросил урок и долго с наслаждением вычерчивал в журнале единицу.

Прелин, наоборот, не упоминая ни словом о побеге, вызвал мальчика к кафедре, с серьезным видом спросил, когда он может наверстать пропущенное, вызвал его в назначенный день и с подчеркнутой торжественностью поставил пять с плюсом.

В житомирской гимназии мне пришлось пробыть только два года, и потом завязавшиеся здесь школьные связи были оборваны. Только одна из них оставила во мне более глубокое воспоминание, сложное и несколько грустное, но и до сих пор еще живое в моей душе.

Это детская дружба с Крыштановичем.

С первого же дня, когда он ко мне обратился с своим простодушным вопросом, — будут ли его пороть или пока только «грозят», — он внушил мне глубокую симпатию. Мне нравились его крутой лоб, светлые глаза, то сверкавшие шаловливым весельем, то внезапно тускневшие и заволакивавшиеся непонятным мне и загадочным выражением, его широкоплечая фигура с тонким станом, в узком старом мундирчике, спокойная самоуверенность и чувство какого-то особого превосходства, сквозившее во всех его приемах. Он был года на полтора старше меня, но мне казалось почему-то, что он знает обо всех людях — учителях, учениках, своих родителях — что-то такое, чего я не знаю. Он упорно осуществлял свой план, не приготовляя уроков, глубоко презирал и наказания, и весь школьный режим, не любил говорить о своей семье, охотно упоминая лишь о сестре, которую иной раз обзывал ласково самыми грубыми площадными названиями. Если бы кто-нибудь послушал иные рассказы его о своих якобы похождениях с женщинами, то, конечно, пришел бы в ужас от спокойного цинизма этого гимназиста второго класса. Я теперь тоже вспоминаю эти рассказы с удивлением. Но мне кажется, что я и тогда чувствовал в них выдумку и своего рода хвастовство.

Трудно было разобрать, говорит ли он серьезно или смеется над моим легковерием. В конце концов в нем чувствовалась хорошая натура, поставленная в какие-то тяжелые условия. Порой он внезапно затуманивался, уходил в себя, и в его тускневших глазах стояло выражение затаенной печали... Как будто чистая сторона детской души невольно грустила под наплывом затягивающей ее грязи.

После описанной выше порки, которая, впрочем, больше до конца года не повторялась, я относился к нему как-то особенно: жалел, удивлялся, готов был для него что-то сделать... Создавалась какая-то особенная власть его надо мной, которую мы чувствовали оба. Он относился ко мне хорошо, но в этом было что-то невысказанное, может быть, не вполне сознанное: я разочаровал его. Товарищество у нас было не полное. Я, пожалуй, не прочь был стать таким

же «отпетым», как он, чтобы пользоваться такой же фамильярной известностью у Журавского и вместе с приятелем попадать в карцер. Но это у меня как-то не выходило.

В карцер я, положим, попал скоро. Горячий француз, Бейвель, обыкновенно в течение урока оставлял по нескольку человек, но часто забывал записывать в журнал. Так же он оставил и меня.

Когда после урока я, вместе с Крыштановичем, подошел в коридоре к Журавскому, то оказалось, что я в списке не числюсь.

— Но меня оставил мосье Бейвель, — настаивал я.

— Верно, — покровительственно подтвердил Крыштанович.

— Ну, оставил, так оставайся! — согласился Журавский. — Там, кстати, встретишь своего братца.

В карцере, действительно, уже сидело несколько человек, в том числе мой старший брат. Я с гордостью вошел в первый раз в это избранное общество, но брат тотчас же охладил меня, сказав с презрением:

— Дурак! Сам напросился!

Я понял, что дал промах: «настоящий» гимназист гордился бы, если бы ему удалось обманом ускользнуть от Журавского, а я сам полез ему в лапы.

Когда мы все были выпущены, Крыштанович сказал мне:

— Ты всё-таки славный малый, хотя еще глуп. Давай завтра уйдем из церкви.

— Куда?

— Куда я поведу... Пойдешь?

— Хорошо, только надо ведь попроситься у матери...

— Она не узнает... Можешь сказать, что заходил к товарищу учить уроки.

Я покраснел и замялся. Он внимательно посмотрел на меня и повел плечами.

— Ты боишься соврать своей матери? — сказал он с оттенком насмешливого удивления. — А я вру постоянно. Ну, однако, ты мне дал слово... Не сдержать слово товарищу — подлость.

Я сказал матери, что после церкви пойду к товарищу на весь день; мать отпустила. Служба только началась еще в старом соборе, когда Крыштанович дернул меня за рукав, и мы незаметно вышли.

Во мне шевелилось легкое угрызение совести, но, сказать правду, — было также что-то необыкновенно заманчивое в этой полупреступной прогулке в часы, когда товарищи еще стоят на хорах собора... Казалось, даже самые улицы имели в эти часы особенный вид.

Крыштанович уверенным шагом повел меня мимо прежней нашей квартиры. Мы прошли мимо старой «фигуры» на шоссе и пошли прямо. В какой-то маленькой лавочке Крыштанович купил две булки и кусок колбасы. Уверенность, с какой он делал эту покупку и расплачивался за нее серебряными деньгами, — тоже импонировала[1] мне: у меня только раз в жизни было пятнадцать копеек, и когда я шел с ними по улице, то мне казалось, что все знают об этой огромной сумме и кто-нибудь непременно затевает меня ограбить...

— Откуда у тебя столько денег? — спросил я у моего бойкого товарища, когда мы вышли из лавочки...

— А тебе какое дело? — ответил он. — Ну, украл у отца...

Я покраснел и не знал, что сказать. Мне казалось, что Крыштанович говорит это «нарочно». Когда я высказал это предположение, он ничего не ответил и пошел вперед.

Мы миновали православное кладбище, поднявшись на то самое возвышение дороги, которое когда-то казалось мне чуть не краем свéта, и откуда мы с братом ожидали «рогатого попа». Потом и улица, и дом Коляновских исчезли за косогором... По сторонам тянулись заборы, пустыри, лачуги, землянки, перед нами лежала белая лента шоссе, с звенящей телеграфной проволокой, а впереди, в дымке пыли и тумана, синела роща, та самая, где я когда-то в первый раз слушал шум соснового бора...

Мне было жутко и приятно. Мир, открывавшийся передо мною, был нов и неожидан, или вернее: я смотрел на него с новой и неожиданной точки зрения. Белые облака лежали на самом горизонте, не закрытом домами и крышами. Навстречу попадались чумацкие возы со скрипучими осями, двигались высокие еврейские балагулы, какие-то странники оглядывались на нас с любопытством и удивлением; проехал обоз крымских татар, ежегодно привозивших в наш город виноград и арбузы.

Обоз состоял из огромных фургонов, похожих на вагоны,

---

[1] Импонировать (франц.) — внушать уважение, производить хорошее впечатление.

разделенные горизонтальной переборкой на две половины. В одной лежали молодые татарчата, внизу были наложены арбузы и стояли ящики с виноградом. Фургоны были запряжены верблюдами, которых в городе татары показывали за деньги. Здесь, на просторе, мы смотрели бесплатно, как они шлепали по шоссе мягкими ступнями, покачивая змеиными шеями и презрительно вытягивая длинные отвислые губы.

Так мы прошли версты четыре и дошли до деревянного моста, перекинутого через речку в глубоком овраге. Здесь Крыштанович спустился вниз, и через минуту мы были на берегу тихой и ласковой речушки Каменки. Над нами, высоко, высоко, пролегал мост, по которому гулко ударяли копыта лошадей, прокатывались колеса возов, проехал обратный ямщик с тренькающим колокольчиком, передвигались у барьера силуэты пешеходов, рабочих, странников и богомолок, направлявшихся в Почаев.

Крыштанович подошел к мысу, образованному извилиной речки, и мы растянулись на прохладной зеленой траве; мы долго лежали, отдыхая, глядя на небо и прислушиваясь к гудению протекавшей вверху дорожной жизни.

Детство часто беспечно проходит мимо самых тяжелых драм, но это не значит, что оно не схватывает их чутким полусознанием. Я чувствовал, что в душе моего приятеля есть что-то, что он хранит про себя... Всё время дорогой он молчал, и на лбу его лежала легкая складка, как тогда, когда он спрашивал о порке.

Наконец, он сел в траве. Лицо его стало спокойнее. Он оглянулся кругом и сказал:

— Правда, — хорошо?..

— Хорошо, — ответил я. — А ты уже здесь бывал?

— Да, бывал.

— Один?

— Один... если захочешь, будем приходить вместе... Тебе не хочется иногда уйти куда-нибудь?.. Так, чтобы всё идти, идти... и не возвращаться..

Мне этого не хотелось. Идти — это мне нравилось, но я всё-таки знал, что надо вернуться домой, к матери, отцу, братьям и сестрам.

Я не ответил и спросил, в свою очередь:

— Слушай... Отчего ты... такой?

— Какой? — переспросил он и прибавил: — Брось... черт с ними, со всеми... со всеми... Давай лучше купаться.

Через минуту мы плескались, плавали и барахтались в речушке так весело, как будто сейчас я не предлагал своего вопроса, который Крыштанович оставил без ответа.. Когда мы опять подходили к городу, то огоньки предместья светились навстречу в неопределенной синей мгле...

Эта маленькая прогулка ярко запала мне в память, быть может, потому, что рядом с нею легло смутное, но глубокое впечатление от личности моего приятеля. На следующий день он не пришел на уроки, и я сидел рядом с его пустым местом, а в моей голове роились воспоминания вчерашнего и смутные вопросы. Между прочим, я думал о том, кем я буду впоследствии. До тех пор я переменил уже в воображении несколько родов деятельности. Вид первой извозчичьей пролетки, запах кожи, краски и лошадиного пота, а также великое преимущество держать в руках вожжи и управлять движениями лошадей вызвали у меня желание стать извозчиком. Потом я воображал себя поляком XVII столетия, в шапке с орлиным пером и с кривой саблей на боку. Потом мне очень хотелось быть казаком и мчаться пьяному на коне по степи, как мчался знакомый мне удалой донской урядник. Теперь я был уже умнее. Мне захотелось быть учителем.

И именно таким, как Прелин Я сижу на кафедре, и ко мне обращены все детские сердца, а я, в свою очередь, знаю каждое из них, вижу каждое их движение. В числе учеников сидит также и Крыштанович. И я знаю, что нужно сказать ему и что нужно сделать, чтобы глаза его не были так печальны, чтобы он не ругал отца и не смеялся над матерью...

Всё это было так завлекательно, так ясно и просто, как только и бывает в мечтах или во сне. И видел я это всё так живо, что... совершенно не заметил, как в классе стало необычайно тихо, как ученики с удивлением оборачиваются на меня; как на меня же смотрит с кафедры старый учитель русского языка, лысый, как колено, Белоконский, уже третий раз окликающий меня по фамилии. Он заставил повторить что-то им сказанное, рассердился и выгнал меня из класса, приказав стать у классной двери снаружи.

Я вышел, всё еще унося с собой продолжение моего сна наяву. Но едва я устроился в нише дверей и опять отдался течению своих мыслей, как в перспективе коридора показалась рослая фигура директора. Поровнявшись со мной, он

остановился, кинул величавый взгляд со своей высоты и пролаял свою автоматическую фразу:

— Выгнан из класса?.. Вып-порю мерзавца!

И затем проследовал дальше. Очень вероятно, что через минуту он уже не узнал бы меня при новой встрече, но в моей памяти этот маленький эпизод остался на всю жизнь. Бессмысленный окрик автомата случайно упал в душу, в первый еще раз раскрывшуюся навстречу вопросам о несовершенствах жизни и разнеженную мечтой о чем-то лучшем... Впоследствии, в минуты невольных уединений, когда я оглядывался на прошлое и пытался уловить, что именно в этом прошлом определило мой жизненный путь, в памяти среди многих важных эпизодов, влияний, размышлений и чувств неизменно вставала также и эта картина: длинный коридор, мальчик, прижавшийся в углублении дверей, с первыми движениями разумной мечты о жизни, и огромная мундиро-автоматическая фигура со своею несложною формулой:

— Вып-порю мерзавца!..

В 1866 году один эпизод «большой политики» долетел отголосками и до нас. 4 апреля 1866 года Каракозов[1] в Петербурге стрелял в императора Александра II. В июне того же года, по окончании экзаменов, происходил годичный гимназический акт. Нас сначала собрали в здании гимназии, а потом попарно повели нас в зал дворянского собрания. Особенная торжественность акта объяснялась, кажется, тем, что гимназия собралась щегольнуть перед властями и обществом собственным поэтом. Сначала словесник Шавров произнес речь, которая совсем не сохранилась в моей памяти, а затем на эстраду выступил гимназист, небольшого роста, с большой курчавой головой. Каким-то напряженным тоном с выкрикиваниями и сильным акцентом он прочел стихотворение, в котором говорилось о «чудесном спасении». Стихотворение было напыщенно и высокопарно. Оно начиналось вопросом вроде: «Куда текут народа шумны волны?» — а затем сообщало, что

Ужасная весть обтекает Россию
Об умысле злом на царя...
Но чудо свершилось пред всеми вочию,
Венчанную жизнь сохраня...

---

[1] Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—1866) — народоволец. Пытался застрелить царя Александра II. По приговору суда был повешен.

По окончании чтения поэт поднес губернаторше свиток со своим произведением, а архиерей поцеловал гимназиста-еврея в голову.

Сколько могу припомнить, покушение Каракозова ни во мне, ни в моих сверстниках не будило в то время никаких вопросов. Царь — это было нечто огромное, отдаленное, стихия! Стихией же казались и люди, которые в него стреляют. Нечто отвлеченное, далекое от нашей повседневной жизни. А торжество по этому поводу было казенное торжество, показное, «ненастоящее», — это мы ощущали ясно. Перегибаясь через перила хора, мы с ироническим любопытством смотрели, как смешно поэт Варшавский подходил к руке архиерея, и тот прикасается губами к его жесткой курчавой голове. На лицах учеников было или безразличное любопытство, или усмешка...

Стихотворение появилось в гимназическом журнале, который позволено было печатать в губернской типографии. Вышло, кажется, два или три номера. Губернская канцелярия и редакторство учителей убивали свободный полет гимназической поэзии, и она хирела... Былина о «Коршуне-Мине и Прометее-Буйвиде», конечно, не могла бы найти места в этом журнале, как и другие, порой несомненно остроумные сатиры безыменных поэтов-школьников... В этот разрешенный начальством журнал гимназическая муза отправлялась точно с визитом, затянутая, напряженная, несвободная, тогда как у себя дома она была гораздо интереснее.

Поэтическому таланту Варшавского, начавшему свое парение с торжественных од и поднесений высоким лицам, так и не суждено было расцвесть. В гимназическом журнальчике было еще помещено его стихотворение, уже не столь торжественного содержания, озаглавленное «Шапка». Дело шло о форменной гимназической фуражке, которая, по словам поэта, украшая кудрявые юные головы, жаждущие науки, влечет к ним «взгляды красоток». Другой гимназист, Иорданский, написал злую критику, в которой опровергал все поэтические положения товарища-поэта по пунктам. «Поэт утверждает, якобы шапка красоток влечет, — писал он весьма энергическим стилем. — Я же говорю: напротив!»

Придя как-то к брату, критик читал свою статью и, произнося: «я же говорю: напротив», — сверкал глазами и энергически ударял кулаком по столу... От этого на некоторое время у меня составилось представление о «критиках»,

как о людях, за что-то сердитых на авторов и говорящих им «всё напротив».

На этой полемике, кажется, литературное предприятие житомирской гимназии и закончилось, а с ним и имя поэта Варшавского кануло в Лету[1]...

МОЕ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ДИККЕНСОМ[2]

1

Первая книга, которую я начал читать по складам, а дочитал до конца уже довольно бегло, был роман польского писателя Коржениовского — произведение талантливое и написанное в хорошем литературном тоне. Никто после этого не руководил выбором моего чтения, и одно время оно приняло пестрый, случайный, можно даже сказать, авантюристский характер.

Я следовал в этом за моим старшим братом.

Он был года на два с половиной старше меня. В детстве эта разница значительная, а брат был в этом отношении честолюбив. Стремясь отгородиться всячески от «детей», он присвоил себе разные привилегии. Во-первых, завел тросточку, с которой расхаживал по улицам, размахивая ею особенным образом. Эта привилегия была за ним признана. Старшие смеялись, но тросточки не отнимали. Было несколько хуже, что он запасся также табаком и стал приучаться курить тайком от родителей, но при нас, младших. Из этого, положим, ничего не вышло: его тошнило, и табак он хранил больше из тщеславия. Но когда отец как-то узнал об этом, то сначала очень рассердился, а потом решил: «Пусть малый лучше читает книги». Брат получил «два злотых»[3] и подписался на месяц в библиотеке пана Буткевича, торговавшего на Киевской улице бумагой, картинками, нотами, учебниками, тетрадями, а также дававшего за плату книги для чтения. Книг было не очень много и

---

[1] Лета — в греческих мифах — источник и река забвения в подземном мире.

[2] Диккенс Чарльз (1812—1870) — знаменитый английский писатель-реалист. Ярко и правдиво изображал английскую жизнь середины прошлого века. Наиболее известны его романы: «Записки Пиквикского клуба», «Оливер Твист», «Домби и сын», «Давид Копперфильд».

[3] Злотый — польская денежная единица, делится на сто грошей. Во времена Короленко была равна пятнадцати копейкам.

больше всё товар по тому времени ходкий: Дюма,[1] Евгений Сю,[2] Купер,[3] тайны разных дворов и, кажется, уже тогда знаменитый Рокамболь.[4]

Брат и этому своему новому праву придал характер привилегии. Когда я однажды попытался заглянуть в книгу, оставленную им на столе, он вырвал ее у меня из рук и сказал:

— Пошел! Тебе еще рано читать романы.

После этого я лишь тайком, в его отсутствие, брал книги и, весь настороже, глотал страницу за страницей.

Это было странное, пестрое и очень пряное чтение.

Некогда было читать сплошь, приходилось знакомиться с завязкой и потом следить за нею вразбивку. И теперь многое из прочитанного тогда представляется мне точно пейзаж под плывущими туманами. Появляются, точно в прогалинах, ярко светящиеся островки и исчезают... Д'Артаньян,[5] выезжающий из маленького городка на смешной кляче, фигуры его друзей мушкетеров, убийство королевы Марго, некоторые злодейства иезуитов[6] из Сю... Все эти образы появлялись и исчезали, вспугнутые шагами брата, чтобы затем возникнуть уже в другом месте (в следующем томе), без связи в действии, без определившихся характеров. Поединки, нападения, засады, любовные интриги, злодейства и неизбежное их наказание.

Порой мне приходилось расставаться с героем в самый критический момент, когда его насквозь пронзали шпагой, а между тем роман еще не был кончен, и, значит, оставалось место для самых мучительных предположений. На мои роб-

---

[1] Дюма Александр (отец) (1802—1870) — французский писатель, автор многочисленных романов на исторические темы. Лучшие из них: «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго». Произведения Дюма отличались острыми авантюрными сюжетами, но в них отсутствовала историческая правдивость.

[2] Сю Эжен (1804—1857) — французский романист, автор многочисленных произведений на исторические и бытовые темы.

[3] Купер Фенимор (1789—1851) — американский писатель. Известен как автор романов о Кожаном Чулке — благородном и смелом охотнике Натти Бумпо. Лучшие его произведения — «Зверобой», «Следопыт», «Последний из могикан».

[4] Рокамболь — точнее «Похождения Рокамболя»—роман французского писателя Понсон де Терраля (1829—1871) — автора многочисленных произведений на уголовные темы.

[5] Д'Артаньян —герой романа А. Дюма-отца—«Три мушкетера».

[6] Иезуиты — монахи, члены воинствующего ордена католической церкви — «Общества Иисуса». Этот орден был основан в XVI веке и всегда являлся опорой реакции.

кие вопросы, — ожил ли герой и что сталось с его возлюбленной в то время, когда он влачил жалкое существование со шпагой в груди, — брат отвечал с суровой важностью:

— Не трогай моих книг! Тебе еще рано читать романы.

И прятал книги в другое место.

Через некоторое время, однако, ему надоело бегать в библиотеку, и он воспользовался еще одной привилегией своего возраста: стал посылать меня менять ему книги...

Я был этому очень рад. Библиотека была довольно далеко от нашего дома, и книга была в моем распоряжении на всем этом пространстве. Я стал читать на ходу.

Эта манера придавала самому процессу чтения характер своеобразный и, так сказать, азартный. Сначала я не умел примениться как следует к уличному движению, рисковал попасть под извозчиков, натыкался на прохожих. До сих пор помню солидную фигуру какого-то поляка с седыми подстриженными усами и широким лицом, который, когда я ткнулся в него, взял меня за воротник и с насмешливым любопытством рассматривал некоторое время, а потом отпустил с какой-то подходящей сентенцией. Но со временем я отлично выучился лавировать среди опасностей, издали замечая через обрез книги ноги встречных... Шел я медленно, порой останавливаясь за углами, жадно следя за событиями, пока не подходил к книжному магазину. Тут я наскоро смотрел развязку и со вздохом входил к Буткевичу. Конечно, пробелов оставалось много. Рыцари, разбойники, защитники невинности, прекрасные дамы — всё это каким-то вихрем, точно на шабаше, мчалось в моей голове под грохот уличного движения и обрывалось бессвязно, странно, загадочно, дразня, распаляя, но не удовлетворяя воображения.

Из всего «Кавалера de Maison rouge» [1] я помнил лишь то, как он, переодетый якобинцем, отсчитывает шагами плиты в каком-то зале и в конце выходит из-под эшафота, на котором казнили прекраснейшую из королев, с платком, обагренным ее кровью. К чему он стремился и каким образом попал под эшафот, я не знал очень долго.

Думаю, что это чтение принесло мне много вреда, прокладывая в голове странные и ни с чем не сообразные извилины приключений, затушевывая лица, характеры, приучая к поверхностности...

---

[1] «Le chevalier de la Maison Rouge» («Кавалер Красного дома») — роман А. Дюма.

2

Однажды я принес брату книгу, кажется, сброшюрованную из журнала, в которой, перелистывая дорогой, я не мог привычным глазом разыскать обычную нить приключений. Характеристика какого-то высокого человека, сурового, неприятного. Купец. У него контора, в которой «привыкли торговать кожами, но никогда не вели дел с женскими сердцами»... Мимо! Что мне за дело до этого неинтересного человека! Потом какой-то дядя Смоль ведет странные разговоры с племянником в лавке морских принадлежностей. Вот, наконец... старуха похищает девочку, дочь купца. Но и тут всё дело ограничивается тем, что нищенка снимает с нее платье и заменяет лохмотьями. Она приходит домой, ее поят тепленьким и укладывают в постель. Жалкое и неинтересное приключение, к которому я отнесся очень пренебрежительно: такие ли приключения бывают на свете! Книга внушила мне решительное предубеждение, и я не пользовался случаями, когда брат оставлял ее.

Но вот однажды я увидел, что брат, читая, расхохотался, как сумасшедший, и потом часто откидывался, смеясь, на спинку раскачиваемого стула. Когда к нему пришли товарищи, я завладел книгой, чтоб узнать, что же такого смешного могло случиться с этим купцом, торговавшим кожами.

Некоторое время я бродил ощупью по книге, натыкаясь, точно на улице, на целые вереницы персонажей, на их разговоры, но еще не схватывая главного: струи диккенсовского юмора. Передо мною промелькнула фигурка маленького Павла, его сестры Флоренсы, дяди Смоля, капитана Тудля с железным крючком вместо руки. Нет, всё еще неинтересно... Тутс с его любовью к жилетам... Дурак... Стоило ли описывать такого болвана?..

Но вот, перелистав смерть Павла (я не любил описания смертей вообще), я вдруг остановил свой стремительный бег по страницам и застыл, точно заколдованный:

«— Завтра поутру, мисс Флой, папа уезжает...

— Вы не знаете, Сусанна, куда он едет? — спросила Флоренса, опустив глаза в землю».

Читатель, вероятно, помнит дальше. Флоренса тоскует о смерти брата. Мистер Домби тоскует о сыне... Мокрая ночь. Мелкий дождь печально дребезжал в заплаканные окна. Зловещий ветер пронзительно дул и стонал вокруг дома, как будто ночная тоска обуяла его. Флоренса сидела одна

в своей траурной спальне и заливалась слезами. На часах башни пробило полночь...

Я не знаю, как это случилось, но только с первых строк этой картины вся она встала передо мной, как живая, бросая яркий свет на всё, прочитанное урывками до тех пор.

Я вдруг живо почувствовал и смерть незнакомого мальчика, и эту ночь, и эту тоску одиночества, и мрак, и уединение в этом месте, обвеянном грустью недавней смерти... И тоскливое падение дождевых капель, и стон, и завывание ветра, и болезненную дрожь чахоточных деревьев... И страшную тоску одиночества бедной девочки, и сурового отца. И ее любовь к этому сухому, жесткому человеку, и его страшное равнодушие...

Дверь в кабинет отворена... не более чем на ширину волоса, но всё же отворена... а всегда он запирался. Дочь с замирающим сердцем подходит к щели. В глубине мерцает лампа, бросающая тусклый свет на окружающие предметы. Девочка стоит у двери. Войти или не войти? Она тихонько отходит, Но луч света, падающий тонкой нитью на мраморный пол, светил для нее лучом небесной надежды. Она вернулась, почти не зная, что делает, ухватилась руками за половинки приотворенной двери и... вошла.

Мой брат зачем-то вернулся в комнату, и я едва успел выйти до его прихода. Я остановился и ждал. Возьмет книгу? И я не узнаю сейчас, что будет дальше. Что сделает этот суровый человек с бедной девочкой, которая идет вымаливать у него капли отцовской любви? Оттолкнет? Нет, не может быть. Сердце у меня билось болезненно и сильно. Да, не может быть. Нет на свете таких жестоких людей. Наконец, ведь это же зависит от автора, и он не решится оттолкнуть бедную девочку опять в одиночество этой жуткой, страшной ночи... Я чувствовал страшную потребность, чтобы она встретила, наконец, любовь и ласку. Было бы так хорошо... А если?..

Брат выбежал в шапке, и вскоре вся его компания прошла по двору. Они шли куда-то, вероятно, надолго. Я кинулся опять в комнату и схватил книгу.

«...Ее отец сидел за столом в углублении кабинета и приводил в порядок бумаги... Пронзительный ветер завывал вокруг дома... Но ничего не слыхал мистер Домби. Он сидел, погруженный в свою думу, и дума эта была тяжелее, чем легкая поступь робкой девушки. Однако лицо его обратилось на нее, суровое, мрачное лицо, которому догорающая

лампа сообщила какой-то дикий отпечаток. Угрюмый взгляд его принял вопросительное выражение.

— Папа! Папа! Поговори со мной...

Он вздрогнул и быстро вскочил со стула.

— Что тебе надо? Зачем ты пришла сюда?..

Флоренса видела: он знал — зачем? Яркими буквами пламенела его мысль на диком лице... Жгучей стрелой впилась она в отверженную грудь и вырвала из нее протяжный, замирающий крик страшного отчаяния.

Да припомнит это мистер Домби в грядущие годы. Крик его дочери исчез и замер в воздухе, но не исчезнет и не замрет в тайниках его души. Да припомнит это мистер Домби в грядущие годы!..»

Я стоял с книгой в руках, ошеломленный и потрясенный и этим замирающим криком девушки и вспышкой гнева и отчаяния самого автора... Зачем же, зачем он написал это?.. Такое ужасное и такое жестокое. Ведь он мог написать иначе... Но нет. Я почувствовал, что он не мог, что было именно так, и он только видит этот ужас, и сам так же потрясен, как и я... И вот, к замирающему крику бедной одинокой девочки присоединяется отчаяние, боль и гнев его собственного сердца...

И я повторял за ним с ненавистью и жаждой мщения: да, да, да! Он припомнит, непременно, непременно припомнит это в грядущие годы!..

Эта картина сразу осветила для меня, точно молния, все обрывки, так безразлично мелькавшие при поверхностном чтении. Я с грустью вспомнил, что пропустил столько времени... Теперь я решил использовать остальное: я жадно читал еще часа два, уже не отрываясь до прихода брата... Познакомился с милой Полли, кормилицей, ласкавшей бедную Флоренсу, с больным мальчиком, спрашивавшим на берегу, о чем говорит море, с его ранней больной детской мудростью... И даже влюбленный Тутс показался мне уже не таким болваном... Чувствуя, что скоро вернется брат, я нервно глотал страницу за страницей, знакомясь ближе с друзьями и врагами Флоренсы... И на заднем фоне всё время стояла фигура мистера Домби, уже значительная потому, что обреченная ужасному наказанию. Завтра на дороге я прочту о том, как он, наконец, «вспомнит в грядущие годы»... Вспомнит, но, конечно, будет поздно... Так и надо!..

Брат ночью дочитывал роман, и я слышал опять, как он то хохотал, то в порыве гнева ударял по столу кулаком...

3

Наутро он мне сказал:

— На вот, снеси. Да смотри у меня: недолго.

— Слушай, — решился я спросить, — над чем ты так смеялся вчера?..

— Ты еще глуп и всё равно не поймешь... Ты не знаешь, что такое юмор... Впрочем, прочти вот тут... Мистер Тутс объясняется с Флоренсой и то и дело погружается в кладезь молчания...

И он опять захохотал заразительно и звонко.

— Ну, иди. Я знаю: ты читаешь на улицах, и евреи называют тебя уже мешигинер.[1] Притом же тебе еще рано читать романы. Ну, да этот, если поймешь, можно. Только всё-таки смотри, не ходи долго. Через полчаса быть здесь! Смотри, я записываю время...

Брат был для меня большой авторитет, но всё же я знал твердо, что не вернусь ни через полчаса, ни через час. Я не предвидел только, что в первый раз в жизни устрою нечто вроде публичного скандала...

Привычным шагом, но медленнее обыкновенного, отправился я вдоль улицы, весь погруженный в чтение, но тем не менее искусно лавируя по привычке среди встречных. Я останавливался на углах, садился на скамейки, где они были у ворот, машинально подымался и опять брел дальше, уткнувшись в книгу. Мне уже трудно было попрежнему следить только за действием по одной ниточке, не оглядываясь по сторонам и не останавливаясь на второстепенных лицах. Всё стало необыкновенно интересно, каждое лицо зажило своею жизнью, каждое движение, слово, жест врезывались в память. Я невольно захохотал, когда мудрый капитан Бенсби при посещении его корабля изящной Флоренсой спрашивает у капитана Тутля: «Товарищ, чего хотела бы хлебнуть эта дама?» Потом разыскал объяснение влюбленного Тутса, выпаливающего залпом: «Здравствуйте, мисс Домби, здравствуйте! Как ваше здоровье, мисс Домби? Я здоров, слава богу, мисс Домби, а как ваше здоровье?..»

После этого, как известно, юный джентльмен сделал веселую гримасу, но, находя, что радоваться нечему, испустил глубокий вздох, а рассудив, что печалиться не следовало, сделал опять веселую гримасу и, наконец, опустился в кла-

---

[1] Мешигинер (евр.) — сумасшедший.

дезь молчания, на самое дно... Я, как и брат, расхохотался над бедным Тутсом, обратив на себя внимание прохожих. Оказалось, что провидение, руководству которого я вручал свои беспечные шаги на довольно людных улицах, привело меня почти к концу пути. Впереди виднелась Киевская улица, где была библиотека. А я в увлечении отдельными сценами еще далеко не дошел до тех «грядущих годов», когда мистер Домби должен вспомнить свою жестокость к дочери...

Вероятно, еще и теперь, недалеко от Киевской улицы в Житомире стоит церковь св. Пантелеймона (кажется, так). В то время между каким-то выступом этой церкви и соседним домом было углубление вроде ниши. Увидя этот затишный уголок, я зашел туда, прислонился к стене и... время побежало над моей головой. Я не замечал уже ни уличного грохота, ни тихого полета минут. Как зачарованный, я глотал сцену за сценой, без надежды дочитать сплошь до конца и не в силах оторваться. В церкви ударили к вечерне. Прохожие порой останавливались и с удивлением смотрели на меня в моем убежище... Их фигуры досадливыми неопределенными пятнами рисовались в поле моего зрения, напоминая об улице. Молодые евреи — народ живой, юркий и насмешливый — кидали иронические замечания и о чем-то назойливо спрашивали. Одни проходили, другие останавливались. Кучка росла.

Один раз я вздрогнул. Мне показалось, что прошел брат торопливой походкой и размахивая тросточкой... «Не может быть», — утешил я себя, но всё-таки стал быстрее перелистывать страницы. Вторая женитьба мистера Домби... Гордая Эдифь...

Она любит Флоренсу и презирает мистера Домби. Вот, вот, сейчас начнется... «Да, вспомнит мистер Домби...»

Но тут же очарование было неожиданно прервано: брат, успевший сходить в библиотеку и возвращавшийся оттуда в недоумении, не найдя меня, обратил внимание на кучку еврейской молодежи, столпившейся около моего убежища. Еще не зная предмета их любопытства, он протолкался сквозь них и... Брат был вспыльчив и считал нарушенными свои привилегии. Поэтому он быстро вошел в мой приют и схватил книгу. Инстинктивно я старался удержать ее, не выпуская из рук и не отрывая глаз. Зрители шумно ликовали, оглашая улицу хохотом и криками...

— Дурак! Сейчас закроют библиотеку! — крикнул брат

и, выдернув книгу, побежал по улице. Я в смущении и со стыдом последовал за ним, еще весь во власти прочитанного, провожаемый гурьбой еврейских мальчишек. На последних, торопливо переброшенных страницах передо мной мелькнула идиллическая картина: Флоренса замужем. У нее мальчик и девочка, и... какой-то седой старик гуляет с детьми и смотрит на внучку с нежностью и печалью...

— Неужели... они помирились? — спросил я у брата, которого встретил на обратном пути из библиотеки, довольного, что еще успел взять новый роман и, значит, не остался без чтения в праздничный день. Он был отходчив и уже только смеялся надо мной.

— Теперь ты уже окончательно мешигинер... Приобрел прочную известность. Ты спрашиваешь: простила ли Флоренса? Да, да. Простила. У Диккенса всегда кончается торжеством добродетели и примирением.

Диккенс... Детство неблагодарно· я не смотрел фамилии авторов книг, которые доставляли мне удовольствие, но эта фамилия, такая серебристо-звонкая и приятная, сразу запала мне в память.

Так вот как я впервые, — можно сказать на ходу, — познакомился с Диккенсом.

ОТЪЕЗД

После восстания пошла тяжелая полоса «обрусения», с доносами, арестами, судами уже не над повстанцами, а над «подозрительными», с конфискациями имений. Сыновья Рыхлинского были высланы в Сибирь. Старики ездили в Киев и видели сыновей в последний раз перед отправлением.

Однажды, в именины старого Рыхлинского, его родственники и знакомые устроили торжество, во время которого хор из пансионеров спел под руководством одного из учителей сочиненную на этот случай кантату.[1] Она кончалась словами:

Ведь есть на небе великий бог:
Сынов увидишь у своих ног...

Старик, глубоко растроганный, плакал, но в это время юморист дядя Петр печально покачал головой и ответил горькой шуткой:

---

[1] Кантата — большое стихотворное произведение, предназначенное для исполнения в сопровождении музыки и хора.

— Да у него и ног-то нет.

Короткая фраза упала среди наступившей тишины с какой-то грубою резкостью. Все были возмущены цинизмом Петра, но он оказался пророком. Вскоре пришло печальное известие: старший из сыновей умер от раны на одном из этапов, а еще через некоторое время кто-то из соперников сделал донос на самый пансион. Началось расследование, и лучшее из училищ, какое я знал в своей жизни, было закрыто. Старики ликвидировали любимое дело и уехали из города.

Вскоре пришлось уехать и нам.

В городе Дубно нашей губернии был убит уездный судья. Это был поляк, принявший православие, человек от природы желчный и злой. Положение меж двух огней озлобило его еще больше, и его имя приобрело мрачную известность. Однажды, когда он возвращался из суда, поляк Бобрик окликнул его сзади. Судья оглянулся, и в то же мгновение Бобрик свалил его ударом палки с наконечником в виде топорика.

Этот случай произвел у нас впечатление гораздо более сильное, чем покушение на царя. То была какая-то далекая отвлеченность в столице, а здесь событие в нашем собственном мире. Очень много говорили и о жертве, и об убийце. Бобрик представлялся или героем, или сумасшедшим. На суде он держал себя шутливо, перед казнью попросил позволения выкурить папиросу.

Чтобы несколько успокоить вызванное этим убийством волнение, высшая администрация решила послать на место убитого судьи человека, пользующегося общим уважением и умеренного. Выбор пал на моего отца.

Он наскоро собрался и уехал. На каникулы мы ездили к нему, но затем вернулись опять в Житомир, так как в Дубно не было гимназии. Ввиду этого отец через несколько месяцев попросил перевода и был назначен в уездный город Ровно. Там он заболел, и мать с сестрой уехали к нему.

Мы остались и прожили около полугода под надзором бабушки и теток. Новой «власти» мы как-то сразу не подчинились, и жизнь пошла кое-как. У меня были превосходные способности, и, совсем перестав учиться, я схватывал предметы на лету, в классе, на переменах и получал отличные отметки. Свободное время мы с братьями отдавали бродяжеству: уходя веселой компанией за реку, бродили по горам, покрытым орешником, купались под мельничными

шлюзами, делали набеги на баштаны и огороды, а домой возвращались позднею ночью.

Вследствие этого, выдержав по всем предметам, я решительно срезался на математике и остался на второй год в том же классе. В это время был решен наш переезд к отцу, в Ровно.

В середине июня огромная семейная колымага, носившая у нас название «коч-кареты», стояла перед нашим крыльцом, нагруженная доверху. Привели почтовых лошадей. Ямщик в низкой шляпе с медным орлом и с бляхой на левой руке взгромоздился на козлы. Замелькали знакомые улицы, лавочки, костелы, остов «старой фигуры», когда-то разбитой громом, дома Коляновских... Знакомый мир, который, сам не знаю почему, стал мне постылым и ненавистным. Душа рвалась навстречу новому, неизведанному. Въехав на косогор, у русского кладбища, ямщик остановился и отвязал колокольчик. Я со страстным нетерпением ждал, чтобы он поскорее опять влез на свое место. Мне казалось, что оттуда, сзади, придет еще что-то и остановит нас. И действительно, кто-то бежал по старой Вильской улице и махал белым свертком. Сердце у меня замерло, но это оказалась только забытая картонка. Колымага тряхнулась и поплыла вниз с косогора.

Лачуги, заборы, землянки. Убогая лавочка, где когда-то Крыштанович на сомнительные деньги покупал булки. Шоссе с пешеходами, возами, балагулами, странниками... гулкий мост. Речка, где мы купались с моим приятелем. Врангелевская роща. Ощущение особенной приятной боли мелькнуло в душе. Как будто отрывалась и уплывала назад в первый еще раз так резко отграниченная полоска жизни.

Мост исчез, исчезли позади и сосны Врангелевки, последние грани того мирка, в котором я жил до сих пор. Впереди развертывался простор, неведомый и заманчивый. Солнце было еще высоко, когда мы подъехали к первой станции, палевому зданию с красной крышей и готической архитектурой.

Перепрягли лошадей, прописали подорожную [1] (с этим мать посылала меня, чем я очень гордился), и я опять полез на козлы...

---

[1] Подорожная. — Встарину, когда в России не было еще железных дорог, ездили обычно на лошадях от одной почтовой станции до другой. Совершающий переезд человек должен был иметь особый документ — «подорожную». По этому документу ему меняли лошадей.

Опять дорога, ленивое позванивание колокольчика, белая лента шоссе с шуршащим под колесами свежим щебнем, гулкие деревянные мосты, протяжный звон телеграфа... Опять станция, точь-в-точь похожая на первую, потом синие сумерки, потом звездная ночь и фосфорические облака, как будто налитые лунным светом... Мать стучит в оконце за козлами, ямщик сдерживает лошадей. Мать спрашивает, не холодно ли мне, не сплю ли я, и как бы я не свалился с козел.

Мне кажется, что я не спал, но всё-таки место, где мы стоим, для меня неожиданно ново: невдалеке впереди мостик из свежих бревен, под ним темная речка, по сторонам лес, и верхушки дерев сонно качаются в синеве ночного неба...

Я весь переполнен радостью новизны, ожиданий... И, однако, под гул телеграфной проволоки, оттуда, сзади, где осталось это постылое прошлое, что-то как будто тянется ко мне по этой дороге, какая-то смутная быль дразнит, ласкает и манит своими воспоминаниями. Вспоминается вечер с красным закатом, «щось буде», толки о чем-то неведомом, такой же гул телеграфа, кучка людей у столбов... Пансион... Как давно это было, и какой я был тогда глупый!.. И насколько я теперь умнее того мальчишки, который припадал ухом к телеграфным столбам или гордился... чем же? Званием малыша-пансионера... А вот теперь я уже «старый гимназист» и еду в новые места на какую-то новую жизнь.

В детской жизни бывают минуты, когда сознание как будто оглядывается на пройденный путь, ловит и отмечает собственный рост. Одну из таких минут я вновь пережил в эту ночь под веяние ветра и его звон в проволоках, смутный, но как будто осмысленный... Точно смешанные голоса переговариваются среди ночи о чем-то, в том числе обо мне с моим прошлым. И я с удивлением замечаю, что в этом прошлом вместе с определенными картинами, такими простыми, такими обыденными и прозаическими, когда они происходили, в душе встает неизвестно откуда сознание, что это было хорошо и прекрасно. Я удивляюсь: отчего же не было этого ощущения тогда, когда всё это было настоящим. Было ли мне тогда так же хорошо? Может быть было, но не так... Того, что я теперь чувствую рядом со всеми этими картинами, того особенного, того печально-приятного, того, что ушло, того, что уже не повторится, того, что делает те впечатления такими незаурядными, единственными, так странно

и на свой лад прекрасными, — того тогда не было... Откуда же, — если тогда его не было, — оно берется теперь?..

На рассвете, не помню уже где именно, — в Новгород-Волынске или местечке Корце — мы проехали на самой заре мимо развалин давно закрытого базилианского монастыря-школы... Предутренний туман застилал низы длинного здания, а вверху резко чернели ряды пустых окон... Мое воображение населяло их десятками детских голов, и среди них знакомое, серьезное лицо Фомы из Сандомира, героя первой прочитанной мною повести...

И я опять чувствую, что Фома теперь кажется мне тоже другим... Он тот же, которого я полюбил тогда, вглядываясь в его образ сквозь трудные строки плохо еще разбираемой грамоты, — но теперь и он обвеян странным прибавочным ощущением...

А впереди всё-таки — что-то новое, еще более прекрасное и еще более манящее...

— Скоро ли? Скоро ли? — то и дело спрашиваю я у ямщиков...





В УЕЗДНОМ ГОРОДЕ. — УЧЕНИЧЕСКИЕ ГОДЫ

УЕЗДНЫЙ ГОРОД РОВНО

Еще день и опять утро. Скоро ли?

Ямщик указывает кнутовищем вперед и говорит:

— Вон там за пригорком город. А это вот грабник. По праздникам сюда ходят гулять...

Впереди виднелась роща, а из-за нее выглядывала красная крыша казенного здания. Город залег в широкой котловине, и только туманное или дымное облачко подымалось снизу. Здание с красною крышей оказалось тюрьмой. Когда мы поравнялись с ней, из окон второго этажа на нас глядели зеленовато-бледные, угрюмые лица арестантов, державшихся руками за железные решетки. Мне часто вспоминалась эта картина из моего детства впоследствии, когда и сам я, уже взрослым, смотрел из-за таких же решеток на вольную дорогу... И один раз на козлах такой же семейной колымаги сидел такой же мальчик и смотрел на меня с таким же жутким чувством жалости, сострадания, невольного осуждения и страха...

Тюрьма стояла на самом перевале, и от нее уже был виден город — крыши домов, улицы, сады и широкие, сверкающие пятна прудов. Грузная коляска покатилась быстрее и остановилась у полосатой заставы шлагбаума. Инвалидный

солдат подошел к дверцам, взял у матери подорожную и унес ее в маленький домик, стоявший на левой стороне у самой дороги. Оттуда вышел тотчас же высокий господин, «команду на заставе имеющий», в путейском мундире и с длинными офицерскими усами. Вежливо поклонившись матери, он сказал:

— Господин судья ожидает! — И затем, повернувшись, скомандовал инвалиду: — Подвысь!

Полосатое бревно шлагбаума заскрипело в гнезде, и тонкий конец его ушел высоко кверху. Ямщик тронул лошадей, и мы въехали в черту уездного города Ровно.

Эти «заставы» составляли в то время характерную особенность шоссейных дорог, а характерную особенность самих застав составляли шоссейные инвалиды николаевской службы, доживавшие здесь свои более или менее злополучные дни.

Характерными чертами инвалидов являлись: вечно дремотное состояние и ленивая неповоротливость движений, отмеченная еще Пушкиным в известном стихотворении, в котором поэт гадает о том, какой конец пошлет ему судьба:

Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид...

Команда этих путейских инвалидов представляла сословие, необыкновенно расположенное к философскому покою и созерцательной жизни. И теперь, когда в моей памяти оживает город Ровно, то неизменно, как бы в преддверии всех других впечатлений, вспоминаются мне пестрое бревно шлагбаума и фигура инвалида в запыленном и выцветшем сюртуке николаевских времен. Инвалид непременно сидит на обрубке у шлагбаума, со спиной, точно прилипшей к полосатому столбу. На голове у него тоже порыжелый и выцветший картуз с толстым козырем, рот раскрыт, и в него лезут назойливые дорожные мухи. Впоследствии нам доставляло удовольствие из-за столба щекотать спящему соломинками шею, а более смелые шалуны совали соломинки даже в ноздри бедного севастопольского героя. Инвалид отмахивался, чихал, иной раз вскакивал и испуганно озирался к тюрьме, в ту сторону, откуда мог появиться, стоя в кибитке и размахивая казенным листом, какой-нибудь стремитель-

ный «курьер», перед которым надо подымать шлагбаум без задержки. Но видя только пыльную ленту шоссе, страж заставы опять садился и мирно засыпал.

И было в этой дремотной фигуре что-то символическое — точно прообраз мирного жития провинциального городишка.

Но в то время эта фигура не имела еще для меня символического значения, и я жадными глазами ловил то «новое», что открывалось за «подвышенным» полосатым бревном. «Новое», впрочем, было не особенно представительно. Лачуги, пустыри, заборы, устья двух-трех узеньких переулочков, потом двухэтажное каменное здание казначейства... Перед ним на площади — каменная колонна со статуей богородицы. Кругом заезжие дворы с широкими воротами, откуда на нас устремились несколько факторов-мишуресов.[1] Потом речка и деревянный мост. Речка и мост в самом центре города привели меня в восхищение.

Перед самым мостом ямщик круто повернул лошадей. наша «карета» качнулась, заскрипела, остановилась, как будто в раздумье, в покосившихся воротах и поплыла вниз по двору, поросшему зеленой муравкой. На этом дворе было в беспорядке разбросано несколько зданий. На одном была надпись: «Ровенский уездный суд». На другом, как-то нелепо выдвинувшемся из ряда, было написано: «Архив». На третьем, стоявшем в глубине двора, никакой надписи не было. Это и была наша новая квартира, расположенная на мысу, между прудом и речкой. В раскрытую калитку была видна вода, подходившая к самому огороду, и деревянная кладочка с привязанной у нее лодкой. С моста на наш приезд глазели кучки обывателей, которым была отлично видна внутренность низко расположенной усадьбы и для которых приезд семьи «господина судьи» составлял выдающееся событие.

Несколько больших прудов, соединенных тихими речушками, залегали в широкой ложбине, и городок расположен был по их берегам. Наша усадьба была на стороне городской. Напротив, на острове, по преданию, насыпанном искусственно пленными турками, стоял полуразвалившийся дворец князей Любомирских, в старопольском полуготическом стиле. Он был окружен высокими пирамидальными топо-

---

[1] Фактор-мишурес — мелкий делец, исполнитель частных поручений, посредник.

лями и имел чудесный вид живописной древности. На левой стороне пруда — беленькое, веселое, с портиком и колонками — стояло двухэтажное просторное здание гимназии. И угрюмый «замок» и светлая колоннада гимназии, точно в зеркале, отражались в воде. Вдали, под другим берегом, отчетливо рисуясь на синеве и зелени, плавали лебеди, которых я тогда видел в первый раз. Они оставляли за собой длинные светлые полоски, долго потом стоявшие на сонной неподвижной глади.

Каждая новая местность имеет как бы собственную физиономию и откладывает в душе какое-то общее, смутное, он свое собственное впечатление, на которое ложатся все подробности. Всё, что я видел теперь, показалось мне чем-то волшебным. Да, это действительно какая-то новая, неведомая страница жизни. И вместе... вероятно, от старого замка, странное ощущение истомы, дремоты, грезы о прошлом, минувшем, исчезнувшем навеки, кидало свою тень на это молодое ожидание чудес. Пруд лежал как мертвый, и в нем отражался мертвый «замок» с пустыми впадинами окон, окруженный, точно заснувшей стражей, высокими рядами пирамидальных тополей. Вода зацветала, покрывалась у берегов зеленою ряской, зарастала татарником и камышами. Неподвижная поверхность сверкала зноем и дышала на городок плесенью и лихорадками. И всё было так родственно с пустырями, с дремотною фигурой инвалида у шлагбаума, с пустыми окнами старого замка...

В один из первых вечеров, когда мы сидели в столовой за чаем, со стороны пруда послышался странный гул.

— Это шумят тополи около старого замка, — сказала мать.

Протяжный, глубокий, немного зловещий шум несся над городишком, точно важный голос, рассказывавший о бурном прошлом тихому и ничтожному настоящему, погруженному в серые будни.

Теперь я люблю воспоминание об этом городишке, как любят порой память старого врага. Но, боже мой, как я возненавидел к концу своего пребывания эту затягивающую, как прудовой ил, лишенную живых впечатлений будничную жизнь, высасывающую энергию, гасившую порывы юного ума своей безответностью на все живые запросы, погружавшую воображение в бесплодно-романтическое ленивое созерцание мертвого прошлого!

«УЕЗДНЫЙ СУД», ЕГО НРАВЫ И ТИПЫ

Были каникулы. Гимназия еще стояла пустая, гимназисты не начинали съезжаться. У отца знакомых было немного, и потому наши знакомства на первое время ограничились соседями-чиновниками помещавшегося тут же во дворе уездного суда. Первым из этих знакомых был архивариус, пан Крыжановский.

Он встретил нас в самый день приезда и, сняв меня, как перышко, с козел, галантно помог матери выйти из коляски. При этом на меня пахнуло от этого огромного человека запахом перегара, и мать, которая уже знала его раньше, укоризненно покачала головой. Незнакомец стыдливо скосил глаза, и при этом я невольно заметил, что горбатый сизый нос его свернут совершенно «набекрень», а глаза как-то уныло-тусклы.

Мы с ним быстро сошлись. В свободное время он ходил с нами гулять, показывал достопримечательности города, учил управлять лодкой. Мы узнали, частью от него самого, частью от других, что когда-то он был богатым помещиком и в город приезжал на отличной четверке. Говорили затем, будто у него жена убежала с офицером (тогда что-то многие жены убегали с офицерами), после чего он сильно закутил и пропил всё имение; или наоборот: сначала он прокутил всё имение, а потом жена убежала с офицером. Как бы то ни было, он теперь служил архивариусом, получал восемь рублей в месяц, ходил в засаленном костюме, вид имел не то высокомерный, не то унылый и в общем — сильно потертый. Зато он никогда не унижался до дешевой помады и томпаковых[1] цепочек, которые другие «чиновники» носили на виду без всякой надобности, так как часов по большей части в карманах не было.

Жил настоящим философом и даже особую квартиру считал излишней роскошью, помещаясь в тесном здании архива. Связки дел на полках этого учреждения приятно разнообразились принадлежностями незатейливого костюма, бутылями из-под водки и «вещественными доказательствами». Тут были изломанные замки, краденый самовар, топор с ржавыми пятнами крови на лезвии, узлы с носильным платьем, большие болотные сапоги и две охотничьи двустволки. Хотя на всех этих предметах болтались ярлыки с

---

[1] Томпаковых — латунных, из сплава меди с цинком.

номерами и сургучными печатями, но пан Крыжановский обращался с ними довольно свободно: самовар сторож ставил для архивариуса, когда у него являлось желание напиться чаю (что, впрочем, случалось не ежедневно), а с двустволками пан Крыжановский нередко отправлялся на охоту, надевая при этом болотные сапоги и соединяя, таким образом, для одного употребления вещественные доказательства из различных дел.

Однажды кто-то из служебных врагов Крыжановского поднял было по этому поводу гнусную кляузу, но Крыжановский заблаговременно предупредил ее последствия: самовар он за собственный счет вылудил, к одной двустволке приделал новый курок, а на сапоги судейский сторож накинул иждивением архивариуса подметки. «Хоть это и стоило денег», — как с торжеством говорил сам Крыжановский, — зато ядовитый донос потерял силу. Работал он нервно, порывами: то целыми днями слонялся где-то со своей тоской, то внезапно принимался за приведение дел в порядок. В таких случаях он брал с собой бутыль водки и запирался в архиве. В маленьком решетчатом оконце архива поздно ночью светился огонь. Крыжановский сшивал, подшивал, припечатывал, заносил в ведомости и пил, пока в одно прекрасное утро дела оказывались подшитыми, бутыль пуста, а архивариус лежал на полу и храпел, раскинув руки и ноги.

Вскоре после нашего приезда, двадцатого числа, Крыжановский попросил у матери позволения взять нас с собой на прогулку.

— Пане Крыжановский?.. — сказала мать полувопросительно, полустрого.

— Ах, пани сендзина (госпожа судейша), — сказал он, целуя у нее руку. — Неужели и вы... считаете меня совсем пропащим?

Мать согласилась, и мы отправились. Крыжановский водил нас по городу, угощал конфетами и яблоками; и всё шло превосходно, пока он не остановился в раздумье у какой-то невзрачной хибарки. Постояв так в нерешимости, он сказал: «Ничего — я сейчас» — и быстро нырнул в низкую дверь. Оттуда он вышел слегка изменившимся, весело подмигнул нам и сказал:

— Матери говорить не надо. — И вздохнув, прибавил: — Святая женщина!

Увы! За первой остановкой последовала вторая, за ней третья, и, пока мы дошли до центра города, пан Крыжановский стал совершенно неузнаваем. Глаза его гордо сверкали, уныние исчезло, но, — что уже было совсем плохо, — он стал задирать прохожих, оскорблять женщин. Около нас стала собираться толпа. К счастью, это было уже близко от дома, и мы поспешили ретироваться [1] во двор.

После этого пан Крыжановский исчез, не являлся на службу, и об его существовании мы узнавали только из ежедневных донесений отцовского лакея Захара. Сведения были малоутешительные. В один день Крыжановский смешал на биллиарде шары у игравшей компании, после чего «вышел большой шум». На другой день он подрался с будочниками. На третий — ворвался в компанию чиновников и нанес пощечину столоначальнику Венцелю.

Отец страшно рассердился, упрекал мать, что она покровительствует этому висельнику, и потребовал, чтобы Крыжановского доставили ему живого или мертвого. Но об архивариусе не было ни слуху, ни духу.

На третий или на четвертый день мы с братом и сестрой были в саду, когда Крыжановский неожиданно перемахнул своими длинными ногами через забор со стороны пруда и, присев в высокой траве и бурьянах, поманил нас к себе. Вид у него был унылый и несчастный, лицо помятое, глаза совсем мутные, нос еще более покривился и даже как будто обвис.

— Тссс... — сказал он, косясь на терраску нашей квартиры, выходившую в сад. — Что, как пан судья? Очень сердит?..

— Сердит, — ответили мы.

— А пани сендзина?..

Мы не могли скрывать, что даже мать не смеет ничего сказать в его защиту.

— Святая женщина! — сказал Крыжановский, смахивая слезу. — Подите, мои милые друзья, спросите у нее, можно ли мне явиться сегодня или еще обождать?

Мы принесли ответ, что ему лучше не являться, и архивариус опять тем же путем перемахнул через забор, — как раз во-время, так как вслед за тем отец появился на террасе.

Прошло еще два дня. Было воскресенье. Отец в благодушном настроении, надев халат, ходил взад и вперед по

---

[1] Ретироваться (франц.) — отступить.

гостиной. Когда он, повернув к двери, пошел в противоположный угол, из сеней вдруг вынырнула длинная фигура архивариуса. Сделав нам многозначительный знак, он неслышно переступил порог и застыл у косяка. Но едва отец, прихрамывая и опираясь на палку, дошел до конца комнаты, архивариус так же неслышно исчез опять в сенях. Это повторилось несколько раз. Наконец, приняв окончательное решение, он перекрестился, опять выступил из-за стены, прислонился, точно прилип спиной к косяку, и застыл в этой позе.

Отец повернулся и увидел преступника. У него в Дубно был легкий удар, и мать очень боялась повторений. Теперь, при неожиданном появлении виновного архивариуса, лицо, лоб, даже затылок у отца залило краской, палка у него в руке задрожала. Крыжановский, жалкий, как провинившаяся собака, подошел к судье и наклонился к его руке. Отец схватил нагнувшегося великана за волосы... Затем произошла странная сцена: судья своей слабой рукой таскал архивариуса за жесткий вихор, то наклоняя его голову, то поднимая кверху. Крыжановский старался только облегчить ему эту работу, покорно водя голову за рукой. Когда голова наклонялась, архивариус целовал судью в живот; когда поднималась, он целовал в плечо и всё время приговаривал голосом, в который старался вложить как можно больше убедительности:

— А! пан судья... А! ей-богу!.. Ну, стоит ли? Это может повредить вашему здоровью... Ну, будет уже, ну, довольно!

Из кухни прибежала мать и, успокаивая отца, постаралась освободить волосы Крыжановского из его руки. Когда это удалось, архивариус еще раз поцеловал отца в плечо и сказал:

— Ну, вот и всё... И слава богу... Пусть теперь пан судья успокоится. Стоит ли, ей-богу, принимать так близко к сердцу всякие там пустяки!..

— Пошел вон! — сказал отец.

Крыжановский поцеловал у матери руку, сказал: «святая женщина» — и радостно скрылся. Мы поняли как-то сразу, что всё кончено, и Крыжановский останется на службе. Действительно, на следующий день он опять, как ни в чем не бывало, работал в архиве. Огонек из решетчатого оконца светил на двор до поздней ночи.

Нравы в чиновничьей среде того времени были простые. Судейские с величайшим любопытством расспрашивали нас

о подробностях этой сцены и хохотали. Не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь считал при этом себя или Крыжановского профессионально оскорбленным. Мы тоже смеялись. Юность недостаточно чутка к скрытым драмам: однажды мы даже сочинили общими усилиями юмористическое стихотворение и подали его Крыжановскому в виде деловой бумаги. Начиналось оно словами:

Архивариус я, чиновник,
Видом, ростом молодец...

и заключало насмешливое изложение его служебных неудач и горестей. Крыжановский начал читать, но затем нервно скомкал бумагу, сунул ее в карман и, посмотрев на нас своими тускло-унылыми глазами, сказал только:

— Учат вас... балбесы...

На следующий год Крыжановский исчез. Одни говорили, что видели его, оборванного и пьяного, где-то на ярмарке в Тульчине. Другие склонны были верить легенде о каком-то якобы полученном им наследстве, призвавшем его к новой жизни.

Вообще ближайшее знакомство с «уездным судом» дало мне еще раз в усложненном виде то самое ощущение изнанки явлений, какое я испытал в раннем детстве при виде сломанного крыльца. В Житомире отец ежедневно уезжал на «службу», и эта «служба» представлялась нам всем чем-то важным, несколько таинственным, отчасти роковым (это было «царство закона») и возвышенным.

Здесь этот таинственный храм правосудия находился у нас во дворе. В его преддверии помещалась сторожка, где бравый николаевский унтер[1] в неслужебное время чинил чиновничью обувь и, кажется, торговал водкой. Из сторожки так и садило особым жилым «духом».

Впрочем, этот жилой дух, острый, щекотавший в ноздрях и царапавший в горле, не выводился и в «канцеляриях». Некоторые писцы не имели квартир и неизменно проживали в суде. В черных шкафах, кроме бумаг, хранились засаленные манишки и жилеты, тарелки с обрезками колбасы и другие неофициальные предметы. Оклады «чиновников», даже принимая во внимание дешевизну, были всё-таки изумитель-

---

[1] Унтер — унтер-офицер — лицо младшего командного состава в царской армии.

ные. Архивариус получал восемь рублей в месяц и считался счастливцем. Штатные писцы получали по три рубля, а вольнонаемные — по «пяти злотых». Здесь, очевидно, коренилось то философское отношение, с каким отец глядел на мелкое взяточничество подчиненных: без «благодарности» обывателей они должны бы буквально умирать с голоду. Некоторые из судейской молодежи, кому не помогали родственники, ютились в подвалах старого замка или же устраивались «вечными дежурными» в суде. Таким вечным дежурным был, например, некий пан Ляцковский. Получал он всего-навсего три рубля, несколько зашибал и имел наклонность к щегольству: носил грязные крахмальные манишки, а курчавые пепельные волосы густо смазывал помадой. За всеми этими потребностями денег на квартиру у него не оставалось. Таких бедняков было еще пять-шесть, и они за самую скромную плату дежурили за всех. По вечерам в опустевших канцеляриях уездного суда горел какой-нибудь сальный огарок, стояла посудинка водки, лежало на сахарной бумаге несколько огурцов, и дежурные резались до глубокой ночи в карты. По утрам святилище правосудия имело вид далеко не официальный. На нескольких столах, без постелей, врастяжку храпели «дежурные», в брюках, грязных сорочках и желтых носках. Когда пан Ляцковский, кислый, невыспавшийся и похмельный, протирал глаза и поднимался со своего служебного ложа, то на обертке «дела», которое служило ему в эту ночь изголовьем, оставалось всегда явственное жирное пятно от помады. После «двадцатого числа» в суде по вечерам становилось несколько шумно. За картами у дежурных порой возникали даже драки. Если авторитет сторожа оказывался недостаточным, то на место являлся отец, в халате, туфлях и с палкой в руке. Чиновники разбегались, летом прыгая в окна: было известно, что, вспылив, судья легко пускал в ход палку...

Одну только комнату отец ограждал от вторжения всякой партикулярной[1] распущенности. Это было присутствие с длинным столом, накрытым зеленым сукном с золотыми кистями и зерцалом[2] на столе. Никто из мелких канцеля-

---

[1] Партикулярный — частный, неофициальный.

[2] Зерцало — трехгранная призма, на сторонах которой были наклеены указы Петра I о гражданских правах и судебных порядках. Помещалось обычно на столе в присутственной комнате суда.

ристов туда не допускался, и ключ отец хранил у себя. Сам он всегда входил в это святилище с выражением торжественно-важным, как в церковь, и это давало тон остальным. За отцом так же важно в часы заседаний рассаживались подсудки, среди которых были и выборные представители сословий.

Зерцало было как бы средоточием жизни всего этого промозглого здания, наполненного жалкими несчастливцами вроде Крыжановского или Ляцковского. Когда нам в неприсутственные часы удавалось проникать в святилище уездного суда, то и мы с особой осторожностью проходили мимо зерцала. Оно казалось нам какой-то волшебной скинией. Слово, неосторожно сказанное «при зерцале», было уже не простое слово. Оно влекло за собой серьезные последствия.

Однажды, этой первой осенью после нашего приезда в город, пришло известие: едет губернатор с ревизией. В Житомире мы как-то мало слышали о губернаторе. Здесь он представлялся чем-то вроде кометы, двигающейся на трепетный мир. Забегали квартальные,[1] поднялась чистка улиц; на столбах водворяли давно побитые фонари; в суде мыли полы, подшивали и заканчивали наспех дела. Отец волновался. Дела у него были в образцовом порядке, но он чувствовал за собой две слабые стороны: жена у него была полька, и он был разбит параличом. Между тем губернию уже облетела фраза нового губернатора: «Я мастер здоровый, и мне нужны здоровые подмастерья»... В Дубно он уже уволил больного судью.

Приехал... Остановился у исправника... Был в полиции, в казначействе... Отец в новом мундире и с Владимиром[2] в петлице уходит из дому в суд. Мать на дорогу крестит его крамольным польским крестом и посылает нас наблюдать, что будет... Наш наблюдательный пункт в бурьянах на огороде, против окон «присутствия». «Самого» еще нет, но два или три хлыщеватых чиновника уже роются в делах, которые им почтительно подает секретарь. Вечереет. В «присутствии» зажигают свечи, — необыкновенно много свечей. Зерцало, начищенное мелом, изливает сияние. Торжественно

---

[1] Квартальные — полицейские, в ведении которых находилась небольшая часть города — квартал. Вели надзор за населением.

[2] Владимир. — Здесь говорится об ордене Владимира — одной из наград в царской России.

и строго... У ворот слышно тарахтение коляски. Отец и подсудки поднимаются с мест. Помощник исправника сам отворяет настежь дверь присутствия, и в ней, точно осиянная и светящаяся, как само зерцало, является бравая генеральская фигура. За нею выхоленные лица «чиновников особых поручений», а за ними в пролет двери виднеется канцелярия, неузнаваемая, вся в свету и трепете. Мы стремглав бежим к матери.

— Ну, что? — спрашивает она с тревогой.

— Вошел. Папе подал руку... Просил садиться.

Вздох облегчения.

— Ну, слава богу!.. — И мать набожно крестится.

— Слава богу, — повторяют за ней дамы, трепетной кучкой набившиеся в нашу квартиру. — Ох, что-то будет с нашими?..

Я не помню, чтобы после этой первой виденной мною «ревизии» в моем уме сколько-нибудь ясно шевелились критические вопросы: какова природа этой грозы? Почему молодые хлыщеватые щеголи из губернаторской свиты держатся так развязно, а мой отец, заслуженный и всеми уважаемый, стоит перед ними, точно ученик на экзамене? Почему этот важный генерал может беспричинно разрушить существование целой семьи, и никто не спросит у него отчета, правильно ли это сделано? Таких вопросов не существовало для меня, как и для окружающих. Царь может всё, генерал имеет силу у царя, хлыщи имеют силу у генерала. Значит, и они «могут всё». Слава богу, что не всё разрушили, не всех разогнали и кое-кого оставили в покое. Когда комета уносилась в пространство, а на месте подсчитывались результаты ее полета, то оказывалось, по большей части, что удаления, переводы, смещения постигали неожиданно, бестолково и случайно, как вихрь случайно вырвет одно дерево и оставит другое. «Сила власти» иллюстрировалась каждый раз очень ярко, но сила чисто стихийная, от которой, по самой ее природе, никто не ждал осмысленности и целесообразности. В одних семьях служили благодарственные молебны, в других плакали и строили догадки: кто донес, насплетничал, снаушничал. Сплетники и были виноваты. Они навлекли грозу...

Самая же гроза не была виновата. Ей так полагалось по законам природы. Бесправная и безответная среда только гнулась, как под налетом вихря.

ЕЩЕ ОДНА ИЗНАНКА

Каникулы подходили к концу. Мне предстоял проверочный экзамен для поступления в «Ровенскую реальную гимназию».

Это было заведение особенного переходного типа, вскоре исчезнувшего. Реформа Д. А. Толстого, разделившая средние учебные заведения на классические и реальные, еще не была закончена. В Житомире я начал изучать умеренную латынь только в третьем классе, но за мною она двигалась уже с первого. Ровенская гимназия, наоборот, превращалась в реальную. Латынь уходила, класс за классом, и третий, в который мне предстояло поступить, шел уже по «реальной программе», без латыни, с преобладанием математики.

Только уже в Ровно из разговоров старших я понял, что доступ в университет мне закрыт и что отныне математика должна стать для меня основным предметом изучения.

Во время проверочного экзамена я блестяще выдержал по всем предметам, но измучил учителя алгебры поразительным невежеством. Инспектор, в недоумении качая головой, сказал отцу, ожидавшему в приемной:

— Мы его, пожалуй, примем. Но вам лучше бы пустить его «по классической».

Это, конечно, было совершенно верно, но не имело никакого практического смысла. Мой отец, как и другие чиновники, должен был учить детей там, где служил. Выходило, что выбор дальнейшего образования предопределялся не «умственными склонностями» детей, а случайностями служебных переводов наших отцов.

Уже вследствие этой наглядной несообразности реформа Д. А. Толстого была чрезвычайно непопулярна в средних кругах, а университет тогда представлялся единственным настоящим высшим учебным заведением.

Однажды, вскоре после моего экзамена, у отца собрались на карточный вечер сослуживцы и знакомые.

Кто-то задался вопросом: как могло «правительство» допустить такую явную несообразность?

Отец выписывал «Сын отечества» и теперь сообщил в кратких чертах историю реформы: большинством голосов в Государственном совете проект Толстого был отвергнут, но «царь согласился с меньшинством».

Последовало короткое молчание. Разговор как бы уткнулся в высокую преграду.

— И всё это Катков, [1] — сказал кто-то с легким вздохом.

— Конечно, он, — прибавил другой...

— Много этот человек сделал зла России... — вздохнул третий.

Отец не поддакивал осуждавшим реформу и не говорил своего обычного «толкуй больной с подлекарем». Он только сдержанно молчал.

Через некоторое время чаепитие кончилось, и партнеры перешли в гостиную, откуда опять послышалось:

— Пас!

— Покупаю.

— Семь треф!

— Надо было ходить в ренонс.

Я вышел из накуренных комнат на балкон. Ночь была ясная и светлая. Я смотрел на пруд, залитый лунным светом, и на старый дворец на острове. Потом сел в лодку и тихо отплыл от берега на середину пруда. Мне был виден наш дом, балкон, освещенные окна, за которыми играли в карты... Определенных мыслей не помню.

Из того, что я так запомнил именно этот «карточный вечер» среди многих других, я заключаю, что я вышел тогда из накуренной комнаты с чем-то новым, смутным, но способным к росту... На вопрос, когда-то поставленный, по словам отца, «философами»: «можно ли думать без слов», я теперь ответил бы совершенно определенно: да, можно. Мысль, облеченная в точное понятие и слово, есть только надземная часть растения — стебель, листья, цветы... Но начало всего этого — под почвой: в невидимом зерне дремлют возможности стебля, цветка и листьев. Их еще нет, над ними еще колышутся другие листья и стебли, а между тем — там уже всё готово для нового растения.

Такие ростки я, должно быть, вынес в ту минуту из беззаботных, бесцельных и совершенно благонамеренных разговоров «старших» о непопулярной реформе. Перед моими глазами были лунный вечер, сонный пруд, старый замок и высокие тополи. В голове, может быть, копошились какие-нибудь пустые мыслишки насчет завтрашнего дня и начала уроков, но они не оставили никакого следа. А под ними

[1] Катков — журналист, вдохновитель самой черной реакции. Короленко называл его «олицетворением всего худшего», доносчиком «на всякое свободное и честное слово».

прокладывали себе дорогу новые понятия о царе и верховной власти.

Есть на свете солнце, месяц, звезды, грозовые тучи, царь, закон... Всё это есть, и всё это действует так или иначе *не почему-нибудь*, а просто потому, что есть и что действует... Роптать на небесный гром — глупо и бесцельно. Так же глупо роптать на царя. Тут нет вопроса: «почему так, а не иначе»... Глупая козявка и уносящий ее водяной поток, «старая фигура» у дома Коляновских и разбившая ее громовая стрела, наконец, неразумный больной и всезнающий могущественный подлекарь... Все эти взаимные отношения есть не почему-нибудь, а просто *есть, были и будут* от века и до века...

Таково было устойчивое, цельное, простое мировоззрение моего отца, которое незаметно просочилось и в мою душу. По моему мнению, только такое мировоззрение есть истинная основа абсолютизма «волей божиею», и до тех пор, пока совсем еще неприкосновенно это воззрение, — сильна абсолютная власть. До этого вечера я и был во власти такой цельности. Стихийность, незыблемость, недоступность для какой бы то ни было критики распространялась сверху, от царя, очень широко, вплоть до генерал-губернатора, даже, пожалуй, до губернатора... Всё это сияло, как фигура Черткова[1] на пороге объятого трепетом уездного присутствия, всё это гремело, благодетельствовало или ввергало в отчаяние не почему-нибудь и не на каком-нибудь основании, а просто так... без причины, высшею, безотчетною волей, с которой *нельзя* спорить, о которой не приходится даже и рассуждать.

Теперь невинный разговор старших шевельнул что-то в этой цельности: моя личная судьба определена заранее — университет для меня и тысячей моих сверстников закрыт. Это я чувствую, *как зло*, и все признают это злом. Это бы еще ничего. Но... этого *могло не быть*. Какое-то большинство в каком-то Государственном совете этот проект осудило. Царь *мог* согласиться с большинством... тогда было бы хорошо. Но он почему-то согласился с меньшинством... Вышла всеми признаваемая несообразность, которой *могло не быть*... И случилось это не просто потому, что гром есть гром, а царь есть царь... Нет, — «всё это наделал» в числе другого зла какой-то неведомый Катков. Предо мной вскры-

---

[1] Чертков — губернатор, ревизовавший ровенский уездный суд, в котором работал отец писателя.

валась изнанка крупного жизненного явления. Дом казался цельным и вечным. Пришли какие-то люди, сняли одно крыльцо, приставили другое и при этом обнажили старые столбы, заплесневелые и подгнившие. И вышло, что дом не вечен, а *сделан*, как многое другое. Теперь из-за цельного представления о власти «земного бога» выглянул простой Катков, которого уже можно судить и осуждать...

Должно быть, это смутное ощущение новой «изнанки» сделало для меня и этот разговор, и этот осенний вечер с луной над гладью пруда такими памятными и значительными, хотя «мыслей словами» я вспомнить не могу.

И даже более: довольно долго после этого самая идея власти, стихийной и не подлежащей критике, продолжала стоять в моем уме, чуть тронутая где-то в глубине сознания, как личинка трогает под землей корень еще живого растения. Но с этого вечера у меня уже были предметы первой «политической» антипатии. Это был министр Толстой и, главное, — Катков, из-за которых мне стал недоступен университет и предстоит изучать ненавистную математику...

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НОВОЙ ГИМНАЗИИ

Я был всё-таки принят.

Вскоре после экзаменов, в ясное утро воскресенья, я, от нечего делать, пошел на польское кладбище на «Волю». Это было предместье, где город незаметно уступал место деревне. Маленький уютный костел стоял в соседстве соломенных хат, посреди могил и крестов. Было что-то особенно приветливое в этом беленьком храме с его небольшими звонкими колоколами и звуками органа, вырывавшимися из-за цветных стекол и носившимися над могилами. Когда орган стихал, слышался тихий шелест березок и шопот молящихся, которые не умещались в «каплице»[1] и стояли на коленях у входа.

Я долго бродил среди памятников, как вдруг в одном месте, густо заросшем травой и кустарником, мне бросилось в глаза странное синее пятно. Подойдя ближе, я увидел маленького человечка в синем мундире с медными пуговицами. Лежа на могильном камне, он что-то тщательно скоблил на нем ножиком и был так углублен в это занятие, что не заметил моего прихода. Однако, когда я сообразил,

[1] Каплица — небольшая церковь, католическая часовня.

что мне лучше ретироваться, — он быстро поднялся, отряхнул запачканный мундир и увидел меня.

— Кто такой? — спросил он несколько скрипучим высоким тенором. — А, новый? Как фамилия? Сма-а-три ты у меня!

И, погрозив за что-то пальцем, он пошел прочь смешной ковыляющей походкой. Маленькая фигурка скоро исчезла за зеленью могил. И как только он скрылся, из-за ближайшего склепа выбежали три гимназиста.

— Что он тебе говорил? — спросил один из них — Кроль, с которым я уже был знаком. Двое других тотчас же кинулись к плите и, в свою очередь, принялись что-то скоблить на камне. Когда они кончили и встали с довольным видом, я с любопытством посмотрел на их работу. На плите после традиционных трех букв DOM[1] стояло уменьшительное имя с фамилией (вроде Ясь Янкевич), затем год рождения и смерти. Вверху, выцарапанные в глубокой борозде гвоздями и ножиками, виднелись два польских слова: ofiara srogosci (жертва строгости).

Мои новые товарищи рассказали мне историю этой надписи.

Это было несколько лет назад. Ученика младших классов Янкевича «преследовало» гимназическое начальство, и однажды его оставили в карцере «за невнимание на уроке». Мальчик говорил, что он болен, отпрашивался домой, но ему не поверили.

Карцер помещался во втором этаже, в самом отдаленном углу здания. К нему вел отдельный небольшой коридорчик, дверь которого запиралась еще особо.

Впоследствии мне пришлось свести знакомство с этим помещением, и каждый раз, как сторож, побрякав ключами, удалялся и его шаги замирали в гулком длинном коридоре, я вспоминал Янкевича и представлял себе, как ему, вероятно, было страшно, больному, в этом одиночестве. Вот стукнула далеко внизу выходная дверь на блоке, по коридорам, пробежали, толкаясь, в углах, тревожные и чуткие отголоски. Всё замерло. За маленьким высоким оконцем шумят каштаны густого сада, в сырых, холодных углах таится и густеет мгла ранних сумерек.

Когда сторож пришел вечером, чтобы освободить за-

[1] Deo Optimo Maximo (лат.) — во славу величайшего и высшего бога.

ключенного, он нашел его в беспамятстве свернувшегося комочком у самой двери. Сторож поднял тревогу, привел гимназическое начальство; мальчика свезли на квартиру, вызвали мать. Но Янкевич никого не узнавал, метался в бреду, пугался, кричал, прятался от кого-то и умер, не приходя в сознание.

Теперь в гимназии не было уже ни виновников этой смерти, ни товарищей жертвы. Но гимназическая легенда переходила от поколения к поколению, и ученики считали своею обязанностью подновлять надпись на могильном камне. Это было тем интереснее, что надзиратель Дитяткевич, в просторечии называвшийся Дидонусом, считал своею обязанностью от времени до времени выскабливать крамольные слова. Таким образом борозда утопала всё глубже, но надпись всё оживала, сохраняя память о чьей-то начальственной «строгости» и об ее «жертве».

Таково было первое впечатление, каким встречала меня «Ровенская реальная гимназия».

ЖЕЛТО-КРАСНЫЙ ПОПУГАЙ

И теперь еще, хотя целые десятилетия отделяют меня от того времени, я по временам вижу себя во сне гимназистом ровенской гимназии. Особенным звуком звенит в моих ушах частый колокол, и я знаю: это старик сторож из кантонистов[1] подошел к углу гимназического здания, где на двух высоких столбах укреплен качающийся колокол, и дергает за длинную веревку. Звон настойчивый, торопливый, как будто захлебывающийся, перелетает через гладь прудов, забирается в ученические квартиры. Частый топот ног по деревянным мосткам, визг и стук калитки на блоке с несколькими камнями... Топот усиливается, как прилив, потом становится реже, проходит огромный инспектор, Степан Яковлевич Рущевич; на дворе всё стихает, только я всё еще бегу по двору или вхожу в опустевшие коридоры с неприятным сознанием, что я уже опоздал и что Степан Яковлевич смотрит на меня тяжелым взглядом с высоты своего огромного роста.

---

[1] Кантонисты — так назывались в России в первой половине XIX века солдатские сыновья, которые с самого рождения, по законам крепостного права, принадлежали военному ведомству Они воспитывались в особых школах, где царила жестокая палочная дисциплина, и в течение многих лет должны были служить в армии.

Порой снится мне также, что я сижу на скамье и жду экзамена или вызова к доске для ответа. При этом меня томит привычное сознание какой-то неготовности и риска.

Так прочны эти впечатления. И немудрено. В ровенской гимназии я пробыл пять лет и два года — в житомирской. Считая в году по двести пятьдесят дней, проведенных в классах или церкви, и по четыре-пять учебных часов ежедневно, — это составит около восьми тысяч часов, в течение которых вместе со мною сотни молодых голов и юных душ находились в непосредственной власти десятков педагогов.

Затихшее здание гимназии в эти часы представляется мне теперь чем-то вроде огромного резонатора,[1] в котором педагогический хор настраивает на известный лад умы и души сотен будущих людей. И мне хочется, хотя бы в самых общих чертах, определить теперь основные ноты, преобладавшие в этом хоре.

Еще в Житомире, когда я был во втором классе, был у нас учитель рисования, старый поляк Собкевич. Говорил он всегда по-польски или по-украински, фанатически любил свой предмет и считал его первой основой образования. Однажды, рассердившись за что-то на весь класс, он схватил с кафедры свой портфель, поднял его высоко над головой и изо всей силы швырнул на пол. С сверкающими глазами, с гривой седых волос над головой, весь охваченный гневом, он был похож на Моисея, разбивающего скрижали.[2]

— Иолопы! Бараны! Ослы! — кричал он по-польски.— Что значит все ваши граматыки и арытметыки, если вы не понимаете красоты человеческого глаза!..

Может быть, это было грубо и смешно, но мы не смеялись. От могучей фигуры старого художника над толпой неосмысленных малышей пронеслось, как вихрь, одушевление фанатической веры в свой предмет, в высшее значение искусства. Когда он подходил к рисующему ученику и, водя большим пальцем над бумагой, говорил: «Ага! Вот так... Чувствуешь, малый? Оно вот тут округляется. Вот-вот... Теперь сильнее, гуще!.. Ага! Видишь: засветилось, глядит!..» — то казалось, что под этими его жестами, на самой

---

[1] Р е з о н а т о р — прибор, отзывающийся на звуковые или электрические колебания определенной частоты.

[2] С к р и ж а л и — каменные доски, на которых, по библейскому преданию, были начертаны «десять заповедей» еврейской религии.

бумаге начинают роиться живые формы, которые стоит только схватить...

Художника Собкевича у нас убрали в конце первого же года моего пребывания в житомирской гимназии: началось «обрусение», а он не мог приучиться говорить в классе только по-русски. Как ни старался бедный старик, на русском языке у него ничего «не скруглялось» и «не светилось». Да и вообще вся его оригинальная фигура плохо укладывалась в казенные рамки.

Теперь — яркая фигура уже другого рода.

Это учитель немецкого языка, мой дальний родственник, Игнатий Францевич Лотоцкий. Я еще не поступал и в пансион, когда он приехал в Житомир из Галиции. У него был диплом одного из заграничных университетов, дававший тогда право преподавания в наших гимназиях. Кто-то у Рыхлинских посмеялся в его присутствии над заграничными дипломами. Лотоцкий встал, куда-то вышел из комнаты, вернулся с дипломом и изорвал его в клочки. Затем уехал в Киев и там выдержал новый экзамен при университете.

После этого он получил место преподавателя в житомирской гимназии и женился на одной из моих теток. Ее считали счастливицей. Но через некоторое время мы, дети, стали замечать, что наша жизнерадостная тетка часто приходит с заплаканными глазами, запирается с моей матерью в комнате, что-то ей рассказывает и плачет. Если иной раз, придя к ней в гости, нам случалось разыграться, — дверь кабинета слегка приотворялась, и в щелке появлялось чисто выбритое лицо с выпуклыми, блестящими глазами. Этого было достаточно: мы тотчас смолкали и рассаживались по углам, а тетка бледнела и тряслась. Если я не ошибаюсь, тогда я впервые запомнил слово «тиран».

Все, однако, признавали его образцовым учителем и пророчили блестящую учебно-административную карьеру.

Одетый всегда с иголочки, тщательно выбритый, без пылинки на блестящем мундире, он являлся на урок минута в минуту и размеренным шагом всходил на кафедру. Здесь он останавливался и окидывал класс блестящими, выпуклыми, живыми глазами. Под этим взглядом всё замирало. Казалось, — большую власть учителя над классом трудно представить. Это был идеал «дисциплины» в общеупотребительном смысле этого слова. Его боялись, уроки ему готовили лучше, чем другим, в совете его голос обладал большим весом. Взгляд всякого «ревизора» с удовольствием

останавливался на образцово-чиновничьей фигуре с определенно-точными и авторитетными приемами.

Однако... ученики давно уже подметили слабые стороны образцового педагога и ни на кого не рисовали столько и притом таких удачных карикатур. Было известно, что за шесть или семь лет учительства он не пропустил ни одного урока. По коридору шагал всегда одной и той же походкой, по-журавлиному, крупными шагами, держа туловище необыкновенно прямо. От двери класса до кафедры всегда делал определенное количество шагов. С некоторых пор стали замечать, что, если ему случалось стать на порог не той ногой, — он делал движение назад и поправлялся, как солдат, «потерявший ногу». На кафедре останавливался всегда в одной позе.

Если в это время кто-нибудь делал резкое движение или заговаривал с соседом, Лотоцкий протягивал руку и, странно сводя два пальца, указательный и мизинец, показывал ими в угол, произнося фамилию виновного быстро, с выкриком на последнем слоге, и пропуская почти все гласные:

— Кр-ч-н-ко... Вршв... ский... Абрм-вич...

Это значило, что Абрамович, Кириченко, Варшавский должны отправляться в угол. В классе водворялась тишина, абсолютная, томительная, жуткая. В нее отчетливо, резко падали только отрывистые, быстрые вопросы учителя и торопливые ответы учеников.

Одним словом, это было нечто вроде каторги образцового педагогического порядка!..

Но и на каторге люди делают подкопы и бреши. Оказалось, что в этой идеальной, замкнутой и запечатанной власти моего строгого дядюшки над классом есть значительные прорехи. Так, вскоре после моего поступления, во время переклички оказалось, что ученик Кириченко не явился. Когда Лотоцкий произнес его фамилию, сосед Кириченко по парте поднялся, странно вытянулся, застыл и отрубил, явно передразнивая манеру учителя:

— Кр-чн-кó... не явил-ся-я.

Обезьянничание было до такой степени явно и дерзко, что я со страхом и удивлением взглянул на Лотоцкого. Он ничего не заметил и продолжал отчеканивать фамилию за фамилией. Среди тишины звучал его металлический голос и падали короткие ответы: «есть... есть... есть...» Только в глазах учеников искрилась усмешка.

В другой раз Лотоцкий принялся объяснять склонение

прилагательных, и тотчас же по классу пробежала чуть заметная какая-то искра. Мой сосед толкнул меня локтем. «Сейчас будет «попугай», — прошептал он чуть слышно. Блестящие глаза Лотоцкого сверкнули по всему классу, но на скамьях опять ни звука, ни движения.

— Der gelb-rote Papa-gay[1], — сказал Лотоцкий врастяжку. — Итак! Именительный: Der gelb-rote Pa-pa-gay...: Родительный: Des gelb-roten Pá-pa-gáy-én...

В голосе Лотоцкого появились какие-то особенные, прыгающие нотки. Он начал скандовать, видимо наслаждаясь певучестью ритма. При дательном падеже к голосу учителя тихо, вкрадчиво, одобрительно присоединилось певучее рокотание всего класса.

— Dem... gelb... ro... ten... Pá-pa-gá-a-y-én...?

В лице Лотоцкого появилось выражение, напоминающее кота, когда у него щекочут за ухом. Голова его закидывалась назад, большой нос нацелился в потолок, а тонкий широкий рот раскрывался, как у сладостно квакающей лягушки.

Множественное число проходило уже среди скандующего грома. Это была настоящая оргия скандовки. Несколько десятков голосов разрубали желто-красного попугая на части, кидали его в воздух, растягивали, качали, подымали на самые высокие ноты и опускали на самые низкие... Гóлоса Лотоцкого давно уже не было слышно, голова его запрокинулась на спинку учительского кресла, и только белая рука с ослепительной манжеткой отбивала в воздухе такт карандашом, который он держал в двух пальцах. Класс бесновался, ученики передразнивали учителя, как и он, запрокидывали головы, кривляясь, раскачиваясь, гримасничая. Два или три отчаянных шалуна вскочили даже на парты.

И вдруг...

Едва, как отрезанный, затих последний слог последнего падежа, — в классе, точно по волшебству, новая перемена. На кафедре опять сидит учитель, вытянутый, строгий, чуткий, и его блестящие глаза, как молнии, пробегают вдоль скамей. Ученики окаменели. И только я, застигнутый врасплох, смотрю на всё с разинутым ртом. Крыштанович толкнул меня локтем, но было уже поздно: Лотоцкий с рез-

---

[1] Der gelb-rote Papagay (нем.) — желто-красный попугай.

кой отчетливостью назвал мою фамилию и жестом двух пальцев указал на угол.

И опять несколько уроков проходило среди остолбенелого «порядка», пока Лотоцкий не натыкался на желто-красного попугая или иное гипнотизирующее слово. Ученики по какому-то инстинкту выработали целую систему, незаметно загонявшую учителя к таким словам: Это была как бы борьба двух гипнозов, и победа в этой борьбе склонялась на сторону массы. Лотоцкий по временам, кажется, чувствовал что-то неладное, и его глаза перед скандовкой и после нее обегали скамьи с подозрительной тревогой. Но чуткая тишина усыпляла его подозрения, а затем хор и начинался, и вырастал так вкрадчиво, так постепенно и незаметно...

За стеклянной дверью порой мелькали в коридоре изумленные лица надзирателей или инспектора, привлеченных странными выкрикиваниями желто-красного попугая. Но, когда Лотоцкий проходил из класса в учительскую, — сдержанный, холодный, неприступный и сознающий свою образцовость, — никто не решался заговорить с ним о том, что его класс напоминает порой дом сумасшедших.

Однажды жена его пришла к моей матери экстренно, испуганная, и сказала, что «у Игнатия вышли неприятности в гимназии». Это, вероятно, инспектор решился, наконец, «обратить внимание господина учителя». Лотоцкий вспылил, как в том случае, когда посмеялись над его аттестатом, и вскоре перевелся в Чернигов. Оказалось, однако, что желто-красный попугай последовал за ним. Общим инстинктом молодежь и тут схватила черты рокового автоматизма. На гипноз дисциплины она отвечала встречными внушениями. Шаблон всё сильнее захватывал моего дядюшку. Походка его становилась всё деревяннее, объяснения отливались в застывшие формы, в которых ученики знали вперед не только фразы, слова, но и ударения. Его передразнивали с дерзко-почтительным видом, а «попугай» гремел всё громче и чаще.

В конце концов роковая птица уничтожила блестяще начатую карьеру. Лотоцкий переводился из гимназии в гимназию и бросил службу года за четыре до пенсии.

Конечно, у Лотоцкого были, повидимому, некоторые прирожденные странности, которые шли навстречу влиянию отупляющей рутины. На других это сказывалось не так полно и не так ярко, но всё же, когда теперь в моей памяти

встает бесконечная вереница часов, проведенных в стенах гимназии, то мне кажется, что напряженная тишина этих часов то и дело оглашается маниаческими[1] выкрикиваниями желто-красного попугая...

Вот класс француза Лемпи. Швейцарец родом, он как-то попал в Ровно и здесь учительствует лет сорок. Семьи у него нет Весь его мир — класс, инспекторская комната и квартира в нескольких шагах от гимназии. Сорок лет в определенные часы он проходит автоматической походкой эти несколько саженей в гимназию и обратно. Увидеть мосье Лемпи вне этого пространства — большая редкость. По-русски он говорит плохо. Его объяснения — это несколько стереотипных формул, запоминаемых ради курьеза. Он сохранил еще достаточно внимания и настойчивости, и потому класс грамматики, которую он отделил от переводов, — истинное мучение.

Сквозь автоматическую оболочку порой, однако, прорывается что-то из другой жизни. Он любит рассказывать о прошлом. В каждом классе есть особый мастер, умеющий заводить Лемпи, как часовщик заводит часы. Стоит тронуть какую-то пружину, — старик откладывает скучный журнал, маленькие глазки загораются маслянистым мерцанием, и начинаются бесконечные рассказы.

Это нечто смутно легендарное, фантастическое. Он родился в Швейцарии... Учился у великого Песталоцци.[2] Песталоцци был гениальнейший педагог... Лемпи был пушкарем школьного отряда.

Рассказывает он всё это детски умиленным голосом, сюсюкая, прижмуривая глаза, поднимая кверху ладони с несгибающимися пальцами. Ученики, знающие всю эту историю (порой по рассказам своих отцов), предаются посторонним занятиям, зубрят следующие уроки, играют в пуговицы и перья. А бедный швейцарец говорит и говорит. Он знал великого Наполеона. В какую-то трудную минуту его жизни он оказал ему услугу в качестве проводника через Альпы. Они подымались по отвесным скалам, смазав руки липкой смолой. Великий Наполеон потрепал его по плечу и сказал: «Mon brave petit Lumpi», что значит: «Ты,

---

[1] Маниачество — одностороннее влечение, сильное, болезненное пристрастие к чему-либо.

[2] Песталоцци Иоганн-Генрих (1746—1827) — знаменитый швейцарский педагог.

Лемпушка, есть молодец»... Если тема начинала истощаться, заводчик напоминал об африканской пустыне. Лемпи покорно отправлялся в африканскую пустыню, путешествовал по знойным пескам, видел, как боа-констриктор глотал молодого быка. Рога злополучного четвероногого торчали сквозь кожу «этого монстра»,[1] обтянутые, как пальцы в перчатках. И так они продвигались на глазах у наблюдателя от змеиной шеи к желудку.

Благодетельный звонок прерывал нескончаемое путешествие, и грамматика оставалась неспрошенной. Но иногда заводчик не успевал подать реплику. Фантазия Лемпи угасала. Он тяжело вздыхал, рука тянулась к журналу, и в оставшиеся пять или десять минут он успевал поставить несколько двоек. Первым страдал «заводчик».

Учитель русского и славянского языка, Егоров, был еще толще Лемпи. Только швейцарец напоминал цилиндр, Егоров — шар. Голова у него была не по росту мала, глаза—заплывшие щелочки, нос—незаметная пуговка, голос — тонкая фистула. Отвечать ему нужно было быстро, монотонно и без запинок. Раз начав таким тоном, можно было далее врать сколько угодно. Егоров сидел, закрыв глаза, точно убаюканный, с короткими ногами на весу, круглый, похожий на китайского божка. Но стоило ученику запнуться или изменить тон, — глаза Егорова открывались, голова откидывалась назад, и он произносил обиженной скороговоркой:

— Балл дам! Балл дам! Балл дам!

За третьим выкриком следовало быстрое движение руки, и в журнал влетала характерная егоровская двойка в виде вопросительного знака.

— Балл уже дан! Садись!

Начиная объяснение задаваемого урока, Егоров подходил к первой парте и упирался в нее животом. На этот предмет ученики смазывали первую парту мелом. Дитяткевич в коридоре услужливо стирал белую полосу на животе Егорова, но тот запасался ею опять на ближайшем уроке.

Географ Самаревич больше всех походил на Лотоцкого, только в нем не было ни великолепия, ни уверенности. Тонкий, высокий, сухой, желтый, он говорил всегда врастяжку, звенящим, не то жалобным, не то угрожающим голосом. По коридорам, как и Лотоцкий, ходил журавлиным шагом, как будто переступая через лужи. За металлические дверные

[1] Монстр (франц.) — чудовище, урод.

ручки брался не иначе, как сдвинув рукав и покрыв сукном ладонь. Взойдя на кафедру, останавливался, как Лотоцкий, всегда в одной позе, держась рукой за клок волос, по странной игре природы торчавший у самого горла (борода и усы у него не росли). Класс стихал. Становилось жутко. Тонкая длинная шея Самаревича, с большим кадыком, змееобразно двигалась в широком воротнике, а сухие, желчные глаза обегали учеников справа налево. В выражении глаз и лица чувствовались беспредметная злоба и страдание. В эту жуткую минуту по классу, следуя за колющим взглядом Самаревича, пробегала полоса мертвящего оцепенения. Стоило двинуться, повернуться, шевельнуть ногой, — как тотчас же раздавался зловеще певучий голос:

— Дежурный! Отведи его в темный карцер.

«Темного» карцера не было, никто нас туда не отводил, и мы проводили время просто где-нибудь в пустом классе. Это было очень удобно, особенно для не выучивших урока, но пользовались этим редко: так жутко было ощущение этой минуты. Того же результата, впрочем, можно было добиться иначе: стоило раскрыть ножик и начать чистить ногти. Самаревич принимался, как тощий ветряк на порывистом ветре, махать руками, называл ученика негодяем и высылал из класса.

Уроки у него выучивали. Не потому, что знать их было интересно, а потому, что не ответить было жутко. И значит, как учитель, он был на хорошем счету. Никому, разумеется, не приходило в голову, чем в сущности заменял он для нас познание мира. Однажды, перед экзаменом по географии, мне приснился странный, теперь сказали бы «символический», сон. На каком-то огромном полу лежала бесконечная географическая карта с раскрашенными площадками, с извилистыми чертами рек, с черными кружками городов. Я глядел на нее и не мог вспомнить ни названий, ни того, какой из этих кружков знаменит лесной торговлей, а какой торгует шерстью и салом. А в середине карты — в каком-то туманном клубке — виднелась голова на тонкой извивающейся шее, и колющие глаза остро глядели на меня в ожидании ответа. Безграничные океаны с их грозами, простор и красота мира, кипучая и разнообразная деятельность людей—всё это подменилось представлением о листе бумаги с пятнами, чертами и кружками.

Было в этой сухой фигуре что-то зловещее и трагическое. Кончил он ужасно. Из нашей гимназии он был переве-

ден в другой город, и здесь его жена — добродушная женщина, которую роковая судьба связала с маниаком,— взяла разрешение держать ученическую квартиру. Предполагалось, что это будет ее особое дело, но Самаревич скоро простер на него мертвящую власть кошмара. Рассказывали, что каждый вечер перед сном, во главе домочадцев, он обходил всю квартиру, заглядывая во все углы, под столы и под диваны. После этого квартира запиралась, и ключ Самаревич уносил к себе под подушку.

Однажды — это было уже в восьмидесятых годах — ночью в эту запертую крепость постучали. Вооружив домочадцев метлами и кочергами, Самаревич подошел к дверям. Снаружи продолжался стук, как оказалось... «именем закона». Когда дверь была отворена, в нее вошли жандармы и полиция. У одного из учеников произвели обыск, и ученика арестовали.

Это совершенно ошеломило Самаревича. Несколько дней он ходил с остолбенелым взглядом, а в одно утро его застали мертвым. Оказалось, что он перерезал себе горло. Жандармы показались ему страшнее бритвы.

Учитель немецкого языка Кранц... Подвижной человек, небольшого роста, с голым лицом, лишенным растительности, сухой, точно сказочный лемур [1], состоящий из одних костей и сухожилий. Казалось, этот человек сознательно стремился сначала сделать свой предмет совершенно бессмысленным, а затем всё-таки добиться, чтобы ученики его одолели. Всю грамматику он ухитрился превратить в изучение окончаний.

— Леонтович, — вызывает он, нарочно коверкая фамилию и переставляя ударение. — Склоняй: der Mensch. [2]

Леонтович встает и склоняет, произнося не слова, а только окончания: именительный: с, *ц*, *аш*, родительный: э, *эн*, дательный: э, *н;* винительный: э, *н*. Множественное число: э, н, — и так далее.

Если ученик ошибался, Кранц тотчас же принимался передразнивать его, долго кривляясь и коверкая слова на все лады. Предлоги он спрашивал жестами: ткнет пальцем вниз и вытянет губы хоботом, — надо отвечать: unten; [3] подымет палец кверху и сделает гримасу, как будто его глаза с жел-

---

[1] Лемуры — по верованию древних римлян, духи умерших.
[2] Der Mensch (нем.) — человек.
[3] Unten (нем.) — внизу.

тыми белками следят за полетом птицы, — oben.[1] Быстро подбежит к стене и шлепнет по ней ладонью, — an...[2]

— Такой-то... Пусть там себе *ат* или *ят*? Пусть бы там себе *али* или *ели*?

Ученик, по возможности быстро, должен ответить такой же тарабарщиной.

Язык Шиллера и Гете он превращал в бестолковую смесь ничего не означающих звуков и кривляний. Шутовство это было вдобавок сухое и злобное. Ощущение было такое, как будто перед несколькими десятками детей кривляется подвижная, злая и опасная обезьяна. Может быть, для стороннего зрителя ее движения и прыжки могли бы показаться забавными. Но ученики чувствовали, что у этого прыгающего, взвизгивающего, жестикулирующего существа очень острые когти и власть... до звонка. Звонок являлся настоящим криком петуха, прогонявшим кошмарное видение.

В каждом классе у Кранца были избранники, которых он мучил особенно охотно. В первом классе таким мучеником был Колубовский, маленький карапуз с большой головой и толстыми щеками. Входя в класс, Кранц обыкновенно корчил гримасу и начинал брезгливо водить носом. Все знали, что это значит, а Колубовский бледнел. В течение урока эти гримасы становились всё чаще, и, наконец, Кранц обращался к классу:

— Чем это тут пахнет, а? Кто знает, как сказать по-немецки «пахнет»? Колубовский! Ты знаешь, как по-немецки «пахнет»? А как по-немецки: «портить воздух»? А как сказать: «ленивый ученик»? А как сказать: «ленивый ученик испортил воздух в классе»? А как по-немецки «пробка»? А как сказать: «мы заткнем ленивого ученика пробкой»?.. Колубовский, ты понял? Колубовский, иди сюда! Komm her, mein lieber Kolubowski![3] Ну-у!..

С шутовскими жестами он вынимал из кармана пробку. Бедный карапуз бледнел, не зная, идти ли на вызов учителя или бежать от злого шута. В первый раз, когда Кранц проделал это представление, малыши невольно хохотали. Но когда это повторилось, в классе стояло угрюмое молчание. Наконец, однажды Колубовский выскочил из класса почти в истерике и побежал в учительскую комнату. Но здесь вместо связного рассказа выкрикивал одни только ругатель-

[1] Oben (нем.) — наверху, вверху.
[2] An (нем.) — у, при, около, на, к.
[3] Иди сюда, мой дорогой Колубовский!

ства: «Кранц подлец, дурак, сволочь, мерзавец!» Инспектор и учителя были очень удивлены этой вспышкой маленького клопа. Когда дело разъяснилось из рассказов старших учеников учителям, — совет поставил Кранцу на вид неуместность его шутовских водевилей.

Первое время после этого Кранц приходил в первый класс желтый от злости и старался не смотреть на Колубовского, не заговаривал с ним и не спрашивал уроков. Однако выдержал недолго: шутовская мания брала свое, и, не смея возобновить представление в полном виде, Кранц всё-таки водил носом по воздуху, гримасничал и, вызвав Колубовского, показывал ему из-за кафедры пробку.

Радомирецкий... Добродушный старик, плохо выбритый, с птичьим горбатым носом, вечно кричащий. Средними нотами своего голоса он, кажется, никогда не пользовался, и всё же его совсем не боялись. Преподавал он в высших классах год от году упраздняемую латынь, а в низших — русскую и славянскую грамматику. Казалось, что у этого человека половина внимания утратилась, и он не замечал уже многого, происходящего на его глазах. Точно у него, как у щедринского прокурора, одно око было дреманное.

— Погоновский! — выкрикивает он сердито, приступая к уроку. Класс сговорился сегодня не отвечать. Погоновский встает и говорит деловитым тоном:

— Я, господин учитель, сегодня урока не готовил.

— Столб еси, и столб получаешь. И стой столбом до конца класса!.. — грозно изрекает Радомирецкий. В журнал влетает единица. Ученик становится у стены, вытянув руки и по возможности уподобляясь столбу.

— Павловский!

— Я, господин учитель, сегодня не готовил.

— Стой столбом до конца класса. И тебе единица, азинус.

«Азинус» идет к той же стенке, плечом подвигает Погоновского дальше и вытягивается на его месте. Третий отодвигает обоих, и, таким образом, ряд «столбов» выстраивается вдоль всей стены до самых дверей. На опустевших скамьях остается десяток неспрошенных учеников, с которыми старик продолжает занятия, совершенно забыв об остальных. Между тем первый «столб» тихонько открывает дверь и выскальзывает в коридор· За ним другой, третий... Через несколько минут все уже на воле и вместо скучного урока с увлечением играют в мяч в укромном уголке

сада. Польская капличка скрывает их от окон гимназического здания. Впрочем, Дитяткевич, отлично знающий эту особенность уроков Радомирецкого, порой отправляется в экспедицию и берет в плен беглецов. Тогда дверь класса отворяется, и «столбы», подгоняемые колченогим надзирателем, сконфуженно устанавливаются опять вдоль стен. Радомирецкий, подняв на лоб большие роговые очки, с удивлением смотрит на непонятное явление.

К этой коллекции я не без колебания решаюсь присоединить еще одну фигуру Это Митрофан Александрович Андриевский, словесник. По душевному содержанию он скорее подходил бы к типу, отмеченному в начале этого очерка. В его душе теплилось свое увлечение, я сказал бы — своя вера. Всё свое свободное время, все мысли и чувства он отдавал нескончаемой диссертации на тему «Слово о полку Игореве».[1] С вечной заботой о загадочных выражениях «Слова» он ходил по улицам сонного городка, не замечая ничего окружающего и забывая порой о цели своего выхода из дому. Если калоша увязла в грязи, он шел дальше без калоши. Однажды, на моих глазах, ветер, раздувая концы его башлыка, занес один из них в щель частокола. Бедный словесник, задержанный неожиданно в своем задумчивом шествии, остановился, постоял, попробовал двинуться дальше, но видя, что препятствие не уступает, спокойно размотал башлык с шеи, оставив его на заборе, и с облегчением продолжал путь.

Ученики его любили с какой-то снисходительной нежностью, но предмета его совсем не учили. Объяснял он небрежно и спутанно, оживляясь лишь в случаях, когда можно было почерпнуть пример из «Слова». Диссертация его всё росла, но печатать ее он не решался, пока для него оставались темными некоторые места, например, «Див кличет вьрху древа», «рыща в тропу трояню», или «трубы трубят до додутки»... Он нимало не сомневался, что читать надо «до додонтки». Но и «додонтки» мало поддавались объяснению... Порой он был прямо интересен, только это редко случалось на уроках. Мы очень любили беседовать с ним, застигнув его где-нибудь на улице. Плотно обступив Андриевского тесным кольцом, мы задавали ему вопросы и выска-

---

[1] «Слово о полку Игореве» — гениальнейшее произведение древнерусской литературы. Поэма посвящена походу новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев. Время создания ее датируется 1187 годом.

зывали порой самые изумительные гипотезы о «диве», о «тропе трояней» и «додонтках». Если это ему надоедало, а мы его не выпускали из плена, то он, наконец, вынимал из кармана классную записную книжечку с карандашом, вглядывался в лица стоящих перед ним и, усмехаясь своей задумчиво-юмористической улыбкой, говорил:

— А, это Мочальский... Вот я поставлю Мочальскому на понедельник единицу.

И совершенно серьезно ставил единицу. К отметкам он относился с насмешливым пренебрежением и часто, по просьбе класса, переправлял классные двойки на тройки или даже четверки. Но единицы, поставленные на улице, отстаивал упорнее.

— Митрофан Александрович, — кричал класс, — да ведь эти единицы вы поставили на улице!..

— А-а, — усмехался Андриевский, — на улице?.. Так что же, что на улице? Познания не всегда обнаруживаются даже в классе. А невежество проявляется на всяком месте... Что он тогда говорил о «диве»? А?

— Он, Митрофан Александрович, Курской губернии.

— Ну, так что же?

— Куряне, Митрофан Александрович, сведоми кмети.[1]

— Шеломами повиты, концем копия вскормлены, — дружно подхватывает класс.

Лицо Андриевского расцветает.

— А-а-а, — произносит он с выражением радостного довольства, и единица зачеркивается.

Из-за его рассеянной улыбки светилась детская душа и, может быть, незаурядный ум, от одиночества и окружающей пустоты ушедший в непроходимые дебри «Слова». Он прошел перед нами со своим невинным маниачеством, не оставив глубокого следа, но ни разу также не возбудив ни в ком ни одного дурного или враждебного движения души. В его задумчивой улыбке сквозил тихий юмор, на уроках иногда слетало меткое суждение или слово, но о «теории словесности» даже в лучших учениках он не успел поселить никакого представления.

Разумеется, кроме маниаков, вроде Лотоцкого или Самаревича, в педагогическом хоре, настраивавшем наши умы и души, были также голоса среднего регистра,[2] тянувшие свои

[1] Кмети (древнерусск.) — отборные, лучшие воины.

[2] Регистр (лат.) — степень высоты и силы голоса. Различаются верхний, средний и нижний регистры.

партитуры[1] более или менее прилично. И эти, конечно, делали главную работу: добросовестно и настойчиво перекачивали фактические сведения из учебников в наши головы. Не более, но и не менее... Своего рода живые педагогические фонографы.[2]

Впереди всех из этой категории стоит в моей памяти характерная фигура Степана Ивановича Тысса. Это был человек с очень некрасивым, но умным лицом, которое портили большие зубы, а украшали глубокие карие глаза. Одевался он всегда безукоризненно, даже щегольски, держался с достоинством, преподавал ровно, без увлечения, но толково, спрашивал строго, отметки ставил справедливо. Его уважали, учились у него порядочно, и именно ему я обязан тем, что решение задач мне перестало казаться непостижимым волшебством. В его сдержанном достоинстве было что-то привлекательное, и в нас зарождалось, пожалуй, некоторое влечение к этому серьезному человеку, но оно отражалось его холодною замкнутостью. К нам и своему предмету он относился с одинаковой корректностью. Предмет был предмет, один и тот же из года в год, а мы были разные степени его усвоения. Ни в нас, ни в предмете не было ничего, что осветило бы жизнь в глухом городишке, среди стоячих прудов. Говорили, будто главная доля его души была поглощена любовью некрасивого человека к красавице-жене и муками сдержанной ревности. Быть может, поэтому он выделялся щегольством одежды и на разные лады отпускал красивую каштановую бороду. Эти наблюдения давали нам мало поучительного, а мы, в свою очередь, мало давали ему. Тыссу приписывали, между прочим, горький афоризм,[3] в который он заключил свой учительский опыт.

— Мы, — говорил он, — три года мучимся, три года учимся, три года учим, три года мучим, а там — хоть к черту...

Я его знал еще в годы перелома. Он учил еще довольно серьезно и не мучил, но уже начинал опускаться и запивать.

За ним встают в памяти различные, менее характерные фигуры того же среднего регистра. Общими усилиями, с большим или меньшим успехом они гнали нас по програм-

---

[1] Партитура — запись музыкального произведения, разделенная на партии, для исполнения одним голосом.

[2] Фонограф — прибор для записи и воспроизведения звуков.

[3] Афоризм — краткое изречение, выражение какой-либо обобщенной мысли.

мам, давая умам, что полагалось по штату. Дело, конечно, полезное. Только... это умственное питание производилось приблизительно так, как откармливают в клетках гусей, насильственно проталкивая постылую пищу, которую бедная птица отказывается принимать в требуемом количестве по собственному побуждению.

А та нежная, тонкая, живая нить, которая связывает процесс учения с вечным стремлением к знанию, освещает его, подымает, живит, — молчала или затрагивалась редко, случайно. Оригинальные фигуры, со своим собственным содержанием, были не ко двору в казенном строе, требовавшем догматического[1] единства. Сильные уходили, слабые уживались, и жизнь в сонном городке вокруг мертвого замка брала свое. Сначала мечты о диссертации, о переводе в другое место, потом женитьба, сладость сонной истомы, карты в клубе, прогулки за шлагбаумом, сплетни, посещения погребка Вайнтрауба, откуда учителя выходят обнявшись, не совсем твердыми шагами.

Один из лучших учителей, каких я только знал, Авдиев (о котором я скажу дальше), в начале своего второго учебного года на первом уроке обратился к классу с шутливым предложением:

— Нет ли, господа, у кого-нибудь записок моего прошлогоднего первого урока? Есть? Отлично. Проэкзаменуйте меня, пожалуйста: я буду говорить, а вы отмечайте фразы, которые я повторю по-прошлогоднему.

Он стал ходить по классу, импровизируя вступление к словесности, а мы следили по запискам. Нам пришлось то и дело останавливать его, так как он сбивался с конспекта и иначе строил свою речь. Только, кажется, раз кто-то поймал повторенное выражение.

— Ну, это еще ничего, сказал он весело. И затем, вздохнув, прибавил: — Лет через десять буду жарить слово в слово. Ах, господа, господа! Вы вот смеетесь над нами и не понимаете, какая это в сущности трагедия. Сначала всё так живо! Сам еще учишься, ищешь новой мысли, яркого выражения... А там, год за годом, — застываешь, отливаешься в форму...

Застывает учитель и превращается в лучшем случае в фонограф, средним голосом и с средним успехом перекачи-

---

[1] Догматический, догма — бездоказательное положение, принимаемое на веру без критической проверки.

вающий сведения из учебников в головы... Но наиболее ярко выделяются в общем хоре скрипучие фальцеты и душевные диссонансы маниаков, уже в конец заклеванных желто-красным попугаем.

Кто учтет влияние этой роковой автоматической птицы на жизнь и судьбы поколений, проходящих строй за строем через наши средние школы...

Директора у нас сменялись довольно часто. Инспектором долго был Степан Яковлевич Рущевич, назначенный впоследствии директором.

Это была тоже характерная, почти символическая фигура. Огромный, грузный, в широком мундире и широчайших брюках, — это был какой-то чиновничий массив, с лицом, точно вырубленным из дуба и обрамленным двумя седоватыми чиновничьими бакенбардами. Голос у него был тоже огромный, грузный; и на всех этих количественных преимуществах покоился его педагогический авторитет.

Провинившегося ученика он призывал обыкновенно в инспекторскую. Всё пространство от порога до стола нужно было пройти под его тяжелым гипнотизирующим взглядом, который как будто обволакивал жертву чем-то подавляющим, густым и тягучим. Ноги прилипают к полу. Кажется преступлением идти свободно и еще большим преступлением — остановиться. Глаза невольно потупляются, и всё же чувствуешь где-то близко над собой огромное лицо почти без выражения, большие тускло-серые глаза и два седоватых бакенбарда. Ощущение чего-то физически подавляющего, неосмысленного, но властного. Минута жуткого молчания... Вопрос густым басом... Робкий отрицательный ответ...

И вдруг гигант подымается во весь рост, а в высоте бурно проносится ураган крика. По большей части Рущевич выкрикивал при этом две-три незначащих фразы, весь эффект которых был в этом подавляющем росте и громовых раскатах. Всего страшнее было это первое мгновение: ощущение было такое, как будто стоишь под разваливающейся скалой. Хотелось невольно поднять руки над головой, исчезнуть, стушеваться, провалиться сквозь землю. В карцер после этого мы устремлялись с радостью, как в приют избавления.

Впоследствии, в старших классах, когда физическая противоположность между учеником и директором сглаживалась, — терялось и устрашающее обаяние Рущевича.

В сущности, как я убедился впоследствии, это был человек не злой, скорее добрый. Во всяком случае лучше среднего директора последующего времени уже потому, что тогда «внутренняя политика», с ее тайными аттестациями и подлым политическим сыском, еще в такой степени не заполняла школу... Он только совсем не был педагогом, и подавляющая массивность была единственным его ресурсом[1] в борьбе за порядок и дисциплину. Мелкая беспрерывная партизанская война составляла основной тон школьной жизни.

Уже с раннего зимнего утра, когда в сыроватых сумерках сонно жмурились и расплывались огоньки, из длинного двухэтажного здания появлялась колченогая фигура и, оглянувшись по сторонам, ныряла в сумрак. Дитяткевич был неутомимый охотник...

К семи часам ученики, жившие на общих квартирах, должны были сидеть за столами и готовить уроки. Исполнялось это редко, и главная прелесть незаконного утреннего сна состояла именно в сознании, что где-то в тумане, пробираясь по деревянным кладочкам и проваливаясь с калошами в грязь, крадется ищейка Дидонус и, быть может, в эту самую минуту уже заглядывает с улицы в окно... Грязь, слякоть, дождь, зимняя метель и вьюга — ничто не останавливало неутомимого сыщика. Наоборот, в ненастье преступный сон налегает на учеников с особенной силой, и в то же время их легче застигнуть... Если, заглянув в комнату снаружи, он видел квартиру в полном порядке, то уходил разочарованный, как охотник, давший промах. В противном случае — он внезапно появлялся в дверях, веселый, с сияющими глазами, и ласковым, довольным тоном требовал «квартирный журнал». Если где-нибудь неподалеку он замечал в темноте огромную фигуру Рущевича, то охотно делал для него стойку, наводя на неисправные квартиры. Степан Яковлевич входил с торжественной мрачностью и, подобно темному обелиску, становился над постелью сонливца. До сих пор еще живо помню минуты жуткого пробуждения под его упорно-тяжелым взглядом.

Когда ученики уходили в гимназию, Дитяткевич приходил в пустые квартиры, рылся в сундуках, конфисковывал портсигары и обо всем найденном записывал в журнал. Курение, «неразрешенные книги» (Писарев, Добролюбов, Некрасов), купанье в неразрешенном месте, катанье на лод-

---

1 Ресурс — средство, запас.

ках, гулянье после семи часов вечера — всё это входило в кодекс гимназических проступков. В их классификации чувствовался отчасти тот же маниаческий автоматизм: вопрос сводился не к безнравственности поступка, а к трудности педагогической охоты. В городе и кругом города было много прудов и речек, но катанье на лодке было воспрещено, а для купанья была отведена лужа, где мочили лен. Разумеется, ученики катались в лодках и купались в речках или под мельничными шлюзами, с их брызгами и шумом... Нередко в самый разгар купанья, когда мы беспечно ныряли в речушке, около «исправницкой купальни», над обрезом горы, из высокой ржи показывалась вдруг синяя фуражка, и ковыляющая фигурка Дидонуса быстро спускалась по тропинке. Мы хватали одежду и кидались в камыши, как беглецы во время татарских нашествий. Колченогий надзиратель бегал, как наседка, по берегу, называл наугад имена, уверял, что он всех знает, и требовал сдачи в плен. Мы стояли в камышах, посиневшие от холода, но сдавались редко. Если надзирателю удавалось захватить платье купальщиков, то приходилось одеваться и следовать за ним к инспектору, а оттуда — в карцер. И всегда наказание соответствовало не тяжести вины, в сущности, явно небольшой, а количеству усилий, затраченных на поимку.

С семи часов вечера выходить из квартир тоже воспрещалось, и с закатом солнца маленький городишко с его улицами и переулками превращался для учеников в ряд засад, западней, внезапных нападений и более или менее искусных отступлений. Особенную опасность представлял узенький переулочек, соединявший две параллельных улицы: Гимназическую и Тополевую. Темными осенними вечерами очень легко было внезапно наткнуться на Дидонуса, а порой, — что еще хуже, — «сам инспектор», заслышав крадущиеся шаги, прижимался спиной к забору и... внезапно наводил на близком расстоянии потайной фонарь... Это были потрясающие моменты, о которых наутро рассказывали в классах.

Впрочем, я с благодарностью вспоминаю об этих своеобразных состязаниях. Гимназия не умела сделать интересным преподавание, она не пыталась и не умела использовать тот избыток нервной силы и молодого темперамента,[1] который не поглощался зубристикой и механическим посещением

---

[1] Темперамент (лат.) — склад характера, живость, восприимчивость к впечатлениям и отзывчивость на них.

неинтересных классов. Можно было совершенно застыть от скуки или обратиться в автоматический зубрильный аппарат (что со многими и случалось), если бы в монотонную жизнь не врывались эпизоды этого своеобразного спорта.

Но с особенной признательностью я вспоминаю широкие пруды с их зарастающей водяной гладью и тихо сочащимися от пруда к пруду речушками. Летом мы, точно пираты, плавали по ним в лодках, стараясь быстро пересечь открытые места, нырнуть в камыши, притаиться под мостами, по которым грузной походкой проходил инспектор или ковылял Дитяткевич. С осени, когда пруды начинали покрываться пленкой, мы с нетерпением следили за их замерзанием. До сих пор еще в моих ушах стоит переливчатый стеклянный звон от камней, бросаемых с берега по тонкому льду. Лед становится крепче. На нем уже стоят лебеди, которых скоро уберут на зиму, потом мы с братом привязываем коньки и, с опасностью провалиться или попасть в карцер, пробуем кататься. Через неделю после наших опытов с берега на пруд торжественно спускается Степан Яковлевич, сторож Савелий пробует лед пешней[1] и, наконец, официально разрешается катанье. Каждый день после обеда на пруду вьются сотни юрких мальчишек, сбегаясь, разбегаясь, падая среди веселой суетни, хохота, криков. Между мелюзгой, точно осетры в стае мелкой рыбешки, неуклюже качаются на коньках учителя. Вот огромный Петров, точно падающая башня, вот даже Лемпи, без коньков, весь красный от мороза, рассказывает, как они бегали на коньках в школе Песталоцци. Немец Глюк, заменивший Кранца, долго не мог выучиться даже стоять на коньках и заказал себе коньки с двойными полосками. Стоять на них удобно, но поворачиваться трудно. Крепкий ветер подхватывает его небольшую фигурку в широкой шубе и мчит по гладкому, как зеркало, льду прямо к речке. Мы кричим ему, что на речке опасно; бедный немец размахивает руками, шуба его распахивается, как парус... Через минуту он на черном непрочном льду, который трещит и проваливается. Глюк ухает в воду, к счастью, не на глубоком месте. Малыши связывают башлыки, выстраиваются в ряд; самый легкий подбегает к речке и кидает башлык. Затем по команде вся вереница с пением и криками «ура» выволакивает мокрого Глюка на крепкое место.

[1] Пешня — лом с деревянной рукояткой. Употребляется для пробивания льда.

В особенно погожие дни являются горожане и горожанки. Порой приходит с сестрой и матерью *она*, кумир многих сердец, усиленно бьющихся под серыми шинелями. В том числе — увы! — и моего бедного современника... Ей взапуски подают кресло. Счастливейший выхватывает кресло из толпы соперников... Усиленный бег, визг полозьев, морозный ветер с легким запахом духов, а впереди головка, уткнувшаяся в муфту от мороза и от страха... Огромный пруд кажется таким маленьким и тесным... Вот уже берег...

Темнеет. Два сторожа, надзиратель и инспектор обходят пруд кругом, сгоняя запоздавших с катка. Лед пустеет. Из-за широких камышей подымается луна, трогая холодным светом края старого дворца; белая гладь сверкает, порой трескается и стонет. На ней продолжают виться пять-шесть темных фигур. На берегу, на лестнице инспекторского дома, рядом с гимназией, появляется высокая черная тень. Это Степан Яковлевич следит за преступными катальщиками. От гимназии спускается несколько темных силуэтов: будет облава. Дитяткевич уже, быть может, заходит с другой стороны, от острова... Но лунный свет обманчив, — узнать, кто катается, нельзя. Мы даем преследователям время подойти ближе, почти окружить себя. Но затем быстро бежим к опасным местам. Лед звенит всё тоньше, под ногами переливчато плещет подгибающаяся ледяная пленка, близко чернеют полыньи... Ж-ж-жи... Один за другим, держась на расстоянии, беглецы пробегают по опасной речке на другой пруд. Преследователи останавливаются, совещаются и чаще всего отступают. Фигуры преследователей расплываются в морозной мгле... И опять на гладком пруду слышен легкий визг железа по льду, и продолжается молчаливое кружение на лунном свете.

В эти лунные ночи грудь дышит так полно и, под свободные движения, так хорошо работает воображение... Луна подымается, заглядывает в пустые окна мертвого замка, выхватывает золотой карниз, приводит в таинственное осторожное движение какие-то неясные тени. Что-то шевелится, что-то дышит, что-то оживает...

Теперь, когда я вспоминаю первые два-три года своего учения в ровенской гимназии и спрашиваю себя, что там было в то время наиболее светлого и здорового, то ответ у меня один: толпа товарищей, интересная война с начальством и — пруды, пруды.

НАШИ БУНТЫ... ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР И ДИРЕКТОР

Жаркий день ранней осени. От стоячих прудов идет блеск и легкий запах тины. Мертвый замок, опрокинутый в воде, грезит об умершей старине. Скучно снуют лебеди, прокладывая следы по зеленой ряске, тихо и сонно квакают разомлевшие лягушки.

Кругом гимназии изнывающая зелень каштанов никнет под зноем. На дворе пусто, белое здание молчит, замкнувшись в себе. Идут уроки.

Я попросился из класса и стою в коридоре. Тихо. Вдали по обоим концам виднеются окна, одно затенено каштанами, так, что в середине стоит полутьма; погруженный в нее, дремлет старик Савелий. Сложив на груди руки и прислонясь к учительским шубам, он ждет прямо против инспекторской сигнала звонить. Из-за запертых дверей чуть просачивается неопределенное жужжание, точно кто читает по покойнику. Порой вырывается взвизгивание толстого Егорова, или тонкие певучие вскрикивания географа Самаревича, или порывистый лай Радомирецкого. И опять всё тихо. Открывается дверь инспекторской, на Савелия падает белая полоса света. Он тревожно просыпается, но тотчас опять закрывает глаза. В светлой полосе появляется странная фигура Дидонуса. Ковыляя своей изломанной походкой, он, как лодка на волнах, плывет в полутьме коридора вдоль темных вешалок и вдруг исчезает в амбразуре классной двери. Виднеется только угол от Дитяткевича с смешно торчащими фалдочками фрака. Сам он впился глазом в замочную скважину и тихо, с наслаждением шпионит за классом, стараясь только, чтобы торчащий над его лбом хохолок волос не показался в дверном стекле. Тогда в классе поднялся бы шум, хохот, шабаш.

Но его не видят. Тишина кажется еще безжизненнее и мертвее от ровного неуловимого жужжания и вскрикиваний. Становится жутко, томительно, почти страшно. Хочется как будто проснуться, громко вскрикнуть, застучать, опрокинуть что-нибудь, вообще сделать что-нибудь такое, что промчалось бы по коридорам, ринулось в классные двери, наполнило бы всё это здание грохотом, шумом, тревогой.

Кругом гимназии залегла такая же дремотная тишь. Два-три номера газеты заносили слухи из далекого мира, но они были чужды маленькому городку и его интересам,

группировавшимся вокруг старого замка и живого беленького здания гимназии.

У замка были свои легенды о прошлом. Гимназия имела свои. Из поколения в поколение передавались рассказы о героических временах, когда во втором классе сидели усачи, а из третьего прямо женились. Этот независимый и беззаботный народ нередко будил сонную тишину необыкновенными выходками: они ходили стеной на полицейских. Однажды выворотили фонарные столбы, которые, положим, никогда не светили, и покидали их с моста в речку. В другой раз, темным вечером, подстерегли гимназического надзирателя, подглядывавшего в окна. Схватили, завязали глаза, привязали к лестнице и повезли топить в пруд. Несколько раз опускали с мостика в воду по шею и опять поднимали. Потом с песнями и диким гиканьем проволокли на лестнице по засыпающим улицам и бросили против клуба.

Тех героев уже не было; все мы были меньше и, пожалуй, культурнее, но легенды о героических временах казались нам занимательными и даже как будто поэтичными. Хоть дико и нелепо, но они разрывали по-своему эту завороженную тишь однообразия и молчаливой рутины.

Порой и мы начинали шуметь так же стихийно, неожиданно и нелепо.

Звонок пробил. Перемена окончилась. Коридоры опустели, во всех классах идут занятия. У нас урок Егорова, но он не является. Придет или не придет? Тянутся минуты, рождается надежда: не придет. Беззаботные ученики, выучивающие уроки только в классах и на переменах (я давно уже принадлежу к их числу), торопятся доучить аористы:[1] «Бых, бы, бы... быхове, быста, быста... быхом... бысте, быша»... Но затем бросают: если Егоров не придет, на черта тогда аористы!.. Дитяткевич то и дело заглядывает в открытую классную дверь. Порой проходит мимо высокая фигура Рущевича. Они знают, что такое положение класса опасно, и стараются держать нас в полугипнозе: не урок, но и не свобода. Ожидание неприятно, томительно, раздражает нервы.

Мой сосед Кроль, тоже бросивший грамматику Перевлесского, долго и сосредоточенно жевал во рту бумажную жвачку. Наконец это ему надоело. Он вынул изо рта нажеванный комок, посмотрел на него с некоторым недоумением

---

[1] Аорист — одна из форм прошедшего времени глаголов в древнеславянском языке.

и, по внезапному вдохновению, швырнул в противоположную стену. Комок влипает и расплющивается над самой кафедрой большим серым пятном. Смех.

В дверях появился Дитяткевич. Он слышал смех и беспокойно оглядывает нас из-за дверей, но пятна ему не видно. Это интересно. Едва отходит, как несколько комков летят вдогонку за первым, и скоро плеяда серых звезд располагается над креслом учителя.

— Господа, господа!.. Что вы делаете?! — кричит дежурный, первое ответственное лицо в классе, но его не слушают. Дождь жвачек сыплется ливнем. Кто-то смочил жвачку в чернилах. Среди серых звезд являются сине-черные. Они липнут по стенам, на потолке, попадают в икону...

Какой-то малыш, отпросившийся с урока в соседнем классе, пробегает мимо нашей двери, заглядывает в нее, и глаза его вспыхивают восторгом. Он поделится новостью в своем классе. За ним выбежит другой... В несколько минут узнает уже вся гимназия...

Наконец в коридоре слышатся тяжелые шаги. «Егоров, Егоров!..» В классе водворяется тишина, и мы с недоумением смотрим друг на друга. Что же теперь будет?.. Толстая фигура с журналом подмышкой появляется на пороге и в изумлении отшатывается. Через минуту является встревоженный надзиратель, окидывает взглядом стены и стремглав убегает. В класс вдвигается огромная фигура инспектора. А в перемену эпидемия перекидывается в младшие классы.

В жизни белого здания событие. Начальство озадачено. Приступают к расследованию и прежде всего, конечно, ищут зачинщиков. И тут-то в застоявшуюся атмосферу врывается нечто новое, интересное, пожалуй, серьезное. Зачинщиков не выдадут: перед начальством весь класс, единый, сплоченный, солидарный. Те, кто не кидал и даже пытался образумить товарищей, теперь заодно с кидавшими. В инспекторскую вызывают дежурного, и он уже не возвращается. Его отправили в карцер. Первая жертва. Мы его любим, гордимся им, готовы следовать его примеру. Вызывают первых учеников... Потом последних. Является Рущевич и произносит перед классом речь, длинную, тягучую, поучительную. Преступление не может остаться без наказания. Уже наказаны, быть может, невинные и будут наказаны еще более. Это нечестно. Зачинщики должны сознаться, или класс обязан их выдать.

Но у нас свои понятия о честности. Честность — это товарищество. В нем одном мы находим ощущения, которых не дают и не требуют ни арифметика, ни география, ни аористы: самоотвержение, готовность пострадать за общее дело, мужество, верность. Мы знаем, что жевать бумагу и кидать в белые стены глупо. Когда вошел Тысс и, не говоря ни слова, окинул класс своим серьезным и как будто скучающим взглядом, нам было стыдно. Но постоять за товарищей не глупо, а хорошо и красиво. Каждый из нас ждет своей очереди присоединиться к пострадавшим, и в этом — оправдание перед ними. В воздухе напряжение, новое, необычное. Ожидание нарастающей грозы вносит новый душевный мотив, разряжает обычное классное томление.

Последний звонок в этот день звучит тоже необычными тонами. Он застает расследование неоконченным и как бы говорит: продолжение завтра. А пока, едва сбегав домой и захватив что-нибудь съестное, мы пробираемся на разведки к карцеру. Окно его высоко, в стене угловой двухэтажной пристройки на задах. Кто-нибудь осторожно кидает мелкий камешек в виде сигнала. Заключенные по очереди, становясь друг другу на спины, появляются в квадрате окна. Они кажутся нам такими дорогими, милыми, красивыми, особенно дежурный: все мы ответим за себя, — он только за других. Каждому из нас хочется что-нибудь сделать для него, хочется быть на его месте.

Порой эти наши вспышки напоминали прямо массовое помешательство.

Дождливый осенний день. Большая перемена. За окнами каштаны взмахивают еще не опавшею, но уже поблекшей зеленью, косой дождь бьет по стеклам. На дворе играть в мяч нельзя; многие не ушли домой завтракать, коридоры кишат толпой, которая волнуется в тесноте живою зыбью.

Появляется Самаревич. Он только что вошел со двора, мокрый, в черной мерлушечьей шапке и широкой шубе из «бирок» (мелкий подобранный барашек). Его желтое лицо кажется особенно странным в черной остроконечной мурмолке, на фоне черного воротника, в сумеречном освещении коридора. Среди шумной толпы он проходит брезгливо, точно пробирается по грязной улице; глаза его бегают сердито и чутко: ищут Дитяткевича, чтобы тот проложил дорогу. Но Дитяткевича нет. Ученики сами робко сторонятся, когда замечают его, но замечают не сразу: сжатая толпа колышется порой совершенно непроизвольно.

Вдруг из классной двери выбегает малыш, преследуемый товарищем. Он ныряет прямо в толпу, чуть не сбивает с ног Самаревича, подымает голову и видит над собой высокую фигуру, сухое лицо и желчно-злые глаза. Несколько секунд он испуганно смотрит на неожиданное явление, и вдруг с его губ срывается кличка Самаревича:

— Бирка!

Слово, кинутое так звонко, прямо в лицо грозному учителю, сразу поглотило все остальные звуки. Секунда молчания, потом неистовый визг, хохот, толкотня. Исступление охватывает весь коридор. К Самаревичу проталкиваются малыши, опережают его, становятся впереди, кричат: «Бирка, Бирка!» — и опять ныряют в толпу. Изумленный, испуганный бедный маниак стоит среди этого живого водоворота, поворачивая голову и сверкая сухими, воспаленными глазами.

На шум выбегают из инспекторской надзиратели, потом инспектор. Но малыши увертываются от рук Дитяткевича, ныряют между ног у другого надзирателя, добродушного рыжего Бутовича, проскакивают мимо инспектора, дергают Самаревича за шубу, и крики — «Бирка, Бирка!» — несутся среди хохота, топота и шума. Обычная власть потеряла силу. Только резкий звонок, который сторож догадался дать минуты на две раньше, позволяет, наконец, освободить Самаревича и увести его в инспекторскую.

На этот раз не пытаются даже искать зачинщиков.

Тут уже совершенно очевидно, что зачинщиков нет, что это просто стихийный взрыв, в котором прорвалась, так сказать, подпочва нашего обычного настроения. Подавлять можно, но овладеть никто не умеет.

Один только раз на нашем горизонте встала возможность чего-то вроде беспорядков «с политической окраской». Это было в 1867 или в 1868 году. Ждали генерал-губернатора Безака.[1] Остановиться он должен был у исправника, на Гимназической улице, поэтому исправницкая квартира стала центром общего внимания. Кругом из-за заборов, из переулочка, вообще из-за разных прикрытий робко выглядывали любопытные обыватели. Прямо против дома исправника была расположена ученическая квартира вдовы Савицкой, и так как это было уже после уроков, то кучка учеников вышла

[1] Безак был генерал-губернатором Юго-Западного края с 1865 по 1868 год. Ярый обруситель. (Прим. В. Г. Короленко).

в палисадник, чтобы полюбоваться встречей. Улица имела приличный случаю торжественно-испуганный вид. У крыльца, вытянувшись в струнку, застыли квартальные. Всё было подметено, убрано, вычищено. Всё превратилось в ожидание.

Часов, вероятно, около пяти прискакал из тюрьмы пожарный на взмыленной лошади, а за ним, в перспективе улицы, вскоре появился тарантас, запряженный тройкой по-русски. Ямщик ловко осадил лошадей, залился на месте колокольчик, помощник исправника и квартальные кинулись отстегивать фартук, но...

Тут случилось нечто неожиданное и страшное. Фартук сам распахнулся с другой стороны... Из тарантаса выкатилась плотная невысокая фигура в военной форме, и среди общего испуга и недоумения его превосходительство, командующий войсками Киевского военного округа и генерал-губернатор Юго-Западного края, бежал, семеня короткими ногами, через улицу в сторону, противоположную от исправничьего крыльца.

Через несколько секунд дело объяснилось: зоркие глаза начальника края успели из-за фартука усмотреть, что ученики, стоявшие в палисаднике, не сняли шапок. Они, конечно, сейчас же исправили свою оплошность, и только один, брат хозяйки, — малыш, кажется, из второго класса, — глядел, выпучив глаза и разинув рот, на страшного генерала, неизвестно зачем трусившего грузным аллюром через улицу... Безак вбежал в палисадник, схватил гимназиста за ухо и передал подбежавшим полицейским.

— Арестовать!

Полицейское управление было рядом, и испуганного мальчика немедленно заперли в каталажку, где обыкновенно держали пьяных до вытрезвления. Только тогда грозное начальство проследовало к исправнику.

Весть об этом происшествии мгновенно облетела весь город.

В тот день я за что-то был оставлен после уроков и возвращался позже обыкновенного домой с кучей расползавшихся книг в руках. Улица была пуста, только впереди виднелось несколько синих мундиров, которых полицейский выпроваживал в конец, подальше от дома исправника. Кое-где мелькала какая-нибудь одинокая фигура, стрелой пересекавшая улицу и исчезавшая... Только когда я поровнялся с казначейством и повернул за угол, навстречу мне попалась кучка гимназистов человек в десять. Среди них я заметил

Перетяткевичей и Домарацких, представителей двух родственных польских семей. Это был, по большей части, народ великовозрастный, состоятельный и державшийся относительно гимназического режима довольно независимо. Один еще недавно был вынужден оставить гимназию. Увидев меня, они заступили мне дорогу и закидали вопросами:

— Вас пропустили? Ну, что? Правда, что с Савицким припадок? Вы видели его сестру?..

— Что такое? — ответил я с недоумением, глядя на возбужденные лица.

— Хороший товарищ! — насмешливо сказал старший Перетяткевич. — Да где же вы были это время?

— В карцере.

— А! Это другое дело. Значит, вы не знаете, что Безак схватил Савицкого за ухо и швырнул в каталажку? Идите домой и зовите товарищей на улицу.

Рассказ прошел по мне электрической искрой. В памяти, как живая, встала простодушная фигура Савицкого, в фуражке с большим козырем и с наивными глазами. Это воспоминание вызвало острое чувство жалости и еще что-то темное, смутное, спутанное и грозное. Товарищ... не в карцере, а в каталажке, больной, без помощи, одинокий... И посажен не инспектором... Другая сила, огромная, стихийная, будила теперь чувство товарищества, и сердце невольно замирало от этого вызова. Что делать?

Я побежал домой, бросил книги, не нашел братьев и опять опрометью кинулся на улицу. Перетяткевичей и Домарацких уже не было. Они, вероятно, ушли куда-нибудь совещаться. Но по площади бродили группы учеников, ошеломленных происшествием и не знавших, что делать. Полицейские не успевали их прогонять даже с Гимназической улицы. Разговаривали, расспрашивали, передавали в разных вариантах, что случилось. Сходились, расходились, не находя места. Несколько человек, особенно предприимчивых, пробрались к окну каталажки через забор соседнего двора и видели, что Савицкий лежит на лавке. Будочник покрыл его лицо темною тряпкой.

Трудно сказать, что могло бы из этого выйти, если бы Перетяткевичи успели выработать и предложить какой-нибудь определенный план: идти толпой к генерал-губернатору, пустить камнями в окна исправницкого дома... Может быть, и ничего бы не случилось, и мы разбрелись бы по домам, унося в молодых душах ядовитое сознание бессилия и

ненависти... И только, быть может, ночью забренчали бы стекла в генерал-губернаторской комнате, давая повод к репрессиям против крамольной гимназии.

Но раньше, чем это успело определиться, произошло другое.

Из дома на той же улице, одетый по форме, важный, прямой, в треуголке и при шпаге вышел директор Долгоногов. Он был недавно назначен, и мы его знали мало. Да, правду сказать, и впоследствии не узнали ближе. Он был великоросс, и поэтому в нем не было обрусительной злобы, справедлив — порой признавал неправым начальство в столкновениях с учениками — и строг. Но для нас это был всё же чиновник педагогического ведомства, точный, добросовестный формалист, требовательный к себе, к учителям и к ученикам... Как оказалось, кроме того, у него было сознание своего достоинства и достоинства того дела, которому он служит. Так представляется мне этот человек теперь, когда я вспоминаю его в этот знаменательный день.

В эту минуту во всей его фигуре было что-то твердое и сурово спокойное. Он, очевидно, знал, что ему делать, и шел среди смятенных кучек гимназистов, как большой корабль среди маленьких лодок. Отвечая на поклоны, он говорил только:

— Расходитесь, дети, расходитесь!

И было в нем что-то, заставлявшее учеников чувствовать, что они действительно дети, и полагаться на этого спокойного, серьезного человека.

Так он вошел в дом, где остановился генерал-губернатор. Минуты через три он вышел оттуда в сопровождении помощника исправника, который почтительно забегал перед ним сбоку, держа в руке свою фуражку, и оба пошли к каталажке. Помощник исправника открыл дверь, и директор вошел к ученику. Вслед за тем прибежал гимназический врач в сопровождении Дитяткевича, и другой надзиратель провел заплаканную и испуганную сестру Савицкого.

Было что-то ободряющее и торжественное в этом занятии полицейского двора людьми в мундирах министерства просвещения, и даже колченогий Дидонус, суетливо вбегавший и выбегавший из полиции, казался в это время своим, близким и хорошим. А когда другой надзиратель, большой рыжий Бутович, человек очень добродушный, но всегда несколько «в подпитии», вышел к воротам и сказал: «Директор просит всех гимназистов разойтись по домам!» — то

через минуту около полицейского двора и исправницкого дома не осталось ни одного синего мундира.

В чиновничьих кругах передавали подробности сцены между генерал-губернатором и директором. Когда директор вошел, Безак, весь раскаленный, как пушка, из которой долго палили по неприятелю, накинулся на него:

— Что тут у вас! Беспорядки! Непочтительность! Полячки не снимают перед начальством шапок!

— Ваше превосходительство, — сказал Долгоногов холодно и твердо, — в другое время я готов выслушать всё, что вам будет угодно сказать. Теперь прежде всего я требую немедленного освобождения моего ученика, незаконно арестованного при полиции. О происшествии я уже послал телеграмму моему начальству.

Безак растерянно посмотрел на директора и... приказал тотчас же отпустить Савицкого.

В один из карточных вечеров у отца об этом случае заговорили чиновники. Все сочувствовали и немного удивлялись Долгоногову. Одни думали, что ему не сдобровать, другие догадывались, что, должно быть, у этого Долгоногова есть «сильная рука» в Петербурге. Отец с обычной спокойной категоричностью сказал:

— А, толкуйте! Просто действовал человек на законном основании — и баста!

— Но ведь, — Безак!.. Назначен самим царем!

— Все мы назначены царем, — возразил отец.

Достоевский в одном из своих «Дневников писателя» рассказывал о впечатлении, какое в юности произвела на него встреча на почтовом тракте с фельдъегерем:[1] фельдъегерь стоял в повозке и, не переставая, колотил ямщика по шее. Ямщик неистово хлестал кнутом лошадей, и тройка с смертельным ужасом в глазах мчалась по прямой дороге, мимо полосатых столбов. Эта картина показалась юноше символом всей самодержавной России и, быть может, содействовала тому, что Достоевскому пришлось стоять у эшафота в ожидании казни... В моей памяти таким символическим пятном осталась фигура генерал-губернатора Безака. Цельное представление о «власти-стихии» дало сразу огромную трещину. На одной стороне оказался властный сатрап, хватающий за ухо испуганного мальчишку, на другой — за-

---

[1] Фельдъегерь (нем.) — военный или правительственный курьер для доставки важных или секретных бумаг.

кон, отделенный от власти, но вооружающий скромного директора на борьбу и победу.

Много ли русская школа знает таких выступлений за последние десятилетия, ознаменованные вторжением в нее «административного порядка» и бурными волнениями молодежи? Кто вместо нее проявлял гражданское мужество в защите законности, человечности и права?





В ДЕРЕВНЕ

ГАРНОЛУЖСКОЕ ПАНСТВО

Деревня для школьника-горожанина — это каникулы.

Когда мы переезжали из Житомира в Ровно, то оказалось, что Гарный Луг, деревня дяди капитана, находится всего в пятидесяти или шестидесяти верстах от города. По семейному соглашению, сын капитана Саня жил у нас в Ровно весь учебный год, а мы всей семьей приезжали к ним на каникулы. Саня был мальчик длинный, худощавый, с деревенскими приемами, которые делали его жертвой насмешек, с детски чистым сердцем и головой, слабоватой на учение. Мы все любили его, но порой довольно жестоко шутили над его деревенской простотой, которую он сохранил на всю жизнь и сохранил еще что-то особенное: как будто противоречия жизни отпечатлелись бессознательно на слишком чуткой совести.

Деревня была своеобразная, одна из тех, в которых крепостное право еще до формального упразднения уже дошло до явной нелепости. Покойный Данилевский[1] в беглом

[1] Данилевский Григорий Петрович (1829—1890) — писатель, автор исторических и бытовых романов. Изображал преимущественно жизнь русского дворянства и буржуазии. Короленко имеет в виду его очерк «Село Сорокопановка», но ошибочно называет «Стопановка».

эскизе набросал картинку деревни, носившей характерное название Стопановки. Так окрестили ее потому, что в ней было около сотни «помещиков», почти столько же, сколько крепостных. Таких деревень к концу крепостного права было, надо думать, немало. Поместное сословие множилось, разорялось, теряло черты барства божьей милостью, выделяя всё более и более паразитов, приживальщиков, владельцев одной или двух душ...

Гарный Луг представлял настоящее гнездо такого выродившегося «панства»: уже ко времени эмансипации[1] в нем было около шестидесяти крестьянских дворов и что-то около двух десятков шляхтичей-душевладельцев. Капитану одному принадлежало около трети.

Как возникла эта странная «социальная структура», я не знаю. Всего вероятнее, что Гарный Луг был когда-то так называемым «застенком»[2], а его «панство» представляло «застенную шляхту», ярко описанную Мицкевичем[3] в «Пане Тадеуше», тяготевшую к какому-нибудь патрону[4].

В черте капитанской усадьбы, на небольшом холмике над прудиком, высилось старинное темное здание с остроконечною крышей, загадочного вида и назначения. Кругом, точно почетная стража, стояли семь пирамидальных тополей с опаленными вершинами, и издали всю эту группу можно было принять за старинную сторожевую башню. Но в действительности это был только «магазин», то есть кладовая. В нижнем ее помещении стояли бочки с квасом, огурцами, капустой. В среднем ссыпали в засеки хлеб, а в мезонине была жилая комната с балкончиком. На балкон нам воспрещалось выходить под опасением провала, и порой всё это почтенное здание кряхтело и как будто расседалось. Но капитан этого не признавал. Он очень гордился «магазином», который был виден далеко со своими тополями, зани-

---

[1] Эмансипация — освобождение от зависимости, здесь имеется в виду крепостная зависимость.

[2] «Застенок» — так называлась в Польше свободная земля, примыкавшая к полям, сенокосам и пастбищам села и отделенная от них какой-либо естественной границей. Мелкая шляхта охотно селилась на таких землях и называлась «застенной шляхтой».

[3] Мицкевич Адам (1798—1856) — великий польский поэт, друг и современник Пушкина. В большой эпической поэме «Пан Тадеуш» Мицкевич описывает быт польской шляхты в конце XVIII века, с пирами и охотами, с дворянским высокомерием и ссорами из-за пустяков... В поэме много юмора, но вместе с тем она проникнута романтической грустью о старой, уходящей в прошлое Польше.

[4] Патрон (лат.) — покровитель, защитник.

мая центральное, господствующее положение. Кругом, точно под его покровительством, ютились соломенные крыши, сады, левады[1], колодцы с журавлями. Кое-где, в одиночку, точно отбившиеся от центра, стояли отдельные тополи, обозначая «панские усадьбы». Лучшая из них — дом капитана — была тоже с соломенной крышей. Остальные почти уже ничем не отличались от мужицких.

По преданию, «магазин» был единственным остатком богатой панской усадьбы, служившей центром для гарнолужской шляхты. Капитан дорожил им, как эмблемой. Самый крупный из «помещиков» Гарного Луга, хотя человек сравнительно новый, он вместе с этой древней постройкой как бы наследовал первенствующее положение.

Прежний центр исчез навеки, а с ним исчез и смысл существования местной шляхты.

Капитан, как уже сказано, был отличный рассказчик и по временам, в длинные зимние вечера, любил изображать эпизоды гарнолужского прошлого с его удивительными нравами. Старая, отжившая шляхетская «воля», лишенная смысла и значения, выражалась в карикатурных формах. В деревне было две партии, продолжавшие из-за чего-то воевать, нападать друг на друга и тягаться в судах. Центром этой борьбы являлось право пропинации, то есть сдача в аренду шинка[2]. Каждая партия считала это право за собой, и каждая выдвигала своего кандидата, поддерживая его вооруженной рукой. Шинок превращался порой в настоящую крепость. Паны Лохмановичи ставили караулы, чтобы защитить водворенного в шинке Янкеля; Банькевичи чинили нападения, чтобы водворить на его место Мошка. Темными ночами порой закипал бой. Паны во главе челяди лезли к корчме на приступ; трещали головы, лаяли собаки, вопили женщины и дети.

Когда водка вся выходила, и приходилось покупать в городе новый запас, — наступали самые драматические моменты этой гарнолужской илиады.[3] Янкеля с бочкой сопровождал вооруженный отряд. Вперед проезжали благопо-

---

[1] Левада — огороженная или окопанная часть луга близ усадьбы.

[2] Шинок — питейный дом, кабак.

[3] «Илиада» — древнегреческая эпическая поэма, в которой описываются осада греками города Трои в Малой Азии и подвиги древних героев. Выражение «гарнолужская илиада» имеет явно иронический характер.

лучно. Но на обратном пути, около мостика в овраге, устраивалась засада. В одной из таких экспедиций капитан, кажется, участвовал лично и с большим юмором рассказывал, как во время жаркого боя мужики вышибли у бочки дно. Обе стороны, забыв вражду, кинулись черпать водку шапками, ковшами, даже сапогами, у кого они были. Утро застало витязей вповалку на лесной мураве, друзей и врагов рядом.

Всё это вело, конечно, к тяжбам, с наездами приказных, которые одни извлекали пользу из этих «рыцарских» столкновений...

В то время, когда мне пришлось познакомиться с Гарным Лугом, героические нравы отошли в область легенд. Панство еще до реформы окончательно опустилось и обнищало. Рассказывали, между прочим, что, вследствие каких-то замысловатых семейно-наследственных комбинаций, два шляхтича, женатые на родных сестрах, владели одной только крепостной «душой» и то спорной. Хуже всего при этом доставалось, конечно, злополучному предмету спора. Пока о «душе» Микиты в суде шла тяжба, оба пана отдавали ему приказания, и оба требовали покорности. Несчастный мужик вечно находился под воздействием двух сил, тянувших в разные стороны. Не удивительно, что равнодействующая повлекла его в направлении, одинаково удаленном от обеих: он облюбовал себе место в шинке Янкеля. Положение между двумя воюющими и одной нейтральной державой развило в Миките дипломатические способности: порой он заключал союз с одним паном и вместе с ним тузил другого. Потом переходил на сторону противника и для восстановления политического равновесия добросовестно колотил недавнего союзника. Суда он не боялся, так как в обоих случаях исполнял панское приказание.

Бывало, конечно, и так, что оба пана приходили к сознанию своего, как теперь принято говорить, классового интереса и заключали временный союз против Микиты. Тогда Миките приходилось плохо, если только Янкель не успевал своевременно обеспечить ему убежище.

Вообще жизнь злополучного спорного мужика сложилась совсем не по-людски... Иметь одного, но «настоящего» пана было бы для него счастьем. Поэтому он не раз приходил к капитану, прося купить его в нераздельное владение, и обещал работать за троих. Работник он был хороший, и Янкель не имел оснований на него жаловаться. Но купить

его было нельзя, так как не было известно, кто же, собственно, мог его продать. А разделить покупную сумму пополам «стороны» не соглашались: они лучше согласились бы разрубить пополам самого Микиту.

— Хиба ж я-таки ничего не стою? — спрашивал бедняга в отчаянии.

— Я тебя, бедный человек, не хулю, — отвечал капитан. — Мужик ты стоящий, но с тобой приходится наживать тяжбу. Иди себе с богом.

Микита шел в корчму, напивался и становился страшен для обоих владельцев.

Самым старым из этой шляхты был пан Погорельский, живая летопись деревни, помнивший времена самостоятельной Польши. Он служил «панцырным товарищем» [1] в хоругви [2] какого-то пана Холевинского или Голембиовского и участвовал в конфедерации. [3] Ему было что-то около сотни лет.

Мне приходит в голову странная мысль. Чуть не каждый год мы читаем в газетах, что в том или другом месте умер старик или старуха ста, ста десяти лет, а лет восемь или десять назад сибирские газеты сообщали о смерти поселенца 136 лет... Когда мы смотрим на горные склоны, покрытые лесом, то даже средняя гора кажется огромной по сравнению с деревьями: такая бесчисленная зеленая рать толпится по ее уступам. Но если бы выбрать столетние деревья и смерить гору по их росту, то оказалось бы, что десяток-другой таких деревьев уже измеряет всю высоту... Бесчисленные поколения людей, как мелколесье на горных склонах, уместились на расстоянии двадцати столетий...

С тех пор как пала Иудея, Римская империя разделилась и потонула в бесчисленных ордах варваров, основались новые царства, водворилась готическая тьма средневековья с гимнами небу и стонами еретиков; опять засверкала из-под развалин античная жизнь, прошумела реформация; целые поколения косила Тридцатилетняя война, ярким костром вспыхнула Великая революция и разлилась по Европе пламенем наполеоновских войн... И подумать только,

---

[1] Панцырный товарищ — воин.

[2] Хоругвь — знамя; войсковое подразделение со своим знаменем.

[3] Конфедерация (лат.) — союз, объединение. Здесь говорится о союзе польских шляхтичей для совместной защиты своих прав и участия в войне.

что всё это улеглось на расстоянии менее, чем двадцати максимальных человеческих жизней. И всё это время не было недостатка в стодвадцатипятилетних стариках, которые могли бы, «как очевидцы», передавать друг другу летопись веков.

Таких «очевидцев» до наших дней сменилось бы только... двадцать!

Одного из таких старых дубов человеческого леса я видел в Гарном Луге в лице Погорельского.

Он жил сознательною жизнью в семидесятых и восьмидесятых годах XVIII века. Если бы я сам тогда был умнее и любопытнее, то мог бы теперь людям двадцатого века рассказать со *слов очевидца* события времен упадка Польши, за полтора столетия назад.

Но эти вопросы тогда интересовали меня мало.

Проходя зачем-то одним из закоулков Гарного Луга, я увидел за тыном, в огороде, высокую, прямую фигуру с обнаженной лысой головой и с белыми, как молоко, седыми буклями у висков. Это голова странно напоминала головку высохшего мака, около которой сохранились бы два белых засохших лепестка. Проходя мимо, я поклонился.

Старик посмотрел на меня выцветшими, но еще живыми глазами и сказал:

— А чей ты, хлопче? Я что-то таких не видал.

Я ответил, что я племянник капитана, и мы разговорились. Он стоял за тыном, высокий, худой, весь из одних костей и сухожилий. На нем была черная «чамарка» [1], вытертая и в пятнах. Застегивалась она рядом мелких пуговиц, но половины их не было, и из-под чамарки виднелось голое тело: у бедняги была одна рубаха, и, когда какая-нибудь добрая душа брала ее в стирку, старик обходился без белья.

— Да... капитан... Знаю... Он купил двадцать душ у такого-то... Homo novus [2]... Прежних уже нет. Всё пошло прахом. Потому что, видишь ли... было, например, два пана: пан Банькевич Иосиф и пан Лохманович Якуб. У пана Банькевича было три сына и у пана Лохмановича, знаешь, тоже три сына. Это уже выходит шесть. А еще дочери... За одной Иосиф Банькевич дал пятнадцать дворов на вывод,

---

[1] Чамарка — старинная польская одежда, род сюртука.
[2] Homo novus (лат.) — выскочка, человек без прошлого.

до Подоля... А у тех опять пошли дети... У Банькевича: Стах, Франек, Фортунат, Юзеф....

Он сыпал генеалогическими[1] разветвлениями, которые я, конечно, передаю здесь очень вольно, и потом заговорил о старых временах:

— Гей, гей!.. Скажу тебе, хлопче, правду: были люди — во времена Речи Посполитой[2]... Когда, например, гусарский[3] регимент[4] шел в атаку, то, понимаешь, — как буря: потому что за плечами имели крылья... Кони летят, а в крыльях ветер, говорю тебе, как ураган в сосновом бору... Иисус, Мария, святой Иосиф...

Лицо старого панцырного товарища покраснело до лысой макушки, белые букли по сторонам поднялись, и в выцветших зрачках явилась колючая искорка.

Но вдруг он опять весь погас.

— А теперь... Га! Теперь — всё покатилось кверху тормашками на белом свете. Недавно еще... лет тридцать назад, вот в этом самом Гарном Луге была еще настоящая шляхта... Хлопов держали в страхе... Чуть что... А! сохрани боже! Били, секли, мордовали!.. Правду тебе скажу,—даже бывало жалко... потому что не по-христиански... А теперь...

Он вытянул через тын свою сухую шею и заговорил мне в ухо тихим шопотом:

— Теперь мужик, клянусь богом и пресвятой девой, — бьет родовитого шляхтича по морде... И что же?.. Га! Ничего... Да что тут и говорить, — последние времена!

Было знойно и тихо. В огороде качались желтые подсолнухи. К ним, жужжа, липли пчелы. На кольях старого тына чернели опрокинутые горшки, жесткие листья кукурузы шелестели брюзгливо и сухо. Старые глаза озирались с наивным удивлением: что это тут кругом? Куда девались панцырные товарищи, пан Холевинский, его хоругвь, прежняя шляхта?..

В этом старце, давно пережившем свое время, было что-то детски тихое, трогательно-печальное. Нельзя сказать того же о других представителях nobilitatis harnolusiensis[5],

---

[1] Генеалогия (греч.) — родословная, история рода.

[2] Речь Посполитая — так называлось в XVI—XVIII веках объединенное польско-литовское государство.

[3] Гусары — особый вид войска, конницы. Впервые появились в XV веке в Венгрии, затем получили распространение и в армиях других стран.

[4] Регимент — полк.

[5] Hobilitatis harnolusiensis (лат.) — гарнолужской знати.

хотя и среди них попадались фигуры в своем роде довольно яркие.

Однажды у капитана случилась пропажа: кто-то ночью взломал окно в нижнем помещении «магазина» и утащил оттуда кадку масла и кадку меду. Первым сообщил о пропаже пан Лохманович.

Это был человек с очень живописной наружностью: широкоплечий, с тонкой талией, с прямым польским носом и окладистой бородой, красиво расстилавшейся по всей груди, — он представлял, вероятно, точную копию какого-нибудь воинственного предка, водившего в бой отряды. Теперь это была форма без содержания. Из всех качеств старопольского воинства в нем сохранились только величавая осанка, богатырский аппетит и благородное влечение к тонким блюдам. «Пан Лохманович, — говорил про него капитан, — знает, чем пахнет дым из каждой печной трубы в Гарном Луге». К мужичью он питал нескрываемое презрение.

— Их дело! — говорил он уверенно, когда на пропажу собрались соседи. — Шляхтич на это не пойдет. Имею немного; что имею, — мое. А у хамов ни стыда, ни совести, ни страха божия...

Мужики угрюмо молчали и осматривали внимательно признаки взлома. Вдруг один из них разыскал следы под окном. Следы были сапожные, и правый давал ясный отпечаток сильно сбитого каблука. Мужики ходят в «постолах». Сапоги — обувь панская. И они недвусмысленно косились на правый каблук гордого пана. В этой щекотливой стадии расследования пан Лохманович незаметно стушевался.

Поднялся шум. «Разнузданное хлопство», не стесняясь, кричало, что капитанский «магазин» обокрали паны, и с этим известием хлынуло на улицу. Достоинство гарнолужского панства жестоко страдало. Шляхта собралась у старика Погорельского, человека сведущего в вопросах чести, и на общем совете было решено отправить к Лохмановичу депутацию. Бывший панцырный товарищ стал во главе ее и обратился к «брату-шляхтичу» с речью. Сам уважаемый собрат и благодетель видит, что обстоятельства исключительного рода: хлопство кидает злую «калюмнию» [1] на всё благородное сословие Гарного Луга. Единственно для того,

[1] Калюмния (польск.) — клевета.

чтобы вогнать клевету обратно в хлопские пасти, шляхетство просит своего уважаемого собрата дозволить осмотр кладовых.

Пан Лохманович, величавый, как всегда, спокойно согласился.

— Pro forma,[1] благодетель, pro forma, — говорил обрадованный Погорельский. — Только чтобы зажать рты низкой черни.

Обыск подходил к концу без всякого результата.

«Имею мало... что имею, — мое!» — повторял Лохманович. Собирались уже уходить, когда один из мужиков, допущенных в качестве депутатов, разгреб в углу погреба кучу мякины: под ней оказались рядом обе кадушки.

Подхватив их тотчас же на плечи, мужики торжественно понесли находку к капитану, с криками торжества, с песнями, с «гвалтом и тумультом».[2]

Это был жестокий удар всему панству. Пан Погорельский плакал, как бобр, по выражению капитана, оплакивая порчу нравов, — periculum in mores nobilitatis harnolusiensis.[3] Только сам Лохманович отнесся к неприятной случайности вполне философски. Дня через два, спокойный и величавый, как всегда, он явился к капитану.

— Не лучше ли, уважаемый собрат и сосед, бросить это грязное дело, — сказал он. — Ну, случилось там... с кем не бывает... Стóит ли мешать судейских крючков в соседские дела?...

Капитан был человек вспыльчивый, но очень добродушный и умевший брать многое в жизни со стороны юмора. Кроме того, это было, кажется, незадолго до освобождения крестьян. Чувствовалась потребность единения. Капитан не только не начал дела, простив «маленькую случайность», но впоследствии ни одно семейное событие в его доме, когда из трубы неслись разные вкусные запахи, не обходилось без присутствия живописной фигуры Лохмановича.

Но едва ли не самыми замечательными представителями этого измельчавшего шляхетства были два брата Банькевича. Один — «заведомый ябедник» (был встарину такой официальный термин), другой — увы! — конокрад.

---

[1] Pro forma (лат.) — ради формы, для внешней правильности.

[2] Тумульт (польск.) — шум, суматоха, сумятица.

[3] Periculum in mores nobilitatis harnolusiensis (лат.) — опасность, касающаяся нравов гарнолужской знати.

Наружность у Антония (так звали ябедника) была необыкновенно сладостная. Круглая фигура, большой живот, маленькая лысая голова, сизый нос и добродушные глаза, светившиеся любовью к ближним. Когда он сидел в кресле, сложив пухлые руки на животе, вращая большими пальцами, и с тихой улыбкой глядел на собеседника, — его можно было бы принять за олицетворение спокойной совести. В действительности это был опасный хищник.

Ябедник, обладавший острым пером, знанием законов и судопроизводства, внушал среднему обывателю суеверный ужас. Это был злой волшебник, знающий магическое «слово», которое отдает в его руки чужую судьбу. Усадьба Антона Банькевича представляла нечто вроде заколдованного круга.

Если курица какого-нибудь пана Кунцевича попадала в огород Антония, — она, во-первых, исчезала, а во-вторых, начинался иск о потраве. Если, наоборот, свинья Банькевича забиралась в соседский огород, — это было еще хуже. Как бы почтительно ни выпроводил ее бедный Кунцевич, — всё-таки оказывалось, что у нее перебита нога, проколот бок или каким иным способом она потерпела урон в своем здоровье, что влекло опять уголовные и гражданские иски. Соседи дрожали и откупались.

— А! Прошу вас, мой благодетель, — говаривал с видом беспомощного отчаяния один из этих несчастных. — Ну как тут быть, когда человек не знает, какой статьей закона следует гнать из огорода гуся, а какой поросенка! А он загоняет себе чужих и ничего не боится.

Соседям казалось, что куры, индюки и телята Банькевича ограждены особым покровительством закона, а ябедник, стоя на крылечке, целые дни озирал свои владения, высматривая источники дохода.

Слава Банькевича распространилась далеко за пределы Гарного Луга, и к нему, как к профессору этого дела, приезжали за советом все окрестные сутяги.

Появление в Гарном Луге капитана и независимое отношение нового владельца к опасному ябеднику грозили пошатнуть прочно установившийся авторитет. Поэтому Банькевич, наружно сохраняя наилучшие отношения к «уважаемому соседу и благодетелю», высматривал удобный случай для нападения. И вот на второй, кажется, год пребывания капитана в Гарном Луге Банькевич отправился на его ниву со своими людьми и сжал его хлеб.

Убыток был не очень большой, и запуганные обыватели советовали капитану плюнуть, не связываясь с опасным человеком. Но капитан был не из уступчивых. Он принял вызов и начал борьбу, о которой впоследствии рассказывал охотнее, чем о делах с неприятелем. Когда ему донесли о том, что его хлеб жнут работники Банькевича, хитрый капитан не показал и виду, что это его интересует. Жнецы связали хлеб в снопы, тотчас же убрали их, и на закате торжествующий ябедник шел впереди возов, нагруженных чужими снопами.

Дорога пролегала задами мимо капитанской усадьбы. Едва возы, скрипя, поровнялись с широкими воротами клуни[1], — эти ворота внезапно открылись, капитан с людьми выскочили из засады и, похватав лошадей и волов, завернули возы в клуню. Их вводили в одни ворота, быстро выгружали и выпускали порожнем в другие. Атака произведена была так ошеломляюще быстро, что сторона Банькевича не оказала никакого сопротивления. Когда всё было кончено, капитан, сняв фуражку, любезно благодарил доброго соседа за его помощь и приглашал откушать после трудов хлеба-соли.

Удар ябеднику был нанесен на глазах у всего Гарного Луга. Все понимали, что дело завязалось не на шутку. Банькевич отправился на «отпуст», к «чудотворной» иконе, что делал всегда в особенно серьезных случаях.

Когда он вернулся, из его окна всю ночь светился огонь на кусты жасмина, на бурьян и подсолнухи, а в избе виднелась фигура ябедника, то падавшего на колени перед иконой, когда иссякало вдохновение, то усиленно строчившего... На деревне пели уже петухи, когда окно Банькевича стукнуло, и в нем появилось красное лицо со следами не остывшего еще вдохновения. С выражением торжества он поднял руку с листом бумаги и помахал им в ту сторону, где высился темной крышей с флагштоком «магазин» капитана, окруженный тополями.

Все эти подробности один из соседей тотчас же конфиденциально[2] сообщил капитану.

Впоследствии капитан ознакомил нас с драматическими

---

[1] Клуня — хозяйственная постройка для молотьбы и хранения хлеба.

[2] Конфиденциально (лат.) — доверительно, секретно.

перипетиями[1] этой борьбы. Надев роговые очки, подняв бумагу высоко кверху, он с чувством перечитывал ябеды Банькевича и свои ответы.

Писания Банькевича производили впечатление своеобразных, но, несомненно, талантливых произведений. Стиль был старинный русско-польский, кудреватый, запутанный, усеянный такими неожиданными оборотами, что порой чтение капитана прерывалось общим хохотом. Только сам чтец оставался серьезен Было видно, что он отдавал дань искусству противника. Тут было, действительно, и знание законов, и выразительность, и своеобразный пафос, как будто рассчитанный на чувствительность судей. Себя автор называл не иначе, как «сиротой-дворянином», противника— «именующимся капитаном» (мой дядя был штабс-капитан в отставке), имение его называлось почему-то «незаконно приобретенным», а рабочие — «безбожными»... «И как будучи те возы на дороге, пролегающей мимо незаконно приобретенного им, самозванцем Курцевичем, двора, то оный самозванный капитан со своей безбожною и законопротивною бандою, выскочив из засады с великим шумом, криком и тумультом, яко настоящий тать,[2] разбойник и публичный грабитель, похватав за оброти[3] собственных его, сироты-дворянина Банькевича, лошадей, а волов за ярма, — сопроводили оных в его, Курцевича, клуню и с великим поспехом покидали в скирды. О каковом публичном рабунке[4] и явном разбое он, нижайший сирота-дворянин Антоний Фортунатов Банькевич, омочая сию бумагу горькими сиротскими слезами, просит произвести строжайшее следствие и дать суд по форме». В заключение приводились статьи, угрожавшие капитану чуть не ссылкой в каторжные работы, и список убытков, грозивший разорением.

На этих произведениях Банькевича я впервые знакомился с особенностями ябеднического стиля, но, конечно, мое изложение дает лишь отдаленное понятие об его красотах. Особенно поражало обилие патетических мест. Старый ябедник, очевидно, не мог серьезно рассчитывать на судейскую чувствительность; это была бескорыстная дань эстетике, своего рода полет чистого творчества.

---

[1] Перипетии (греч.) — сложные обстоятельства, внезапные перемены в жизни, осложнения.
[2] Тать (древнерусск.) — вор, разбойник.
[3] Оброть (обл.) — часть конской сбруи, недоуздок.
[4] Рабунек (польск.) — грабеж.

Пущенная по рукам жалоба читалась и перечитывалась. Газет в деревне не было. Книги почти отсутствовали, и с красотами писаного слова деревенские обыватели знакомились почти исключительно по таким произведениям. Все признавали, что ябеда написана пером острым и красноречивым, и капитану придется «разгрызть твердый орех»... Банькевич упивался литературным успехом.

Капитан вооружился, в свою очередь, и вскоре тоже прочитал знакомым «в такой-то уездный суд корпуса лесничих отставного штабс-капитана Курцевича отзыв. А о чем оный отзыв», — тому следовали пункты.

Прежде всего он, проситель, не самозванец, а истинный государя своего штабс-капитан, на что имеет законные доказательства. Ибо участвовал в делах с мятежниками, причем понес ядерную контузию, имеет ордена. Выйдя в отставку, определился на службу по корпусу лесничих, был производим в чины, по прошению уволен в отставку в чине штабс-капитана, с мундиром и пенсией. Из чего явствует, что именующий себя сиротой-дворянином Банькевич повинен не токмо в клеветническом оболгании его, Курцевича, но сверх того и в дерзостном пренебрежении высочайшего имени, на указах обозначенного.

Пафосу и чувствительности Банькевича капитан противопоставил язвительность и иронию. Он спрашивал: как сирота-дворянин очутился со снопами у его, Курцевича, клуни, когда всему свету известно, что собственное его, Банькевича, владение находится в другой стороне? «Слыхано и видано, — прибавлял капитан язвительно, — что сироты ходят с торбами, вымаливая куски хлеба у доброхотных дателей, но чтобы сироты приезжали на чужое поле не с убогою торбиною, а с подводами, конно и людно, тому непохвальный пример являет собою лишь оный Антон Фортунатов Банькевич, что в благоустроенном государстве терпимо быть не может». А посему, за силою законов, — капитан, в свою очередь, требовал для Банькевича разных немилостивых наказаний.

Отзыв он повез в город лично. Прислуга вытащила из сундуков и принялась выколачивать военный мундир с эполетами, брюки с выпушками, сапоги со шпорами и каску с султаном. Развешанное на тыну, всё это производило сильное впечатление, и в глазах смиренной публики шансы капитана сильно поднялись.

Тяжба тянулась долго, со всякими подходами, жало-

бами, отзывами и доносами. Вся слава ябедника шла прахом. Одолеть капитана стало задачей его жизни, но капитан стоял, как скала, отвечая на патетические ябеды язвительными отзывами, всё расширявшими его литературную известность. Когда капитан читал свои произведения, слушатели хлопали себя по коленкам и громко хохотали, завидуя такому необыкновенному «дару слова», а Банькевич изводился от зависти.

Едва ли самая злая газетная полемика так волнует теперь литературных противников, как волновала и самих участников, и местное общественное мнение эта борьба капитана с злым ябедником, слава которого колебалась, как иная литературная репутация под ударами новой критики.

В конце концов Банькевич потерял самообладание и стал писать доносы в высшие инстанции на самих судей, чинящих одному Курцевичу толеранцию[1] и потакательство, а ему, сироте-дворянину — импертыненцию[2] и несправедливость. Кроме того, он засыпал разные учреждения доносами на родственников и знакомых капитана и на знакомых этих знакомых. Стоило становому[3], проезжая по стороннему делу, завернуть к капитану, — Банькевич писал донос на станового. Это была игра уже не на выигрыш, а отчаянная слепая защита ябеднического самолюбия...

Суд, которому это надоело, собрал все писания Банькевича и отослал в сенат Сенат применил к Банькевичу статью о «заведомых ябедниках», от коих всем присутственным местам и лицам воспрещается принимать жалобы и доносы. Решение это настигло Банькевича, как гром среди ясного неба. По предписанию нижнего земского суда в Гарный Луг явился становой пристав с волостными и сельскими властями. Собрав гарнолужских понятых,[4] он со злорадным торжеством явился к Антонию, отобрал у него всю бумагу, перья, чернила и потребовал у «заведомого ябедника» подписку о «неимении оных принадлежностей и на впредь будущие времена».

Банькевич был уничтожен. У злого волшебника отняли черную книгу, и он превратился сразу в обыкновенного

---

[1] Толеранция (польск.) — терпимость, снисходительность.

[2] Импертыненция (польск.) — дерзость, грубость.

[3] Становой (становой пристав) — полицейский чиновник в царской России. Начальник полиции стана — части уезда.

[4] Понятой — местный житель, привлекаемый органами власти в качестве свидетеля при производстве обысков, опознаний, описи имущества и т. п.

смертного. Теперь самые смиренные из его соседей гоняли дрючками его свиней, нанося действительное членовредительство, а своих поросят, захваченных в заколдованных некогда пределах, отнимали силой. «Заведомый ябедник» был лишен покровительства законов.

Одной темной осенней ночью на дворе капитана завыла собака, за ней другая. Проснулся кто-то из работников, но сначала ничего особенного во дворе не заметил. Потом за клуней что-то засветилось. Пока он будил других работников и капитана, та самая клуня, с которой началась ссора, уже была вся в огне.

Эту ночь долго помнили в Гарном Луге. Хлеб уже был свезен, но только небольшая часть обмолочена и зерно сложено в «магазине». Оставшиеся скирды и солома пылали так сильно, что невозможно было подступиться; вверху над пожаром в кровавом отсвете вместе с искрами кружились голуби и падали в пламя, а огромные тополи около «магазина» стояли, точно сейчас отлитые из расплавленной меди. Поджог был сделан с расчетом, — ветер дул на «магазин». Но вскоре он переменился и подул в поле. Величавое дряхлое здание уцелело; только у некоторых тополей посохли верхушки и долго потом торчали сухими вениками над остальной буйной листвой, напоминая о страшной ночи.

Капитан в эту ночь поседел. Он хватался за пистолеты, и жене стоило много труда удерживать бешеные вспышки. А пан Антоний сидел утром на своем крылечке, попрежнему сложив руки на круглом животе и крутя большими пальцами. Соседи видели, как он вышел из своей хаты в начале пожара, протирая глаза и неодетый. Улик, значит, не было. Но он не скрывал, что горячо молился пресвятой деве о своих обидах. И она дала ему понять, что его сиротские слезы не будут оставлены без отмщения. При этом масленые глазки «сироты-дворянина» сверкали радостным умилением, а на губах играла такая странная улыбка, что соседи опять начали низко кланяться Антонию.

Один раз успех как будто улыбнулся старому ябеднику и на любимом поприще. Подошло время восстания. Капитан был поляк, но патриот неважный и опять брал события с юмористической стороны. Между прочим, он вздумал пошутить над Погорельским и стал уговаривать бывшего панцырного товарища поступить в отряд. «Повстанцам недостает вождей, и человек, служивший в хоругви Холевинского, может стать во главе отряда». Бедный старик взды-

хал, даже плакал, отбиваясь от соблазнителя: ни нога уже не годится для стремени, ни рука для сабли; но капитан изо дня в день приходил к его хате, нашептывая одно и то же. В одном из этих разговоров он намекнул, что «до лясу» повезли целые возы окороков. Бедный оголодавший старик не выдержал и наутро после разговора пришел записаться.

Судьба чуть не заставила капитана тяжело расплатиться за эту жестокость. Банькевич подхватил его рассказ и послал донос, изложив довольно точно самые факты, только, конечно, лишив их юмористической окраски.. Время было особенное, и капитану пришлось пережить несколько тяжелых минут. Только вид бедного старика, расплакавшегося, как ребенок, в комиссии, убедил даже жандарма, что такого вояку можно было вербовать разве для жестокой шутки и над ним, и над самим делом.

У ябедника Антония был брат Фортунат. Образ жизни он вел загадочный, часто куда-то отлучался и пропадал надолго с гарнолужского горизонта. Водился он с цыганами, греками и вообще сомнительными людьми «по лошадиной части». Порой к гарнолужскому табуну нивесть откуда присоединялись дорогие статные лошади, которые также таинственно исчезали. Многие качали при этом головами, но... пан Фортунат был человек обходительный и любезный со всеми.

Однажды он исчез и более в Гарном Луге не появлялся. Говорили, будто он сложил свою дворянскую голову где-то темною ночью на промысле за чужими лошадьми. Но достоверно ничего не было известно.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Экзамены кончены. Предстоит два месяца свободы и поездка в Гарный Луг. Мать с сестрами и старший брат поедут через несколько дней на наемных лошадях, а за нами тремя пришлют «тройку» из Гарного Луга. Мы нетерпеливо ждем.

Наконец, «тройка» является. Прежде всего на улице по направлению от заставы слышен шум. Бежит насмешливое еврейское юношество, крича, кривляясь, кидаясь грязью. В середине этой толпы виднеются три малорослые лошади: сивая кобыла, старый мерин, именуемый по прежнему владельцу Банькевичем, и третий — молодой конек, почти жеребенок, припрягаемый «на случай несчастия». В передний

конец он бежит рядом с другими на оброти. На козлах сидит молодой парубок в бараньей шапке, лаптях и штанах с мотней[1]. К нему подбегают насмешливые мишуресы[2], предлагая ясновельможному пану заехать к ним. Когда овации становятся слишком шумны и назойливы, — «кучер» приподымается и отмахивается кнутом, как от собак. Лицо его при этом совершенно деловито и серьезно. Почтенные рабочие лошади тоже относятся к шумной суетне совершенно серьезно: Банькевич только стрижет ухом, кобыла едва шевелит хвостом, и только юный жеребчик, к удовольствию толпы, становился поперек, высоко лягался и распускал хвост трубой.

Кучер Антось был парубок на удивление некрасивый: странной формы, суженная кверху голова, несколько кривые, широко расставленные в бедрах ноги, точно ущипнутый нос и толстые губы. Всё вместе производило впечатление, вызывавшее невольную улыбку. Впрочем, он и сам готов был посмеяться над собой. Даже выражение его смешных губ напоминало как будто не самое безобразие, а пародию на чье-то безобразие. И объяснялось это, кажется, глубокой иронией, с которою он относился к своей родной деревне, Гарному Лугу, и ко всему, что из него исходило,— значит, в том числе и к себе. Когда Саня выбегал навстречу и принимался с умилением целовать морды Банькевича и кобылы, Антось смотрел на эти излияния с насмешливым презрением и без всякого повода вытягивал Банькевича кнутом.

В первый приезд, завернув лошадей к сараю и увидя Саню, он сказал ему просто:

— От я и приехал.

— Гы! А мы и не видим, — насмешливо заметил лакей отца, Павел, молодой человек, с глуповатым лицом и отвислой нижней губой, но в сюртуке и грязной манишке. Горничная и кухарка подозрительно фыркнули.

Антось нимало не смутился. Скорчив невероятную рожу, он вытянул губы хоботом и так щелкнул в сторону Павла, что обе женщины расхохотались уже над Павлом. К вечеру он стал на кухне своим человеком и пользовался видимым успехом.

---

[1] Мотня — холщевые штаны вроде мешка, раздвоенного внизу. Этот-то мешок и называется «мотнею». (Примечание В. Г. Короленко).

[2] Мишурес (евр.) — слуга, человек, исполняющий мелкие поручения.

В городе он был тогда в первый раз и отнесся к его чудесам с почтительным вниманием. Запасшись кнутом на случай новых еврейских оваций, он весь день осматривал достопримечательности и долго стоял, задравши голову, перед старым за́мком на острове. Я застал его там: нескладная фигура терялась у подножия гигантского каменного рыцаря, стоявшего у подъезда. Глаза парубка с наивным изумлением бродили по стенам с фресками[1] и проникали в зияющие впадины окон, откуда из таинственного полумрака поблескивала кое-где позолота карнизов, и случайный луч света выхватывал уцелевшие на стенах фигуры нимф и амуров.

— Вот это видно, что паны когда-то жили, — сказал он, увидя меня. И, как-то особенно вздохнув, прибавил:

— Паны были настоящие...

Мне показалось, что в этом вздохе, вместе с почтением к настоящим панам, слышалась укоризна по адресу каких-то других, «ненастоящих»...

Утром он поднял нас еще до рассвета, и мы по холодку проехали мимо заставы с сонным инвалидом.

Эти поездки с Антосем в Гарный Луг были для нас настоящим праздником; нельзя сказать, чтобы нам было особенно удобно в ободранной и тесной гарнолужской таратайке. Зато целый день перед нами мелькали леса, поля, перелески, реки. Стороной около шоссе тянулись вереницы богомольцев в Почаев: ковылял старый еврей с мешком, разносчик своеобразной (впоследствии запрещенной) еврейской почты; тащилась, шурша по щебню, балагула, затянутая сверху пологом на обручах и набитая битком головами, плечами, ногами, перинами и подушками. На козлах еврей, живой и нервный, то и дело взмахивал кнутом, шевелил вожжами, головой, локтями, коленями и подбодрял лошадей отчаянным криком, не производившим на них ни малейшего впечатления.

Около двенадцати часов мы останавливались кормить в еврейском заезжем дворе, проехав только половину дороги, около тридцати верст. После этого мы оставляли шоссе и сворачивали на проселки.

Антось великодушно отдавал нам вожжи, а сам сидел боком и, свесив ноги, курил корешки в черешневой трубке, искусно сплевывая сквозь зубы.

---

[1] Ф р е с к и — роспись стен, картины, выполненные водяными красками по свежей штукатурке.

— Вдарь Банькевича, вдарь! — командовал он и по временам брал кнут. Хлесткий удар влипал в спину злополучного мерина. Тройка встряхивала костистыми спинами, тележка катилась быстрее.

Порой в клубке пыли выкатывалась с проселка помещичья бричка. Антось окидывал ее внимательно критикующим взглядом и по большей части презрительно кривил губы, находя, вероятно, что упряжка ненастоящая. Но вот на дорогу, как звери, выбежала из лесу пара серых, в краковских хомутах. На козлах сидел бравый кучер в шапочке с павлиньим пером и наборном поясе. В сиденье виднелся пан в полотняном плаще от пыли, кинувший на нас мимолетный усталый взгляд. Антось торопливо свернул с дороги и долго провожал видение восхищенным взглядом.

— Newsлизныцький пан, — сказал он почтительно. — Вот это кони... и кучер... Го-го!..

И бедному Банькевичу опять досталось вдоль спины за то, что он ненастоящий панский конь, Антось ненастоящий кучер и везет ненастоящих паничей. В наших взаимных отношениях пробегало облако: мы чувствовали, что, в сущности, Антось презирает нас... правда, вместе с собою...

Солнце склонялось к закату, а наша «тройка» всё еще устало месила пыль по проселкам, окруженная зноем и оводами. Казалось, мы толчемся на одном месте. Некованные копыта мягко шлепали по земле; темнело; где-нибудь на дальнем болоте гудел «бугай»[1], в придорожной ржи сонно ударял перепел, и нетопыри[2] пролетали над головами, внезапно появляясь и исчезая в сумерках.

Становилось всё тише, спокойнее и как будто печальнее. Мы приближались к цели; чувствовалась по знакомым признакам близость Гарного Луга, и, вместе с радостью, какой-то еще клубок странных ощущений катился за нами в пыльной сумеречной мгле. Головы отяжелели от жары, солнца и неудобного сидения. Хотелось поскорее светлой комнаты, чаю, покоя. И из-за близости всего этого проглядывала смутная, неясная, неоформленная тревога, ожидание чего-то еще... чего-то неприятного, что въедет с нами в деревню и останется на всё время...

Мы долго молчим. Таратайка ныряет в лес. Антось, не говоря ни слова, берет вожжи и садится на козлы. Тройка

---

[1] Бугай — выпь, болотная птица из рода цапель.

[2] Нетопыри — летучие мыши.

бежит бодрее, стучат копыта, порой колесо звонко ударяет о корень, и треск отдается по темной чаще.

— Вот тут зимой за Антосем бежали два волка, — задумчиво говорит Саня и прибавляет: — Антось, правда?

Антось не отвечает. Лица его не видно, но мы чувствуем, что оно теперь недоброжелательно и угрюмо и что причина этого — близость Гарного Луга. Лес редеет. Песчаная дорога ведет к мостику, под которым сочится и журчит невидимая речка. Это здесь когда-то устраивались засады на Янкеля с бочкой. Тележка выкатывается на опушку.

Огромный звездный свод висит над широкой темной лощиной. На горизонте смутно рисуется группа тополей и темный массив «магазина». Кругом беспорядочно разбросаны огоньки.

Как хорошо... И как печально. Мне вспоминается детство и деревня Коляновских... Точно прекрасное облако на светлой заре лежит в глубине души это воспоминание... Тоже деревня, только совсем другая... И другие люди, и другие хаты, и как-то по-иному светились огни... Доброжелательно, ласково... А здесь...

Тележка останавливается и даже откатывается назад. Перед нами в темноте столбы скрипучего «коловорота» у въезда в деревню. Кто-то отодвигает его перед нами. Налево, на холмике, светит открытая дверь кабака. В глубине видна стойка и тощая фигура шинкаря. Снаружи, на «призьбе», маячит группа мужиков...

— Ты это, Антось? — несется оттуда вопрос.

— А кто ж?.. Я.

— Рано выехал?

— До схид сонця...

— Отак... А приехал ночью...

— Добрые кони, — насмешливо отвечает Антось, и хлесткий удар звонко шлепает в мягкой тишине вечера.

— Что слышал?

— Ничего... Встретили зализныцького пана. Купил новую пару. Огонь!.. На кучере новая свита...

— Пан... настоящий...

Короткое молчание. Вспыхивают красные огоньки люлек. Один из мужиков подходит к тележке, заглядывает к нам и вежливо здоровается. Но от шинка опять несутся бесцеремонные замечания:

— Привез-таки?

— А привез, — отвечает Антось.

— Всех?

— А кто его знает? Может, пару обронил по дороге... Пойдите, добрые люди, подберете, — ваше.

— Своих довольно, свои осточертели до биса!..

В голосе слышна угрюмая вражда.

— Геть-геть... вьо-о!

Антось щелкает кнутом и принимает позу «настоящего» панского кучера, собирающегося лихо подкатить к крыльцу. Он делает вид, что с трудом удерживает лихую тройку, и даже отваливается корпусом назад. У кабака смеются. Тройка дергает вперед и заворачивает в переулок, где за ней увязываются собаки. Под этот лай, под хлопанье бича и кривлянье Антося мы подъезжаем к скромному дому капитана. И, вместе с радостью прибытия, с предчувствием долгой свободы, в душе стоит смутное сознание, что на эти два месяца мы становимся «гарнолужскими паничами». И над нами, как тень от невидимой тучи, простирается общее отношение этих убогих хат к своему панству. То есть инстинктивная вражда, как к панству вообще, и презрение, как к панству «ненастоящему»...

Я уверен, что многие мои сверстники, выраставшие в условиях ликвидации крепостного строя—в той или другой форме, в той или другой степени, вспомнят это особое сложное «деревенское впечатление»...

Один из работников капитана, молодой парубок Иван, не стесняясь нашим присутствием, по-своему объяснял, социальную историю Гарного Луга. Черт нес над землей кошницу с панами и сеял их по свету. Пролетая над Гарным Лугом, проклятый чертяка ошибся и сыпнул семена гуще. От этого здесь панство закустилось, как бурьян на том месте, где случайно «ляпнула» корова. А настоящей траве, то есть мужикам, совсем не стало ходу.

Другие рабочие смеялись; мы... слушали.

Этот Иван был парубок молодой, смуглый, с глазами, горящими, как угли. Из них глядела мрачная вражда, от которой по временам становилось жутко. Мы не могли тогда понять источника этой вражды и считали Ивана просто отвратительным человеком с дурным характером. Но в мрачном пламени его глаз было что-то незабываемое, беспредметно гневное, стихийное. Однажды, когда мы вместе с рабочими возили с поля снопы, у Ивана вырвались лошади с порожней телегой, прибежали во двор с одним передком и в необъяснимом ужасе забились в тесный угол

между плетнем и сараем. Иван прибежал за ними и, схватив большой дрюк, стал колотить напуганных животных, по чем попало, бешено, исступленно, прямо безумно. Несколько человек едва справились с освирепевшим парубком, а лошади до самого вечера дрожали, как в лихорадке, неперестающею мелкою дрожью. К рабочим он не выказывал никакой вражды, а только отмахивался и рвался опять к «проклятой панской скотине».

Капитан обыкновенно в случаях неисправностей ругал виновного на чем свет стоит так громко, что было слышно по всей деревне. Но на этот раз он не сказал ни слова. Только на следующее утро велел позвать Ивана.

Тот вошел, как всегда угрюмый, но смуглое лицо его было спокойно. Капитан пощелкал несколько минут на счетах и затем протянул Ивану заработанные деньги. Тот взял, не интересуясь подробностями расчета, и молча вышел. Очевидно, оба понимали друг друга. Матери после этого случая на некоторое время запретили нам участвовать в возке снопов. Предлог был — дикость капитанских лошадей. Но чувствовалось не одно это.

Может быть, этот Иван был сын какого-нибудь спорного Микиты.

Была еще во дворе капитана характерная фигура, работник Карл, или, как его называли на польский лад, — Кароль. Это был не совсем заурядный крестьянин, а по виду и совсем не мужик. Самое имя его было неправославное (кажется, он был из униатов). Черты лица были тонки, суховаты, заострены. Сеть морщинок около глаз оттеняла их странное выражение: то задумчиво спокойное, то какое-то колючее и горькое. Он был мастер на все руки: слесарь, столяр, плотник и даже механик. А так как капитан сам тоже обладал жилкой изобретателя-самоучки, то их соединяла как будто симпатия родственных натур. Они сообща построили водяную мельницу, шумевшую колесами на заднем конце пруда, а потом, когда воды оказалось мало для крупного помола, — конный привод. Часто их можно было видеть вместе: Кароль сидел на бревне или на мельничном приводе, с вечной люлькой в зубах и маленьким топориком в руках. Он постукивает топориком, курит, сплевывает, не говорит ни слова и внимательно слушает. А капитан, увлекаясь и жестикулируя, развивает какой-нибудь новый план. Фантазер и изобретатель, он эти свои планы излагал с увлечением, картинно, восторженно. А Кароль, усвоив их

сущность, приводил в исполнение, самостоятельно исправляя недочеты замысла.

В эти минуты их можно было принять за двух неразлучных друзей. Но иной раз капитан заглаза говорил с горечью:

— А! Мужик так мужик и есть! Как волка ни корми,— всё в лес глядит.

А Кароль иногда запивал, и тогда они старались не встречаться.

Как-то раз, на второй или на третий год наших приездов, мы узнали, что когда-то, незадолго до освобождения, капитан приказал обливать Кароля холодной водой на морозе....

Капитан был человек добрый, но время было тревожное, предрассветное, когда мрак как будто еще сгущается и призраки ночи мечутся в предчувствии скорого петушиного крика... Ходили темные слухи о воле, и в крестьянскую массу они проникали еще более смутные, неправдоподобные, фантастичные...

В окрестностях появился гайдамак, называвший себя новым Кармелюком. Это был мужик из ближнего села, ходивший по лесу вместе с обнищавшим шляхтичем из местечка Корца и грабивший одних панов. Через некоторое время шляхтича нашли утопленным в колодце, а гайдамака выдал знакомый мужик. На него сделали облаву, в которой участвовали также помещики (капитан в их числе), — и сослали в Сибирь. Несколько лет об нем не было ни слуху, ни духу, и вдруг он объявился опять.

Мужик-доносчик косил на лужайке в лесу, когда перед ним неожиданно встал гайдамак. Доносчик считал себя погибшим; но тот заставил его сесть на пень и... дочиста обрил бороду, усы и голову. В таком виде он отпустил его вестником к панам: новый Кармелюк собирается в гости...

Однажды, на рождестве, Кароль с другим рабочим, возвращаясь из церкви лесной тропинкой, наткнулись в чаще на огонек. У костра сидели двое вооруженных людей. Они спросили у испуганных рабочих: «чьи они?», угостили водкой и сообщили, что панам скоро конец.

Вернувшись, ни Кароль, ни его спутник ничего не сказали капитану о встрече, и он узнал о ней стороной. Он был человек храбрый. Угрозы не пугали его, но умолчание Кароля он затаил глубоко в душе, как измену. В обычное время он с мужиками обращался лучше других, и мужики

отчасти выделяли его из рядов ненавидимого и презираемого панства. Теперь он теснее сошелся с шляхтой и даже простил поджигателя Банькевича.

Однажды, в какое-то неподходящее время, Кароль запил, и запой длился дольше обыкновенного. Капитан вспылил и решил прибегнуть к экстренным мерам. На дворе у него был колодец с «журавлем» и жолобом для поливки огорода. Он велел раздеть Кароля, положить под жолоб на снег и пустить струю холодной воды... Приказание было исполнено, несмотря на слезы и мольбы жены капитана. Послушные рабы истязали раба непокорного.

Об этой истории никто впоследствии не смел напомнить капитану, и, когда узнав о ней, я спросил у двоюродной сестры: «правда ли это?» — она вдруг побледнела и с расширенными глазами упавшим голосом сказала:

— Правда, но... ради бога, тише.

Эпизод этот залег в моей памяти каким-то странным противоречием, и порой, глядя, как капитан развивает перед Каролем какой-нибудь новый план, а тот слушает внимательно и спокойно, — я спрашивал себя: помнит ли Кароль или забыл? И если помнит, то винит ли капитана? Или себя? Или никого не винит, а просто носит в душе беспредметную горечь и злобу? Ничего нельзя было сказать, глядя на суховатое морщинистое лицо, с колючей искоркой в глазах и с тонкими губами, сжатыми, точно от ощущения уксуса и желчи.

Впрочем, и я, конечно, не разбирался и не суммировал своих впечатлений. Капитан — человек добродушный. И он обливал человека водой на морозе... Кароль с ним теперь как будто дружен. Но «как волка ни корми, — он глядит в лес». И что-то неприятное примешивалось ко всем деревенским впечатлениям. Было хорошо иной раз отправиться в ночное с кучкой деревенских ребят, весело скакавших в сумерках на неоседланных лошадях. Приятно и жутко спать в саду под деревом, прислушиваясь к ночным шепотам и шорохам. Порой среди тихого бреда ночной природы срывалось отяжелевшее яблоко и, громко хлопая по листам, падало на землю. Кричит дальний петух. Тявкает на деревне собака. Близко пролетает с торопливым звонким криком какая-то неугомонная или испуганная птица. И вдруг в затихшем саду новые звуки: треснула ветка хвороста; шуршат кусты. Дерево дрожит слишком частой дрожью, яблоки стучат по земле, как град... Это *они* из деревни забрались в сад.

и подходить к ним опасно. Мы втроем начинаем стучать по стволам и кричим в темноту чащи. Со двора бегут собаки. Неясные тени медленно исчезают в кустах...

Матери опять не хотят нас пускать ночевать в саду. Бог знает, что у *них* на уме!.. Не те, что приходят «на двор» с просьбами, кланяются, целуют руки... А те, что работают у себя на полях, — кажутся такими умелыми и серьезными, но замкнутыми и недоступными.

Усадьба капитана была ограждена непроницаемыми кустами сирени, и наша жизнь постепенно всё более замыкалась в ее пределах. Между нами и деревней стояла стена, и мы чувствовали себя людьми без собственной среды.

Правда, капитан жил теперь в мире с соседями, и гарнолужские «паны» часто посещали его приветливый дом. Лохманович, попрежнему «маестатозный»,[1] хотя надевший вместо «чамары» простую «сукману»[2] из верблюжьей шерсти, не пропускал ни одного торжественного случая. Приходил, покашливая в передней, кланялся капитану, целовал руки у женщин и ждал «стола». Из всех остальных претензий он особенно сохранил претензии гастронома и уверял, будто сможет различать тончайшие оттенки вин. Пользуясь его слабостью, мы приготовляли порой невероятные смеси, создавая для них торжественную обстановку. Бедный шляхтич смотрел на свет, смаковал, пил с удовольствием и хвалил. Только однажды, когда мы хватили через край и угостили смесью пива, вина и дрожжей,— он всё-таки выпил всю бутылку, но на вопрос о качестве, — ответил:

— Ну... скажу вам откровенно: обыкновенное столовое вино... не больше.

В особенно торжественных случаях являлся в капитанском доме даже «заведомый ябедник» — сирота-дворянин Банькевич. Он сильно растолстел и ослаб. За ужином ел невероятно много, а затем садился поуютнее в кресле и, сложив на животе красные руки, глядел на танцующую или играющую молодежь благодушными глазками, пока не засыпал. Было известно, что в такие минуты с достойным шляхтичем бывают не совсем приличные случайности. Кавалеры хихикали, барышни краснели, а беспечный шляхтич просыпался, окидывал притихший зал светлым взором и спрашивал:

---

[1] Маестатозный (польск.) — величественный, представительный.

[2] Сукмана — дешевая верхняя одежда из грубой шерсти.

— А?.. Что такое?..

Порой приезжали более отдаленные соседи-помещики с семьями, но это бывало редко и мимолетно. Приезжали, здоровались, говорили о погоде, молодежь слушала музыку, порой танцовала. Ужинали и разъезжались, чтобы не видаться опять месяцы. Никаких общих интересов не было, и мы опять оставались в черте точно заколдованной усадьбы.

Яркий солнечный день. Раскаленные лучи заливают круглую клумбу с цветами, темную зелень сирени, садовые аллеи. Где-то, как немазанное колесо, клекочет аист, в раскрытые окна из гостиной несутся звуки фортепиано. Это кузина играет пьесы из своего небогатого репертуара: «Песня без слов», «Молитва девы», «Полонез» Огинского, шумки и думки польско-украинских композиторов. Играет недурно. Звуки, полные то беспредметной страсти, то неоформленных исторических воспоминаний, то мечтательного томления, рвутся из комнаты, веют над цветами, вьются, носятся, гаснут над истомленным садом. Я слушаю их с наслаждением, странным, томительным, жутким. Они рождают в груди ощущение, которое ищет исхода, порывается куда-то далеко за этот круг цветов и сирени, куда-то вдаль... Порывается и не может взлететь, и носится всё в том же тесном и знойном кругу. Я ухожу в темные уголки сада, сажусь там и даю волю воображению. В певучем рокоте фортепиано, смягченном расстоянием и зарослями, мне слышится звон чаш, лязг сабель, крики борьбы. И опять романтические призраки прошлого обступают меня кругом, овладевают душой, колышут, баюкают, нежат, уносят в неведомые края и неведомое время. Рыцари, знамена, пыль на степных широких шляхах... Скачка, погоня, сеча... С кем? За что? С какой целью? Во имя какой идеи? Этого не говорит ни этот звенящий рокот, ни раскаленное зноем воображение. А где-то там, за пределами усадьбы, идет своя трудовая жизнь, неведомая и чуждая. От нее веет в наши заколдованные пределы отчужденностью, презрением, враждой. И нет ничего, что бы связало жизнь воображения, мечты, порыва с этой суровой, но действительной жизнью труда и терпения.

На третий, кажется, год мы приехали в Гарный Луг зимой, на святки и здесь узнали, что Антось умер.

На меня это известие произвело такое впечатление, как будто всё то неопределенное, чем веяло на нас с мужичьей

деревни, вдруг сгустилось в темное облако и оттуда пал громовой удар.

Судьба некрасивого парубка была не совсем обыкновенна.

— Антось, может быть, не простой человек, — говорил нам со своим простодушно-печальным и задумчивым видом Саня.

Происхождение Антося было для нас окутано тайной. Впоследствии я узнал, что тайна эта не особенно сложна. В усадьбе капитана жил некоторое время молодой землемер и была «покоёвая панна» (нечто почетнее обыкновенной горничной) из обнищавшей шляхты. Он был бедняк, но... это не помешало увлечению, а только свадьбе. За околицей под купой больших осокорей стояла хата старушки-вдовы Гапки, и в этой хате Антось увидел свет. После этого землемер уехал искать доли, а панна, пока он не найдет эту долю, тоже уехала куда-то на место... Антось остался у Гапки, а потом, в ожидании, пока его потребуют родители, — его взяли к капитану.

Но «доля» так и не далась молодому землемеру. Родители больше уже не встретились ни друг с другом, ни со своим ребенком...

Такова была простая история появления Антося на белом свете вообще и в частности в Гарном Луге. Но так как старшие неохотно раскрывали перед нами черты этого «неприличного» эпизода, то в наших умах из отдельных черточек сложилась более романтическая легенда. Мы почему-то думали, что мать Антося приехала в Гарный Луг в карете, что время родов застигло ее у Гапкиной хаты, что ее высадили какие-то таинственные господа, которые затем увезли ее дальше, оставив Гапке Антося, денег на его содержание и разные обещания. Потом таинственные господа исчезли в широком свете, Гапка умерла, и капитан, по своей доброте, взял покинутого сироту к себе на кухню...

Так оно, наверное, и было: когда капитан решил оставить у себя сиротку, то без сомнения слушался только своего доброго сердца, а не расчета. Остальное пришло, как награда за доброе дело, и случилось естественно и просто: мальчик сначала бегал по всем комнатам; им, вероятно, забавлялись и ласкали; потом, естественным образом, местом его постоянного пребывания стала кухня, где его, походя, толкали и кормили. Говорил он, разумеется, «по-мужицки» и вообще вырастал маленьким «мужиком», некрасивым, вих-

растым, глядевшим искоса, «зызом». А так как естественное состояние мужиков в то время было «крипацтво»,[1] то никто и не заметил, как в лице приемыша Антося подрастал капитану крепостной работник.

В этом положении мы и застали Антося. Это не казалось нам в то время предосудительным или несправедливым, и мы приняли факт так же непосредственно, как и все факты жизни, естественно выраставшие из почвы... Антось был такой же работник из бывших крепостных, как и другие. Только работал за более дешевую плату, и капитан ругал его иной раз «байстрюком» и неблагодарным. Если можно за это осуждать кого-нибудь, то только таинственных родителей. Но они для нас просто романтические фантомы.[2] Появились, исчезли, Антось остался... И всё... Факт вырос в жизни, как в лесу вырастает или сохнет дерево...

Знал ли сам Антось «простую» историю своего рождения или нет?.. Вероятно, знал, но так же вероятно, что эта история не казалась ему простой... Мне вспоминается как будто особое выражение на лице Антося, когда, во время возки снопов, мы с ним проезжали мимо Гапкиной хаты. Хата пустовала, окна давно были забиты досками, стены облупились и покосились... И над нею шумели высокие деревья, еще гуще и буйнее разросшиеся с тех пор, как под ними явилась новая жизнь... Какие чувства рождал в душе Антося этот шум?

Нужно сказать, что некрасивая фигура парубка не возбуждала идеи о «благородном происхождении». Может быть, он был посеян розой, но, по странной игре природы, вырос чертополохом. Только немногие черты выделяли его из остальной дворни; между прочим, он был страстный музыкант.

Мои двоюродные сестры учились у гувернанток игре на фортепиано, и одна играла недурно. Когда в гостиной рокотали клавиши, и звуки неслись в открытые окна, — Антось останавливался над своей работой, а иногда пробирался в кусты и жадно слушал. Иной раз, когда не было капитана, добродушные кузины позволяли ему подходить к инструменту и наигрывали нравившиеся ему мотивы. Кроме того, по воскресеньям у шинка две скрипицы и контрабас наяривали плясовые мотивы, под которые на утоптанной пло-

---

[1] «Крипацтво» (укр.) — крепостная зависимость.

[2] Фантомы (франц.) — призраки, рожденные воображением, привидения.

щадке парубки и дивчата плясали казачка... Антось ловил звуки и присматривался к инструментам.

Однажды он смастерил простым ножом грубое подобие скрипки и стал пиликать в конюшне плясовые напевы, а порой передразнивал «Полонез» Огинского или «Молитву девы».

Сначала к этому относились, как к курьезу, но потом капитану показались оскорбительными эти конюшенные пародии на благородную музыку, или он нашел, что музыкальное баловство мешает работе, — только однажды он страшно вспылил и разбил скрипку вдребезги. Антось сделал другую, лучшую, и с этих пор между Антосем и капитаном началась своеобразная война: Антось прятал скрипки, капитан находил и ломал их. Мы все, молодежь, сочувствовали Антосю и вместе с ним придумывали новые тайники, но и это было только непосредственное чувство: мы готовы были укрыть Антося от капитанского гнева, как укрыли бы от грозы, не рассуждая о том, права эта гроза или нет...

И еще в одном заметно было влияние «непростого происхождения» Антося. Это — в необыкновенном почтении к «настоящим панам»... Эта черта была и в других гарнолужанах, и она понятна. Если уж нужны на свете «господа», то пусть будут «настоящие». Около них и кормиться легче и подчиняться не так обидно. Но у Антося чувство это достигало размеров какого-то культа... Может быть, он представлял себе, что где-нибудь в неведомом свете стали настоящими господами и те двое людей, которые бросили его в жизнь и забыли... А вдруг вспомнят... И он станет тоже «настоящим» и поднимется над презирающими его и презираемыми ненастоящими гарнолужскими панами...

Смерть покончила и с этими мечтами и с этой судьбой... И была она тоже стихийно проста и бессмысленна.

Несмотря на экстренно некрасивую наружность, годам к двадцати Антось выработался в настоящего деревенского ловеласа.[1] Из самого своего безобразия он сделал орудие своеобразного грубоватого юмора. Кроме того, женское сердце чутко, и деревенские красавицы разгадали, вероятно, сердце артиста под грубой оболочкой. Как бы то ни

[1] Ловелас или Ловлас — волокита. Выражение это произошло от имени героя романа английского писателя Ричардсона «Кларисса Гарлоу» Роман пользовался большим успехом у читателей в начале XIX века, и имя Ловеласа стало нарицательным.

было, со своими шутками и скрипицей Антось стал душой общества на вечерницах.

Однажды, захватив скрипку, он тайно ушел со двора и на утро вернулся, еле волоча ноги. На расспросы, что с ним, он не говорил ничего: «нездужаю» — и только. Было еще довольно тепло, только по утрам становились заморозки, и Антось, с инстинктом дикого животного, удалился из людской и устроил себе пристанище на чердаке брошенной водяной мельницы, в конце пруда, совершенно заросшего зеленой ряской. Туда редко кто ходил; там было тихо, пустынно. В полдень, разогретые солнцем, квакали засыпающие на зиму лягушки и однотонно звенела вода, просачиваясь в старые шлюзы. Изредка наведывавшиеся товарищи слышали, как Антось временами стонет на своей вышке. Но когда подходили, он смолкал и говорил, что ему лучше.

О медицинской помощи, о вызове доктора к заболевшему работнику тогда, конечно, никому не приходило в голову. Так Антось лежал и тихо стонал в своей норе несколько дней и ночей. Однажды старик-сторож, пришедший проведать больного, не получил отклика. Старик сообщил об этом на кухне, и Антося сразу стали бояться. Подняли капитана, — пошли к мельнице скопом. Антось лежал на соломе и уже не стонал. На бледном лице осел иней...

Приехал становой с уездным врачом, и Антося потрошили. По вскрытии оказалось, что Антось страшно избит и умер от перелома ребер... Говорили, что парубки, недовольные его успехами на вечерницах и его победами, — застигли его ночью где-то под тыном и «били дрючками». Но ни сам Антось и никто в деревне ни единым словом не обмолвился о предполагаемых виновниках.

Как умершего без покаяния и «потрошенного», его схоронили за оградой кладбища, а мимо мельницы никто не решался проходить в сумерки. По ночам от «магазина», который был недалеко от мельницы, неслись отчаянные звуки трещотки. Старик-сторож жаловался, что Антось продолжает стонать на своей вышке. Трещоткой он заглушал эти стоны. Вероятно, ночной ветер доносил с того угла тягучий звон воды в старых шлюзах...

К тому времени мы уже видели немало смертей. И, однако, редкая из них производила на нас такое огромное впечатление. В сущности... всё было опять в порядке вещей. Капитан пророчил давно, что скрипка не доведет до добра. Из дому Антось ушел тайно... Если тут была вина, то,

конечно, всего более и прямее были виновны неведомые парубки, то есть деревня... Но и они, наверное, не желали убить.. Темная ночь, слишком тяжелый дрючок, неосторожный удар...

И тем не менее было что-то подавляюще-тревожное, мрачное, почти угрожающее в этой нелепой гибели... В зимние вечера от мельницы несло безотчетным ужасом. И, вместе, что-то тянуло туда. Дверка вышки была сорвана с одной петли, и перед нею намело снегу. На чердаке было темно, пусто, веяло жуткой тайной и холодом...

Однажды, на этих святках старшие уехали куда-то, а мы остались дома одни. Зима была снежная, завалило крыши, клумбы, оголенные кусты сирени, узкие дорожки сада. К вечеру поднялась метель, закрывая белыми хлопьями черные стекла. Мы сидели, сгрудившись в одной комнате, у камина, и разговаривали об Антосе, об его полулегендарном для нас происхождении, об его скрипках. Над разговорами этими носилось невысказываемое, может быть, даже несознанное ощущение чьей-то вины, какой-то крупной неправды... А темная ночь глухо гудела за стенами, над садом, над усадьбой, над мельницей.

Вдруг за стеной в саду послышался лай. Собаки от метели скрылись у садового крыльца, где было тише, и теперь, сорвавшись разом, бешеным клубком понеслись в аллею. И так же внезапно лай стих... С минуту неслось только шипение и вой метели, потом совсем близко послышался пугливый визг, что-то кинулось к наружной двери... Дверь, неплотно запертая, соскочила с задвижки... В сени проникла возня, жалобный визг собак и громкий, торжествующий свист ветра. Казалось, кто-то ворвался в дом и слепо стучится к нам в двери, не находя входа...

Мы переглянулись. Лица были бледны.

— Волк, — сказал кто-то. — Надо выйти.

Выходить было жутко, но мы, мальчики, взяли фонарь, сняли со стены два ружья, старый заряженный пистолет и вышли. Дверь в сенях была открыта, и уже успело накидать снегу. Ободренные нашим присутствием, собаки опять яростно залаяли и понеслись в аллею. За ними ничего не было видно, только в свете фонаря неслись в неистовой пляске белые хлопья, а где-то в невидимом ночном просторе слышался непрерывный протяжный шум, свист, гудение. И еще выделялся глубокий, тревожный гул тополей, а на старой крыше магазина железные листы гремели, как будто кто

трогал их или пробегал тяжелыми торопливыми шагами. Казалось, будто этой странной ночью всё живет особенной жизнью: кто-то огромный мечется среди метели, плачет, грозит и проклинает, а всё остальное несется, налетает, отступает, шипит, гудит, грохочет, грозит или трясется от страха...

Собаки опять затихли, и нам было слышно, как они, спутанным клубком, перескакивая друг через друга, опять убегают от кого-то, жалко визжа от ужаса. Мы поспешно вбежали в сени и плотно закрыли дверь... Последнее ощущение, которое я уносил с собой снаружи, — был кусок наружной стены, по которой скользнул луч фонаря... Стена осталась там под порывами вихря. И казалось, ей тоже страшно... Собаки жались к дверям и жалобно, трусливо скулили...

В комнате, освещенной огнем камина, некоторое время стояла тишина.

— Это — Антось... —сказала одна из сестер упавшим голосом...

Это было глупо, но в этот вечер все мы были не очень умны. Наша маленькая усадьба казалась такой ничтожной под налетами бурной ночи, и в бесновании метели слышалось столько сознательной угрозы... Мы не были суеверны и *знали*, что это только снег и ветер. Но в их разнообразных голосах слышалось что-то, чему навстречу подымалось в душе неясное, неоформленное, тяжелое ощущение... В этой усадьбе началась и погибла жизнь... И, как стоны погибшей жизни, плачет и жалуется вьюга...

Поздно ночью занесенные снегом вернулись старшие. Капитан молча выслушал наш рассказ. Он был «вольтерианец» [1] и скептик, [2] но только днем. По вечерам он молился, верил вообще в явления духов и с увлечением занимался спиритизмом [3]... Одна из дочерей, веселая и плутоватая, легко «засыпала» под его «пассами» и поражала старика замечательными откровениями. При сеансах с стучащим сто-

---

[1] «Вольтерианец» — вольнодумец, последователь знаменитого французского писателя и философа Вольтера (1694—1778), непримиримого борца против церкви, отстаивавшего принципы гуманности и политической свободы.

[2] Скептик — недоверчивый, во всем сомневающийся человек.

[3] Спиритизм — суеверие, пользовавшееся распространением в буржуазной и дворянской среде во второй половине прошлого столетия Сторонники его верили в загробную жизнь «духов» умерших и утверждали, что можно общаться с ними с помощью «посредников» — медиумов, в роли которых обычно выступали обманщики и шарлатаны.

лом он вызывал мертвецов... Сомнительно, однако, решился ли бы он вызвать для беседы тень Антося...

На следующий день метель стихла, над наметанными за ночь сугробами ярко светило солнце, с крыш и ветвей срывались белые комочки снега... Мы решили, что, наверное, собаки вчера испугались забежавшего из лесу волка...

СМЕРТЬ ОТЦА

Мы были на летних каникулах в Гарном Луге, когда мать, оставшаяся это лето в городе, прислала известие, чтобы мы все приезжали. Отцу плохо.

Последние годы он всё слабел. Уже давно он оставил все свои фантазии — изучение языков, философию, ветеринарию и тому подобные неожиданности, которыми прежде выражались нестихавшие порывы его молодости. Впрочем, уже в самые последние годы жизни он производил еще один опыт. Брился он всегда сам, и так как это становилось для него всё труднее, то он задумал более радикальное средство: завел тонкие стальные щипчики и выщипывал волосок за волоском. «Облагодетельствую всех чиновников, — говорил он с трогательным отблеском прежнего тихого юмора. — Брейся три раза в неделю, — ведь это мука. А так — выщипал раз — и кончено».

На щеках у него в это время можно было видеть выщипанные плешинки, которые, однако, скоро зарастали. Он выщипывал вторично, думая таким образом истощить рост волос, но результаты были те же. Пришлось признать, что проект облагодетельствования чиновного рода не удается.

Ему оставалось немного дослужить до пенсии. В период молодой неудовлетворенности он дважды бросал службу, и эти два-три года теперь недоставали до срока. Это заставляло его сильно страдать: дотянуть во что бы то ни стало, оставить пенсию семье — было теперь последней задачей его жизни.

Казалось, на этом сосредоточились все оставшиеся еще силы. Он уже не глядел по сторонам жизненной дороги, не устраивал даже невинных карточных вечеров, не вмешивался в хозяйственные дела, не спрашивал нас об успехах в гимназии. Встав утром, он заставлял лакея обтирать себя холодной водой, пил молча чай, надевал мундир и отправлялся через наш дворик в суд. В суде держал себя всё время так, чтобы никто не мог заметить его слабости.

Когда однажды мать послала меня зачем-то экстренно к отцу в эти деловые часы,—я был удивлен его видом. Он сидел на своем месте важный и бодрый, принимал доклады и отдавал ясные, точные приказы. Было видно, что все нити управления судом он держал твердо в своих слабевших руках. Правда, в это время у него был хороший помощник: недавно присланный новый «подсудок» Попов, человек отцовских взглядов на службу, добрый, деловитый и честный. Отец относился к нему с уважением и доверием.

Возвращаясь домой, отец сразу слабел и, едва пообедав, ложился спать. По вечерам опять занимался, а затем ходил, по совету врача, полчаса по комнате, с трудом волоча ноги и постукивая палкой. Дослужить... дослужить во что бы то ни стало остающиеся несколько месяцев!.. На эту задачу свелась теперь вся жизненная энергия этого не совсем заурядного человека!

Когда еврей-посыльный принес к нам в деревню письмо матери, оно застало нас в разгаре молодого веселья, которое сразу упало.

В тот же день мы выехали на гарнолужских лошадях до первой почтовой станции.

Пока на станции запрягали перекладных, я с младшим братом вышел в перелесок у шоссе. Был необыкновенно светлый осенний вечер, когда сумерки угасают незаметно, а сверху, почти с середины неба, уже светит полная луна. Это опять была минута, которая во всех мелочах запала на всю жизнь в мою память. Вся природа показалась мне проникнутой какой-то особенной, мягкой и печальной сознательностью. Тихо шептались листья орешника и ольхи, ветер обвевал лицо, с почтового двора доносилось потренькивание подвязываемого к дышлу колокольчика, — и мне казалось, что все эти сдержанные шумы, говор леса, поля и почтового двора говорят по-своему об одном: о конце жизни, о торжественном значении смерти.

Двоюродный брат, только что выпущенный из училища офицер, тихо подошел к нам и дружески обнял обоих.

— Может быть, выздоровеет, — сказал он.

Но я сознавал, что надежды нет, что всё кончено. Я чувствовал это по глубокой печали, разлитой кругом, и удивлялся, что еще вчера я мог этого не чувствовать, а еще сегодня веселиться так беспечно. И в первый раз встал перед сознанием вопрос: что же теперь будет с матерью, болезненной и слабой, и с нами?..

Колокольчик забился сильнее, заворчали колеса, и через минуту мы ехали по белой ленте шоссе, уходившей в ночную мглу, к сумрачным пятнам дальних перелесков, таким же неясным и смутным, как наше будущее, но всё-таки озаренным, как молодость...

Отца мы застали живым. Когда мы здоровались с ним, он не мог говорить и только смотрел глазами, в которых виднелись страдание и нежность. Мне хотелось чем-нибудь выразить ему, как глубоко я люблю его за всю его жизнь и как чувствую его горе. Поэтому, когда все вышли, я подошел к его постели, взял его руку и прильнул к ней губами, глядя в его лицо. Губы его зашевелились, он что-то хотел сказать. Я наклонился к нему и услышал два слова:

— Не мучь....

На следующий день судьи не стало. За его гробом шло очень много народа, в том числе много бедноты, мещан и евреев. Воинский начальник прислал оркестр, и под звуки похоронного марша, под плеск ветра в хоругвях, сдержанный топот толпы, — гроб понесли на кладбище. Старый инвалид высоко поднял бревно шлагбаума, из окон тюрьмы глядели бледные лица арестантов, хорошо знавших этого человека, лежавшего в гробу с бледным лицом и в мундире...

Стук земли о крышку гроба, заглушенные рыдания матери, и на ровенском кладбище вырос новый холмик под стеной скромной деревянной церкви.

Матери пришлось сразу взять на себя бремя оставшейся семьи. Отец всё-таки не дослужил несколько месяцев, и потому пришлось много хлопотать, чтобы добиться хоть маленькой пенсии.

За тридцать с лишком лет службы вдова судьи, известного своей исключительной честностью в те темные времена, получила что-то около двенадцати рублей вдовьей пенсии. Вместе с детьми это составляло около семнадцати рублей в месяц, и это благодаря усиленным стараниям двух-трех добрых людей, которые чтили память отца и помогали матери советом!

Чтобы кое-как довести до конца наше учение, мать тотчас после похорон отца стала хлопотать о разрешении держать ученическую квартиру, и с этих пор, больная, слабая и одинокая, она с истинно женским героизмом отстаивала наше будущее. Судья мог спать спокойно в своей скромной могиле под убогой кладбищенской церковью: жена, насколь-

ко могла и даже более, выполнила задачу, которая так мучила перед концом его страдающую душу.

Жизнь ее изменилась сразу и резко. Из «жены судьи», одного из первых людей в городишке, она превратилась в бедную вдову с кучей детей и без средств (пенсию удалось выхлопотать только через год). Ей пришлось являться просительницей перед людьми, еще недавно считавшими за честь ее знакомство, а в качестве «содержательницы ученической квартиры» она зависела от гимназического начальства. Правда, за очень редкими исключениями, я не могу припомнить случаев, когда бы обыватели города резко дали ей почувствовать эту перемену, и, наоборот, были случаи трогательной доброты и помощи.

Могила отца была обнесена решеткой и заросла травой. Над ней стоял деревянный крест, и краткая надпись передавала кратчайшее содержание жизни: родился тогда-то, был судьей, умер тогда-то... На камень не было денег у осиротевшей семьи. Пока мы были в городе, мать и сестра каждую весну приносили на могилу венки из цветов. Потом нас всех разнесло по широкому свету. Могила стояла одинокая, и теперь, наверное, от нее не осталось и следа.

Что осталось от жизни, от ее ошибок и ее страданий?..

Я тогда еще верил по-отцовски и думал, что счеты отца сведены благополучно: он был человек религиозный, всю жизнь молился, исполнял долг, посильно защищал слабых против сильных и честно служил «закону». Бог признает это, — и, конечно, ему теперь хорошо.

Впоследствии «простая» вера разлетелась, и в моем воображении вставала скромная могила: жил, надеялся, стремился, страдал и умер с мукой в душе за участь семьи... Какое значение имеет теперь его жизнь, его стремления и его «преждевременная» честность?..

— Чудак был, — решали не раз благодушные обыватели. — А что вышло: умер, оставил нищих.

И говорили это тоже люди «простодушной веры» в бога и в его законы. Никогда ни у матери, ни у всей семьи нашей не возникало и тени таких сомнений.

———— ——



НОВЫЕ ВЕЯНИЯ

«НОВЫЕ»

Кажется, я был в пятом классе, когда у нас появилось сразу несколько новых молодых учителей, проходивших курс гимназии в попечительство Пирогова и только что вышедших из университета.

Одним из первых появился Владимир Васильевич Игнатович — учитель химии. Это был молодой человек, только что с университетской скамьи, с чуть заметными усиками, маленького роста, с пухлыми розовыми щеками, в золотых очках. У нас были ученики, выглядевшие старше своего учителя. Говорил он тонким голосом, в котором будто сохранились детские нотки. В классе несколько робел, и лицо его часто заливал застенчивый румянец. Обращался он с нами вежливо, преподавал старательно, заданное спрашивал редко, к отметкам выказывал пренебрежение, уроки объяснял, как профессор читает лекцию. Голос у него был тоже нетвердый, нежный... Хотелось, чтобы он взял хоть нотой ниже и крепче.

Первым результатом его системы было то, что класс почти перестал учиться. Вторым, что ему порой начали слегка грубить. Бедный юноша, приступавший к нам с идеальными ожиданиями, платился за общую систему, которая вносила грубость и цинизм. Впрочем, это было недолго.

Однажды, когда класс шумел и Игнатович напрасно надрывал свой мягкий голосок, одному из нас показалось, будто он назвал нас стадом баранов. Другие учителя очень часто называли нас стадом баранов, а порой и хуже. Но то были другие. Они были привычно грубы, а мы привычно покорны. Игнатович сам приохотил нас к другому обращению. Один из учеников, Заруцкий, очень хороший, в сущности, малый, но легко поддававшийся настроениям, встал среди шумевшего класса.

— Господин учитель, — сказал он громко, весь красный и дерзкий. — Вы, кажется, сказали, что мы — стадо баранов... Позвольте вам ответить, что... в таком случае..

Класс вдруг затих так, что можно было слышать пролетавшую муху.

— Что в таком случае... вы сами баран..

Стеклянная колбочка, которую держал в руках Игнатович, звякнула о реторту. Он весь покраснел, лицо его как-то беспомощно дрогнуло от обиды и гнева. В первую минуту он растерялся, но затем ответил окрепшим голосом:

— Я этого не говорил... Вы ошиблись...

Простой ответ озадачил. В классе поднялся ропот, значение которого сразу разобрать было трудно, и в ту же минуту прозвенел звонок. Учитель вышел. Заруцкого окружили. Он стоял среди товарищей, упрямо потупившись и чувствуя, что настроение класса не за него. Сказать дерзость учителю, вообще говоря, считалось подвигом, и если бы он так же прямо назвал бараном одного из «старых» — Кранца, Самаревича, Егорова, то совет бы его исключил, а ученики проводили бы его горячим сочувствием. Теперь настроение было недоуменно-тяжелое, неприятное.

— Свинство, брат, — сказал кто-то.

— Пусть жалуется в совет, — угрюмо ответил Заруцкий.

Для него в этой жалобе был своего рода нравственный выход: это бы сразу поставило нового учителя в ряд со старыми и оправдало бы грубую выходку.

— И пожалуется... — сказал кто-то.

— Конечно. Думаешь, — спустит?

— Нет, не пожалуется.

— Пожалуется.

Этот вопрос стал центром в разыгравшемся столкновении. Прошло два дня, о жалобе ничего не было слышно. Если бы она была, — Заруцкого прежде всего вызвал бы

инспектор Рущевич для обычного громового внушения, а может быть, даже прямо приказал бы уходить домой до решения совета. Мы ждали. Прошел день совета. Признаков жалобы не было.

Наступил урок химии. Игнатович явился несколько взволнованный; лицо его было серьезно, глаза чаще потуплялись, и голос срывался. Видно было, что он старается овладеть положением и не вполне уверен, что это ему удастся. Сквозь серьезность учителя проглядывала обида юноши, урок шел среди тягостного напряжения.

Минут через десять Заруцкий, с потемневшим лицом, поднялся с места. Казалось, что при этом на своих плечах он поднимает тяжесть, давление которой чувствовалось всем классом.

— Господин учитель... — с усилием выговорил он среди общей тишины.

Веки у молодого учителя дрогнули под очками, лицо всё покраснело. Напряжение в классе достигло высшего предела.

— Я... прошлый раз...—начал Заруцкий глухо и затем, с внезапной резкостью, закончил: — Я извиняюсь.

И сел с таким видом, точно сказал новую дерзость. Лицо у Игнатовича посветлело, хотя краска залила его до самых ушей. Он сказал просто и свободно:

— Я говорил уже, господа, что баранами никого не называл.

Инцидент был исчерпан. В первый еще раз *такое* столкновение разрешилось *таким* образом. «Новый учитель» выдержал испытание. Мы были довольны и им, и — почти бессознательно — собою, потому что также в первый раз не воспользовались слабостью этого юноши, как воспользовались бы слабостью кого-нибудь из «старых». Самый эпизод скоро изгладился из памяти, но какая-то ниточка своеобразной симпатии, завязавшейся между новым учителем и классом, осталась.

Вскоре Игнатович уехал в отпуск, из которого через две недели вернулся с молоденькой женой. Во втором дворе гимназии было одноэтажное здание, одну половину которого занимала химическая лаборатория. Другая половина стояла пустая; в ней жил только сторож, который называл себя «лабаторщиком» (от слова «лабаторня»). Теперь эту половину отделали и отвели под квартиру учителя химии. Тут и водворилась молодая чета.

Жена Игнатовича была выше его ростом, худенькая, смуглая, не особенно красивая. Но, на наш взгляд, в ней было что-то необыкновенно привлекательное, вернее,—было что-то привлекательное в них обоих вместе и в том, что свое гнездышко они устроили в самом центре гимназической суголоки и шума. Каждую перемену через двор неслись вереницы сорванцов, направляясь в помещение, где можно было тайком затянуться папироской. По звонку всё это неслось обратно, налетая друг на друга, сшибаясь, крича, вступая на скорую руку в короткие драки. Порой в большую перемену во втором дворе устраивались игры в мяч, и ученики, подталкивая друг друга локтями, указывали на смуглое личико, мелькавшее в окнах. Некоторые из старших были даже почтительно влюблены, и из ученической квартиры, заглядывавшей вторым этажом из-за ограды в гимназический двор, порой глядели на лабораторию в бинокли. Иной раз живой и бурный поток, после уроков стремившийся к калитке, вдруг останавливался, пропуская худенькую фигурку, проходившую сквозь толпу с приветливой улыбкой, и тот, кому она кланялась, как знакомому, считал себя польщенным и счастливым. Игнатович изредка приглашал того или другого ученика к себе. Жена его тоже выходила, знакомилась, разговаривала, расспрашивала. Было в этом что-то хорошее, теплое, действовавшее на толпу сорванцов уже тем, что юный учитель был для нас не только машиной, задающей уроки, но и человеком, в маленьком счастье которого мы принимали как бы некоторое участие. Я сначала запустил было химию, но в первые же каникулы вызубрил весь учебник Вюрца назубок; я иногда ходил к Игнатовичу с рисунками приборов, и мне не хотелось, чтобы Марья Степановна сказала как-нибудь при встрече:

— А вы почему же это не учите химию? Вам не нравится? Да?

Одновременно с Игнатовичем приехал Комаров, «украинофил-этнограф». Мы плохо понимали, что это за «труды по этнографии», но чувствовали, что это какой-то интерес высшего порядка, выходящий за пределы казенного преподавания.

Было и еще два-три молодых учителя, которых я не знал. Чувствовалось, что в гимназии появилась группа новых людей, и общий тон поднялся. Кое-кто из лучших прежних, чувствовавших себя одинокими, теперь ожили, и до нас долетали отголоски споров и разногласий в совете.

В том общем хоре, где до сих пор над голосами среднего тембра и регистра господствовали резкие фальцеты автоматов и маниаков, стала заметна новая нотка.

А затем явился и еще один человек, на воспоминании о котором мне хочется остановиться подольше.

ВЕНИАМИН ВАСИЛЬЕВИЧ АВДИЕВ

Наш прежний словесник, Митрофан Александрович Андриевский, успел как-то жениться и «по семейным обстоятельствам» перевелся в другую гимназию. Мы проводили его с сожалением, так как любили его добродушие, мягкую улыбку, порой меткие словечки и трогательную преданность «Слову о полку Игореве». На некоторое время «кафедра словесности» осталась незанятой. На уроки приходил Степан Яковлевич Рущевич, который вздумал учить нас выразительному чтению. Сам он читал как-то грузно, массивным голосом, с чувством, толком и расстановкой, но с совершенно неосновательными претензиями на выразительность. Он требовал, чтобы мы точно подражали его интонациям, а нам это было «совестно» и казалось кривлянием. Между тем словесность всегда, по какой-то традиции, считалась в гимназии самым интересным и самым «умным» предметом. С тем большим нетерпением ждали мы нового словесника.

Однажды пронесся слух, что он уже приехал. Зовут Авдиевым, молодой. Кто-то уже видел его в городе и рассказывал о своей встрече как раз перед началом урока, который, как мы думали, на этот раз проведет еще инспектор. Но почти вместе со звонком дверь класса отворилась, и на пороге появился незнакомый учитель. Он на мгновение остановился, спокойно глядя, как мы, застигнутые врасплох, быстро рассаживались по местам, потом прошел к кафедре, кивнув нам на ходу головой. Так как это был первый урок, то он молча стал ждать, пока дежурный прочтет обычную молитву; затем сел и раскрыл журнал. Лицо у него было слегка хмурое, перекличку он делал недовольным голосом, порой останавливаясь над какой-нибудь фамилией и вглядываясь в ее обладателя. Кончив это, он сошел с кафедры и неторопливо прошелся вдоль скамей по классу, думая о чем-то, как будто совсем не имеющем отношения к данной минуте и к тому, что на него устремлено полсотни глаз, внимательных, любопытных, изучающих каждое его движение.

Это был молодой человек, пожалуй, только года на три старше Игнатовича, но более возмужалый и солидный. Лицо у него было не совсем обыкновенное: правильные черты с греческим профилем, большие выразительные глаза, полные губы, тонкие усы и небольшая русая бородка. Всё это было довольно красиво, но почему-то на первый взгляд классу не понравилось. Кроме того, на нем были узкие брюки и сапоги с низкими каблуками, а мы считали верхом щегольства брюки по-казацки, широкие, и высокие каблуки. Узкие брюки носили у нас только заведомые модники и франты в шестом и седьмом классах. Всё это мы успели заметить и оценить до последней пуговицы и до слишком широких лацканов синего фрака, пока новый учитель ходил по классу. Нам казалось странным и немного дерзким то обстоятельство, что он ведет себя так бесцеремонно, точно нас, целого класса, здесь вовсе не существует.

Пройдя таким образом несколько раз взад и вперед, он остановился, точно прогоняя из головы занимавшие его сторонние мысли, и опять внимательно посмотрел на класс.

— Чем вы занимались в последнее время? — спросил он.

Мы переглянулись.

— В последнее время Степан Яковлевич читал нам...

— Что?

— Басни Крылова.

Брови нового учителя чуть приподнялись.

— Зачем? — спросил он.

Вопрос показался нам странным. Об этом нужно было спросить у самого инспектора. Но кто-то догадался:

— Чтобы занять пустые уроки.

— А!.. И вас тоже заставлял читать?

— Да.

— Так. Кто у вас хорошо читает?

Класс молчал. Все мы умели читать громко, иные бегло, но хорошего чтения не слыхали никогда, а «выразительное чтение» Степана Яковлевича казалось нам искусственным.

— Ну, что же? — сказал он нетерпеливо, поводя плечом. — Что же вы молчите?

— Все мы читаем одинаково, — с досадой вырвалось у меня, но я сказал это слишком тихо. Учитель повернулся ко мне и спросил в упор:

— Вы читаете хорошо?

— Нет, — ответил я, покраснев. — Я этого не говорил.

— А я именно об этом спрашивал. Читайте вы! — сказал он ученику, перед которым лежала книжка басен.

Тот встал и, раскрыв наудачу, стал читать. Учитель недовольно морщился.

— Плохо, — сказал он. — И все так? И нет никого, кто бы умел читать?.. Ну, а что вы проходили раньше?

— Теория словесности. По Минину, — ответило несколько голосов.

— А что такое словесность?

Молчание.

— Происходит от «слово»... — сказал кто-то.

— Положим, — а что такое «слово»?

— Выражение мысли.

— Не всегда... Можно наговорить много слов, и всё-таки выйдет бессмыслица... А что такое мысль?

Молчание.

Он посмотрел на нас с комической гримасой и сказал:

— Подумайте каждый про себя и скажите: вы когда-нибудь в своей жизни мыслили?

Это была обида. В классе поднялся легкий ропот.

— Все, — сказал кто-то.

— Что все?

— Все думаем, то есть мыслим, — ответило несколько голосов задорно. Учитель начинал раздражать.

— «Думаете», — передразнил он, поведя плечом. — Вы вот думаете: скоро ли звонок?.. И тоже *думаете*, что это-то и значит *мыслить*. Но вы ошибаетесь. «Мыслить», — понимаете: не думать только, а мыслить, — это значит совсем другое. Берите тетради. Записывайте...

И, медленно расхаживая по классу, он начал с простейших определений. Сначала в его глазах и в морщине между бровями виднелось то же хмурое недовольство. Но развитие темы, видимо, его захватывало. На смуглом лице пробился густой румянец. Говорил он медленно, вдумчиво и свободно. Урок, очевидно, не был заучен: слова рождались, выплавлялись тут же и летели к нам еще не остывшие. По временам он останавливался на ходу и делал паузу, подыскивая наиболее удачную форму, ловил нужное слово и опять шел дальше, всё более и более довольный. Записывать за ним было трудновато. Он говорил медленно, но не ждал, пока мы за ним поспеем. А записать хотелось. Остальная часть урока прошла в этом занятии. Когда ударил звонок, я удивился, что урок кончился так скоро.

Авдиев закончил, взял журнал и, кивнув головой, вышел. В классе поднялся оживленный говор. Впечатление было неблагоприятное.

— Вот так птица! — говорил один.

— У этого, братцы, держись!..

— И откуда выкопали такого черта?

— А ведь он нас, господа, оскорбил!..

За такими разговорами застал нас звонок ко второму уроку. Вошел, помнится, учитель истории Андрусский. Это был тоже «новый», поступивший за несколько месяцев до Авдиева, молодой человек невысокого роста, с умным, энергичным лицом. В классе он держал себя по-учительски, суховато, но всё-таки симпатично. Час урока был у него точно распределен на две неравные части. В первой он вызывал, спрашивал и ставил отметки. Когда он опускал перо в чернильницу, чтобы поставить балл, лицо его делалось задумчиво и серьезно. Было видно, что он тщательно взвешивает в уме все «за» и «против», и, когда после этого твердым почерком вносил в журнал ту или иную цифру, чувствовалось, что она поставлена обдуманно и справедливо. За двадцать минут до конца урока он придвигал к себе учебник и, раскрыв его, начинал объяснение неизменной фразой:

— Ну-с, так вот... Мы остановились на том-то. Теперь будем продолжать.

И, поглядывая в книгу, он излагал содержание следующего урока добросовестно, обстоятельно и сухо. Мы знали, что в совете он так же обстоятельно излагал свое мнение. Оно было всегда снисходительно и непоколебимо. Мы его уважали, как человека, и добросовестно готовили ему уроки, но история представлялась нам предметом изрядно скучным. Через некоторое время так же честно и справедливо он взвесил свою педагогическую работу, — поставил себе неодобрительный балл и переменил род занятий.

Теперь я с удовольствием, как всегда, смотрел на его энергичное квадратное лицо, но за монотонными звуками его речи мне слышался грудной голос нового словесника, и в ушах стояли его язвительные речи. «Думать» и «мыслить»... Да, это правда... Разница теперь понятна. А всё-таки есть в нем что-то раздражающее. Что-то будет дальше?

Вынув тихонько тетрадь, я стал читать под партой записанный урок словесности, рискуя вызвать замечание Андрусского. Урок был красив и интересен.

Дня через три в гимназию пришла из города весть: нового учителя видели пьяным. Меня что-то кольнуло в сердце. Следующий урок он пропустил. Одни говорили язвительно: «с похмелья», другие — что устраивается на квартире. Как бы то ни было, у всех шевельнулось чувство разочарования, когда на пороге, с журналом в руках, явился опять Степан Яковлевич для «выразительного» чтения.

Еще дня через два в класс упало, как петарда[1], новое сенсационное известие. Был у нас ученик Доманевич, великовозрастный молодой человек, засидевшийся в гимназии и казавшийся среди мелюзги совсем взрослым. Он был добрый малый и хороший товарищ, но держал себя высокомерно, как профессор, случайно усевшийся на одну парту с малышами.

В этот день он явился в класс с видом особенно величавым и надменным. С небрежностью, сквозь которую, однако, просвечивало самодовольство, он рассказал, что он с новым учителем уже «приятели». Знакомство произошло при особенных обстоятельствах. Вчера, лунным вечером, Доманевич возвращался от знакомых. На углу Тополевой улицы и шоссе он увидел какого-то господина, который сидел на штабеле бревен, покачивался из стороны в сторону, обменивался шутками с удивленными прохожими и запевал малорусские песни.

— Голос, я вам скажу, — замечательный! — прибавил рассказчик с некоторой гордостью за нового приятеля.

Когда Доманевич, не узнав в веселом господине нового учителя, проходил мимо, тот его окликнул:

— Господин ученик! Подойдите сюда!

Тот подошел, узнав, поклонился.

— Как ваша фамилия?

Доманевич, «признаться, немного струсил». Было уже поздно, вечером выходить с квартир запрещено, а этот новый, кажется, строг. Сам пьян, а директору донесет. Тем не менее, скрепя сердце, фамилию назвал.

— Очень приятно, — вежливо сказал учитель, протягивая руку. — А я Авдиев Вениамин Васильевич, учитель словесности. В настоящую минуту, как видите, несколько пьян.

При этом он захохотал («смех у него удивительно веселый и заразительный») и, крепко опершись на руку уче-

[1] Петарда (франц.) — здесь бумажный разрывной снаряд (хлопушка).

ника, поднялся на ноги и попросил проводить его до дому, так как еще не ознакомился с городом.

— Черт знает, — говорил он, смеясь, — улицы у вас какие-то несообразные, а вино у Вайнтрауба крепкое. Не успел оглянуться, — уже за шлагбаумом... Пошел назад... тут бревна какие-то под ноги лезут... Ха-ха-ха... Голова у меня всегда свежа, а ноги, черт их возьми, пьянеют.

Доманевич проводил учителя на его квартиру над прудом, причем всю дорогу дружески поддерживал его под руку. Дома у себя Авдиев был очень мил, предложил папиросу и маленький стаканчик красного вина, но при этом, однако, уговаривал его никогда не напиваться и не влюбляться в женщин. Первое — вредно, второе... не сто́ит...

Рассказ вызвал в классе сенсацию. «Что же это такое?» — думал я с ощущением щемящей душевной боли, тем более странной, что Авдиев казался мне теперь еще менее симпатичным.

— Ну, брат, — сделал кто-то практический вывод, — теперь можешь круглый год не учить словесность...

— Что мне учить ее! — ответил Доманевич небрежно. — Я с прошлого года знаю всё, что он диктовал... Я, брат, «мыслю» еще с первого класса. — И, окинув нас обычным, несколько пренебрежительным взглядом, Доманевич медленно проследовал к своему месту. Теперь у него явилось новое преимущество: едва ли к кому-нибудь из мелюзги учитель мог обратиться за *такой* услугой...

Пробил звонок. Дверь открылась. Вошел Авдиев и легкой беззаботной походкой прошел к кафедре.

Все взгляды впились в учителя, о котором известно, что вчера он был пьян и что его Доманевич вел под руку до квартиры. Но на красивом лице не было видно ни малейшего смущения. Оно было свежо, глаза блестели, на губах играла тонкая улыбка. Вглядевшись теперь в это лицо, я вдруг почувствовал, что оно вовсе не антипатично, а наоборот, — умно и красиво. Но... всё-таки вчера он был пьян. Авдиев раскрыл журнал и стал делать перекличку.

— Варденский... Заботин... Доманевич.

— Здесь, — ответил Доманевич, лениво чуть-чуть подымаясь с места. Авдиев на мгновение остановился, посмотрел на него искрящимися глазами, как бы припоминая что-то, и продолжал перекличку. Затем, отодвинув журнал, он облокотился обеими руками на кафедру и спросил:

— Вы прошлый раз успели всё записать, что я рассказывал?

— Успели..

— И, конечно, выучили? Да? Ну-с... Господин Доманевич.

Фамилия Доманевича пробежала в классе электрической искрой. Головы повернулись к нему. Бедняга недоумело и беспомощно оглядывался, как бы не отдавая себе отчета в происходящем. В классе порхнул по скамьям невольный смешок. Лицо учителя было серьезно.

— Итак, господин Доманевич расскажет нам содержание первого урока... Как мы подошли к определению предмета? Слушаем.

Доманевич поднялся, постоял полминуты потупясь и потом сказал растерянно:

— Я, господин учитель....

— Что именно?

— Сегодня не успел приготовить.

— Сегодня? А вчера? А третьего дня?

— Я вообще...

— Вообще?.. Напрасно, господин Доманевич, напрасно. Уроки задаются затем, чтобы их готовить. На это было три дня. У вас была основательная причина?

Доманевич молчал.

— Жаль, но... — Он взял перо и раскрыл журнал. — С величайшим сожалением вынужден поставить вам единицу...

Проведя в журнале черту, он взглянул на бедного Доманевича. Вид у нашего патриарха был такой растерянный и комично обиженный, что Авдиев внезапно засмеялся, слегка откинув голову. Смех у него был действительно какой-то особенный, переливчатый, заразительный и звонкий, причем красиво сверкали из-под тонких усов ровные белые зубы. У нас вообще не было принято смеяться над бедой товарища, но на этот раз засмеялся и сам Доманевич. Махнув рукой, он уселся на место.

Осложнение сразу разрешилось. Мы поняли, что из вчерашнего происшествия решительно никаких последствий собственно для учения не вытекает и что авторитет учителя установлен сразу и прочно. А к концу этого второго урока мы были уж целиком в его власти. Продиктовав, как и в первый раз, красиво и свободно дальнейшее объяснение, он затем взошел на кафедру и, раскрыв принесенную с собой толстую книгу в новом изящном переплете, сказал:

— Теперь, господа, отдохнем. Я вам говорил уже, что значит мыслить понятиями. А вот сейчас вы услышите, как иные люди мыслят и объясняют самые сложные явления образами. Вы знаете уже Тургенева?

К стыду нашему, Тургенева многие из нас знали только по имени. Книгами мы пользовались или за умеренную плату у любителя-еврея, снабжавшего нас истрепанными романами Дюма, Монтепена [1] и Габорио, [2] или из гимназической библиотеки. Раз в неделю мы вваливались под вечер в темные гулкие коридоры, казавшиеся таинственными и незнакомыми при сомнительном свете сального огарка, который нес впереди Андриевский, и поднимались по лестницам, обмениваясь с добродушным словесником шутками и остротами. Каждый раз он долго подбирал ключ к замку библиотечной двери, потом звонко щелкал и открывал вход в большую комнату, уставленную по стенам огромными шкафами. Содержимое шкафов было чрезвычайно скудно: тут были преимущественно душеспасительные поучения, «Воскресный досуг», [3] почему-то еще «Солдатское чтение» [4] и «Всемирный путешественник». [5] Мы роптали, а Андриевский отшучивался, порой очень остроумно, возбуждая общий хохот. В конце концов приходилось всё-таки просить для чтения путешествие Ливингстона, [6] за ним путешествие Кука, [7] затем путешествие Араго, [8] путешествие Беккера-паши. [9] Раз я принес домой даже путешествие на Афон. Кажется, это были

---

[1] Монтепень Ксавье (1824—1902)—французский романист и драматург.

[2] Габорио Эмиль (1835—1873) — французский писатель. Был известен своими произведениями на «уголовные» темы.

[3] «Воскресный досуг» — еженедельный дешевый иллюстрированный журнал, издававшийся в Петербурге с 1863 по 1873 год.

[4] «Солдатское чтение» — точнее — «Солдатская беседа» — журнал. издававшийся писателем А. Ф. Погосским с 1858 до 1867 года. Распространялся среди солдат, крестьян и городских ремесленников.

[5] «Всемирный путешественник» — еженедельный иллюстрированный журнал преимущественно географического содержания. Выходил в Петербурге с 1867 по 1878 год.

[5] Ливингстон Давид (1813—1873) — английский путешественник, исследователь Африки.

[7] Кук Джемс (1728—1779) — английский мореплаватель. Открыл ряд островов в Тихом и Атлантическом океанах.

[8] Араго Жак (1790—1855) — французский путешественник и писатель. В начале XIX века совершил кругосветное плавание.

[9] Беккер Самуэль Уайт — английский колонизатор и исследователь Африки. Известен своими открытиями в верховьях Нила. В конце шестидесятых годов был назначен пашою и генерал-губернатором этих земель.

«Письма Святогорца», из которых, впрочем, несмотря на тогдашнее мое религиозное настроение, я запомнил только одно красивое описание бури и восхищение автора перед тем, как святитель Николай заушил на соборе еретика Ария. Святогорец стоит перед иконой, изображающей этот сильный аргумент богословской полемики, и ему чудится, что «отзвук святительского заушения еще носится под сводами безмолвного храма»...

Как бы то ни было, но даже я, читавший сравнительно много, хотя беспорядочно и случайно, знавший уже «Трех мушкетеров», «Графа Монте-Кристо» и даже «Вечного Жида» Евгения Сю,—Гоголя, Тургенева, Достоевского, Гончарова и Писемского знал лишь по некоторым, случайно попадавшим рассказам. Мое чтение того времени было просто развлечением и приучало смотреть на беллетристику как на занимательные описания того, чего, в сущности, не бывает. Порой я прикидывал поступки и разговоры книжных героев к условиям окружавшей меня жизни и находил, что никто и никогда так не говорит и не поступает. Светлым пятнышком выступало воспоминание о «Фоме из Сандомира» и еще двух-трех произведениях польских писателей, прочитанных ранее. Это было ближе к жизни. Где-то, может быть, недалеко и не очень давно, люди могли так говорить и поступать, но всё-таки теперь не говорят и не поступают.

Помню, в один светлый осенний вечер я шел по тихой Тополевой улице и свернул через пустырь в узенький переулок. Улица была в тени, но за огородами, между двумя черными крышами, поднималась луна, и на ней резко обрисовывались черные ветки дерева, уже обнаженного от листьев. Я остановился, невольно пораженный красивой простотой этого несложного пейзажа. Я любил рисовать, ограничиваясь рабским копированием, но теперь мне страстно хотелось передать эту картину вот так же просто, с ровной темнотой этих крыш, кольями плетня, врезавшимися в посветлевшее от месяца небо, со всей глубиной влажных теней, в которых чувствуется так много утонувших во тьме предметов, чувствуется даже недавно выпавший дождь.

Потом мысль моя перешла к книгам, и мне пришла в голову идея: что, если бы описать просто мальчика, вроде меня, жившего сначала в Житомире, потом переехавшего вот сюда, в Ровно; описать всё, что он чувствовал, описать людей, которые его окружали, и даже вот эту минуту, когда он стоит на пустой улице и меряет свой теперешний духовный

рост со своим прошлым и настоящим. Вот в этой слитой, влажной тьме, беспорядочно усеянной огоньками, за этими светящимися окошками живут люди. Теперь они пьют чай или ужинают, разговаривают, ссорятся, смеются. И никогда они не оглядываются на себя и на природу, никогда не примеривают своего «я» ко всему, что их окружает. Быть может, во всем городе я один стою вот здесь, вглядываясь в эти огни и тени, один думаю о них, один желал бы изобразить и эту природу, и этих людей так, чтобы всё было правда и чтобы каждый нашел здесь свое место.

Не этими словами, но думал я именно это. И во мне было немного гордости и много неудовлетворения. Я только думал, что можно бы изобразить всё в той простоте и правде, как я теперь это вижу, и что история мальчика, подобного мне, и людей, его окружающих, могла бы быть интереснее и умнее графа Монте-Кристо. Но, в сущности, я ничего не умел: учитель Стахорский считал меня даровитым рисовальщиком, но требовал тщательной «штриховки». В штриховке я достиг больших успехов, но с ней не мог нарисовать самого простого пейзажа с натуры. Порой, отвязав нашу лодку, я подплывал к острову, ставил ее среди кувшинок и ряски и принимался с залива рисовать старый за́мок с пустыми окнами, с высокими тополями и обомшелыми каменными рыцарями. Рисунки мои производили фурор, но я чувствовал, что это только черты, контуры, штриховка... Нет ни задумчивой массивности старой руины, ни глубины в зияющих окнах, ни высоты в тополях с шумящими вершинами, ни воздуха в высоком небе, ни прозрачности в воде. С ощущением бессилия и душевной безвкусицы я клал карандаши и альбом на скамейку лодки и подолгу сидел без движения, глядя, как вокруг, шевеля застоявшуюся сверкающую воду, бегали долгоногие водяные комары с светлыми чашечками на концах лапок, как в тине тихо и томно проплывали разомлевшие лягушки или раки вспахивали хвостами мутное дно. Через некоторое время душевная пустота, веявшая от мертвой жизни мертвого городка, начинала наполняться: из-за нее выходили тени прошлого. Пустой остров заселялся, за́мок оживал. На широком балконе появлялись группы красавиц, и одна из них держала кубок, а молодой рыцарь (может быть, это даже был я) въезжал на коне по лестницам и переходам и брал этот кубок из руки дамы... Кругом гремели крики, выстрелы, звон шпор и ржание коней.

Или иначе: на замок нападают казаки и гайдамаки, весь остров в белом дыму. Вообще в это время под влиянием легенд, старого замка и отрывочного чтения (в списках) «Гайдамаков» [1] Шевченко романтизм старой Украины врывался в мою душу, заполняя ее призраками отошедшей казацкой жизни, такими же мертвыми, как и польские рыцари и их прекрасные дамы. Что может быть интересного в жизни обыкновенного мальчика и его соседей? Интересны только дикие степи, бешеная погоня, нападения, приключения, подвиги, разумеется, с благополучным окончанием... Одно время я даже заинтересовался географией с той точки зрения, где можно бы в наше прозаическое время найти уголок для восстановления Запорожской сечи... Мечты бесплодно распаляли воображение, обессиливали волю. Когда приходило время возвращаться с этих неудачных художественных сеансов, я лениво брал весла, и моя лодка протягивала за собой медлительный след, тихо заплывавший ряской, водорослями и тиной. В таком настроении застало меня появление нового учителя.

Закончив объяснение урока, Авдиев раскрыл книгу в новеньком изящном переплете и начал читать таким простым голосом, точно продолжает самую обыденную беседу:

«Мардарий Аполлонович Стегунов — старичок низенький, пухленький, лысый, с двойным подбородком, мягкими ручками и порядочным брюшком. Он большой хлебосол и балагур... Зиму и лето ходит в полосатом шлафроке на вате... Дом у него старинной постройки: в передней, как следует, пахнет квасом, сальными свечами и кожей»...

Это — «Два помещика» из «Записок охотника». Рассказчик—еще молодой человек, тронутый «новыми взглядами», гостит у Мардария Аполлоновича. Они пообедали и пьют на балконе чай. Вечерний воздух затих. «Лишь изредка ветер набегал струями и в последний раз, замирая около дома, донес до слуха звук мерных и частых ударов, раздававшихся в направлении конюшни». Мардарий Аполлонович, только что поднесший ко рту блюдечко с чаем, останавливается, кивает головой и с доброй улыбкой начинает вторить ударам:

---

[1] «Гайдамаки» — поэма Т. Г. Шевченко. Была напечатана впервые в 1841 году и оценена современниками как призыв к крестьянскому восстанию. Цензура долгое время не разрешала полностью переиздать «Гайдамаков». Поэма распространялась среди читателей в рукописном виде.

— Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!

Оказывается, на конюшне секут «шалунишку» буфетчика, человека с большими бакенбардами, недавно еще в долгополом сюртуке прислуживавшего за столом... Лицо у Мардария Аполлоновича доброе. «Самое лютое негодование не устояло бы против его ясного и кроткого взора»... А на выезде из деревни рассказчик встречает и самого «шалунишку»: он идет по улице, лущит семечки и на вопрос, за что его наказали, отвечает просто:

— А поделом, батюшка, поделом! У нас по пустякам не наказывают... У нас барин... такого барина по всей губернии не сыщешь...

Среди глубочайшей тишины Авдиев дочитал последнюю фразу: «Вот она — старая-то Русь!..» Затем он сказал несколько опять очень простых слов о крепостном праве и об ужасе «порядка», при котором возможно это двустороннее равнодушие. Звонок Савелия в первый раз прозвучал для нас неожиданно и неприятно.

В этот день я уносил из гимназии огромное и новое впечатление. Меня точно осияло. Вот они, те «простые» слова, которые дают настоящую, неприкрашенную «правду» и всё-таки сразу подымают над серенькой жизнью, открывая ее шири и дали. И в этих ширях и далях вдруг встают, и толпятся, и движутся знакомые фигуры, обыденные эпизоды, будничные сцены, озаренные особенным светом.

Когда после урока я шел домой, мне вспомнился дядя капитан, Гарный Луг, «помещики», Кароль, Антось... И прежнего противоречия, бессмысленной несвязности этих явлений как не бывало... «Чюки-чюки-чюк... Что вы, молодой человек, что вы? Да разве я злодей, что вы на меня так уставились?..» Я понял стихийную непосредственность этого восклицания. Капитан тоже не злодей. Он гораздо умнее, симпатичнее Мардария. И однако... он, несомненно, обливал Кароля водой на морозе. И Кароль с этим примирился, а во мне кипело негодование. Оно относилось к «крепостному праву», которое уже отошло. Но... всё-таки представление о нравственности лиц и о нравственности учреждений, строя жизни уже отделялись друг от друга, как различные категории.

С этого дня художественная литература перестала быть в моих глазах только развлечением, а стала увлекательным и серьезным делом. Авдиев сумел зажечь и раздуть эти

душевные эмоции[1] в яркое пламя. У него было инстинктивное чутье юности и талант. Всё, что он читал, говорил и делал, приобретало в наших глазах особенное значение. История литературы, с поучениями Мономаха[2] и письмами Заточника,[3] выступала из своего туманного отдаления, как предмет значительный и важный, органически подготовлявший грядущие откровения. Коротенькие дивертисменты в конце уроков, когда Авдиев раскрывал принесенную с собой книгу и прочитывал отрывок, сцену, стихотворение, стали для нас потребностью. В его чтении никогда не чувствовалось искусственности. Начиналось оно всегда просто, и мы не замечали, как, где, в каком месте Авдиев переходил к пафосу, потрясавшему нас, как ряд электрических ударов, или к комизму, веявшему на класс вихрем хохота. Он прочитал сцену из «Мертвых душ», и мы кинулись на Гоголя. Особенно любил он Некрасова, и впоследствии я уже никогда не слыхал такого чтения.

Вскоре между Авдиевым и нами завязались простые и близкие отношения. Он приглашал нас к себе, угощал чаем за своим холостым столом и всегда держал себя просто, дружески и весело. Никогда не чувствовалось преднамеренности и дидактизма;[4] легкая шутка и вопрос о только что прочитанной кем-нибудь из нас повести Тургенева, Писемского, Гончарова, Помяловского, стихотворении Некрасова, Никитина или Шевченко сплетались незаметно, непринужденно. До сих пор в душе моей, как аромат цветка, сохранилось особое ощущение, которое я уносил с собой из квартиры Авдиева, ощущение любви, уважения, молодой радости раскрывающегося ума и благодарности за эту радость.

Однажды, возвращаясь под такими впечатлениями к себе часов около девяти вечера, я вдруг наткнулся на инспектора, который в переулке резко осветил мое лицо потайным фонариком. На мгновение меня обдало точно кипят-

---

[1] Эмоции — душевные движения, чувства, волнения.

[2] Владимир Мономах (1053—1125) — князь киевский. Им было написано для сыновей «Поучение». В этом произведении Мономах рассказывает о своей жизни и дает наставления по управлению государством.

[3] «Послание Даниила Заточника» — яркое обличительное произведение древнерусской литературы. Создано в XIII веке. Автор его — уроженец Переяславля — был сослан князем на озеро Лаче. В своем «Послании» Заточник молит князя о помиловании и в то же время изобличает бояр, монахов, княжеских судей — тиунов в утеснении простого народа.

[4] Дидактизм — поучение, назидание.

ком. Но я не испугался, не пытался увернуться и убежать, хотя мог бы, так как передо мной заранее рисовалась в темноте высокая, точно длинный столб, фигура приближавшегося Степана Яковлевича... Помню, что мне было странно и досадно, точно я до этого мгновения всё еще оставался в светлой комнате, а теперь неожиданно очутился в грязном и темном переулке перед назойливым выходцем из другого мира. Повидимому, в выражении моего лица было что-то, удивившее инспектора. Он ближе придвинул фонарик, внимательно всмотрелся в меня и спросил:

— Что вы?

— Ничего, Степан Яковлевич.

— Откуда?

— От Вениамина Васильевича. Относил книгу.

— А!

И он ушел, оставляя во мне впечатление мимолетного сонного призрака.

Никогда от Авдиева мы не слышали ни одного намека на нашу «систему» или на ненормальности гимназического строя. Но он вызывал совершенно особый душевный строй, который непреднамеренным контрастом оттенял и подчеркивал обычный строй гимназической жизни. И это было сильнее прямой критики.

По временам он продолжал пить. Однажды его вывели из клуба, где он начал говорить посетителям — очень веселые, правда, — дерзости. Это вызвало негодование, и Авдиева выпроводили; но и при этом он вел себя так забавно, что и старшины, и публика хохотали, а на следующий день, как стая птиц, разлетелись по городу его характеристики и каламбуры [1]... А еще через несколько дней, в ближайший клубный вечер, он опять явился, как ни в чем не бывало, изящный, умный, серьезный, и никто не посмел напомнить о недавнем скандале. На гуляньях в ясные дни, когда «весь город» выходил на шоссе, чинно прогуливаясь «за шлагбаумом», Авдиев переходил от одной группы к другой, и всюду его встречали приветливо, как общего фаворита [2]. Дамы все были от него в восторге: в отношении к ним он никогда не забывался, даже пьяный, а мужчины старались забыть его выходки.

---

[1] Каламбур — острота, шутка, основанная на сходных по звучанию, но различных по смыслу словах.

[2] Фаворит (лат.) — любимец, человек, пользующийся покровительством.

— Что делать! Человек с сатирическим направлением ума, — сказал про него воинский начальник, и провинциальный город принял эту сентенцию, как своего рода патент, узаконивший поведение интересного учителя. Другим, конечно, спустить того, что спускалось Авдиеву, было бы невозможно. Человеку с «сатирическим направлением ума» это как бы полагалось по штату.

Всё это, разумеется, доходило до гимназистов. Ученики передавали о скандалах по рассказам клубных очевидцев и с удовольствием повторяли остроты и каламбуры своего любимца. Мне тоже порой казалось, что это занимательно и красиво, и иной раз я даже мечтал о том, что когда-нибудь и я буду таким же уездным сатириком, которого одни боятся, другие любят, и все, в сущности, уважают за то, что он никого сам не боится и своими выходками шевелит дремлющее болото. Но я всё-таки не мог примириться с мыслью, что Авдиева «выводили из клуба» и многие считают себя вправе называть его пьяницей.

Однажды он дал мне читать Писемского[1]. Есть у этого писателя одна повесть, менее других упоминаемая критикой и забытая читающей публикой. Называется она «Monsieur[2] Батманов» и изображает человека с «широкой натурой», красивого, эксцентричного[3], остроумного, не признающего условностей. Он попадает из столицы в небольшой губернский город, очаровывает всё общество, которое сам открыто презирает, говорит дерзости губернским магнатам и производит более или менее забавные дебоши. Его любит умная и красивая женщина. Он как будто любит ее также, но всё-таки они расходятся навсегда: мосье Батманов не может подумать без отвращения о законном браке и любви по обязанности...

У меня замирало сердце, когда я читал последнее объяснение Батманова с любимой женщиной где-то, кажется, в театральной ложе. За обликом Батманова я подставил в воображении оригинальное лицо Авдиева, с его тонкой

---

[1] Писемский Алексей Феофилактович (1820—1881) — романист и драматург. В своих произведениях описывал жизнь русской провинции середины XIX века. В шестидесятых годах стал проявлять враждебное отношение к революционно-демократическому движению в России, и творчество его приобрело реакционный характер.

[2] Monsieur (франц.) — господин.

[3] Эксцентричный (лат.) — из ряда вон выходящий, неожиданный, причудливый.

улыбкой, заразительным смехом и порой едким, но чаще благодушно-красивым остроумием. Как и Батманов, он выделялся резким пятном на тусклом провинциальном фоне, головой выше всех окружающих. Как и Батманов, не боялся общего мнения; наконец, как и у Батманова, мне чудилась за всем этим какая-то драма, душевная боль, непонятный отказ от счастья из-за неясных, но, конечно, возвышенных побуждений...

Кончается повесть Писемского неожиданной сценкой. В каком-то сибирском городке местные купцы-золотопромышленники встречают приезжего сановника. Впереди депутации с хлебом-солью стоит дородный красивый человек, с широкой бородой, в сибирке из тонкого сукна и в высоких сапогах бураками. Сановник с некоторым удивлением узнает в нем старого знакомого — мосье Батманова. «Да, чем только не кончалось русское разочарование!» — замечает в заключение Писемский. Обаяние фигуры Батманова было так велико, что я как-то совершенно не обратил внимания на это сатирическое заключение.

Однажды, когда я принес Авдиеву прочитанную книгу, он остановил меня, и мы разговорились как-то особенно задушевно. Вообще я уже стал тогда одним из любимых его учеников, и порой наши беседы принимали оттенок своеобразной дружбы взрослого человека и юноши, почти мальчика. Он спросил, не случается ли мне встречать в литературе знакомых лиц. Я сказал о том, как Мардарий Аполлонович Стегунов заставил меня вспомнить о моем дяде капитане, хотя, в сущности, они друг на друга не похожи. Он выслушал эту параллель с интересом и вдруг предложил вопрос:

— Ну, а я похож на кого-нибудь из этих господ?

— Вы... — ответил я несколько застенчиво, — у Писемского: мосье Батманов.

Авдиев удивленно повернулся на кресле и сказал с недоумением:

— Бат-ман-нов? Странно. В чем же сходство?

Я был в затруднении. Что сказать, в самом деле, на этот вопрос: в скандалах и остроумных каламбурах? Заметив мое затруднение и сконфуженность, он засмеялся и спросил:

— А Батманов этот вам нравится?

— Да.

Он протянул руку, взял со стола книгу и, развертывая ее, спросил:

— Да вы дочитали до конца?

— Дочитал. Что ж, конец... По-моему, можно бы закончить иначе...

— Вы думаете? Ну, нет. Здесь художественная правда. Иначе было бы опять в том же роде.

Он прочел заключительную сценку вплоть до иронического восклицания о русском разочаровании и сказал:

— И что только вам понравилось? Печоринствующий бездельник из дворян... Но с Печориными, батюшка, дело давно покончено. Из литературной гвардии они уже разжалованы в инвалидную команду, — и теперь разве гарнизонные офицеры прельщают уездных барышень печоринским «разочарованием». Вам вот конец не понравился... Это значит, что и у вас, господа гимназисты, вкусы еще немного... гарнизонные...

Я сильно покраснел. Авдиев заметил это и вдруг, откинув голову, залился своим звенящим смехом.

— А! Вот оно что! Кажется, понимаю, — сказал он. — Ну, ничего, ничего, не краснейте! Но ведь это сходство только поверхностное. Батманов прежде всего барин, скучающий от безделья. Ну, а я разночинец и работник. И, кажется...

Он опять взглянул на меня и прибавил серьезным тоном:

— И. кажется, работник в своем деле недурной.

Он несколько времени молча покачивался в коесле-качалке, глядя перед собой. Затем опять протянул руку к полке с книгами.

— «Затишье» вы читали? — спросил он.

— Читал.

Он раскрыл Тургенева и, перекинув несколько листков, прочел громко

«Марья Павловна опять взглянула на него.

— ...Вы уверяете, что слушаетесь меня...

— Конечно, слушаюсь.

— Слушаетесь, а вот, сколько раз я вас просила... не пить вина...

Веретьев засмеялся.

— Эх, Маша, Маша! И вы туда же!.. Да, во-первых, я вовсе не пьяница; а во-вторых, знаете ли вы, для чего я пью? Посмотрите-ка вот на эту ласточку... Видите, как она

смело распоряжается своим маленьким телом, куда хочет, туда его и бросит!.. Вон взвилась, вон ударилась книзу, даже взвизгнула от радости, слышите! Так вот я для чего пью, Маша, чтобы испытать те самые ощущения, которые испытывает эта ласточка... Швыряй себя, куда хочешь, несись, куда вздумается...»

— Веретьев! — сказал я радостно. Веретьев мне тоже очень нравился и тоже отчасти напоминал Авдиева: превосходно читал стихи, говорил пошляку Астахову неприятную правду в глаза и так красиво «швырял себя, подобно ласточке». Но на этот раз я тотчас же вспомнил конец и сказал довольно уныло:

— А кончает тоже плохо.

— Очень плохо, — сказал Авдиев. — Ласточка, ласточка, а затем... господин в поношенном испанском плаще, с слегка оплывшими глазами и крашеными усами. Знаете что, — никогда не пейте, и главное — не начинайте. Ни из удальства, ни для того, чтобы быть ласточкой. Запомните вы этот мой совет, когда станете студентом?

— Запомню, Вениамин Васильевич, — ответил я с волнением и затем, по внезапному побуждению, поднял на него глаза, но не решился высказать вставший в уме вопрос. Он, вероятно, понял, потянулся в кресле и быстро встал на ноги.

— Да, — сказал он: — «ласточка» — это у Тургенева замечательно верно; но крашеные усы... бррр. И вообще скверность. Эти полеты нужно уметь остановить во-время...

Он прошелся по комнате, потом опять сел и закачался, смеясь, а я, ободренный этим, решился еще на один вопрос:

— Правда... вы женитесь?

Он с улыбкою, искоса взглянул на меня и спросил в свою очередь:

— На ком?

— На Л.

— А вы бы мне этого желали?

— Да, очень...

— Искренно?

— Искренно, — ответил я с убеждением.

Он захохотал как-то совсем по-детски и потом сказал:

— Очень тронут... но... Да будет вам краснеть-то! Нет, не женюсь...

Я, действительно, покраснел, должно быть, до корня волос. В городе начали поговаривать, как о предполагаемой

невесте Авдиева, о той самой девушке, в которую, в числе других, был влюблен и я. Слух этот сначала больно поразил мое сердце, но затем я примирился с мыслью, что она будет женой Авдиева и что тогда он бросит пить. Мое довольно подвижное воображение рисовало мне на этом фоне разные более или менее красивые картины. Через много лет я, пожилой и одинокий, так как остался верен своему чувству, посещаю после разных бурных скитаний по свету их счастливую семью. И только тогда он узнает тайну моей любви и моего самоотвержения и то, какую огромную жертву принес ему горячо любивший его ученик...

Переливчатый смех Авдиева спугнул эти фантазии. На этот раз я покраснел оттого, что почувствовал их ребячество и... вспомнил сразу, что, в сущности, великодушие мое было довольно дешевого свойства, так как и без Авдиева мои шансы были довольно плохи. Реализм отвоевывал место у сентиментально-фантастической драмы.

Русских писателей я брал у Авдиева одного за другим и читал запоем. Часто мне казалось, что всё это, в сущности, только вскрывает и освещает мысли и образы, которые давно уже толпились в глубине моего собственного мозга. Каждый урок словесности являлся светлым промежутком на тусклом фоне обязательной гимназической рутины, часом отдыха, наслаждения, неожиданных и ярких впечатлений. Часто я даже по утрам просыпался с ощущением какой-то радости. А, это сегодня урок словесности! Весь педагогический хор, с голосами среднего регистра и выкрикиваниями маниаков, покрывался теперь звучными и яркими молодыми голосами. И ярче всех звучал баритон Авдиева: хор в целом приобретал как будто новое значительное выражение.

Однажды на улице, вечером, я встретил Авдиева. Он шел под руку с каким-то молодым человеком, несколько старше меня, с южным профилем и черными кудрявыми волосами. Я уже видел его раньше. Это был Гаврило Жданов, впоследствии мой приятель, недавно приехавший в наш город, чтобы поступить в один из старших классов гимназии. Он приходился родственником учителю Тыссу и держался запросто в учительской компании. Это делало его в моих глазах чем-то высшим, чем мы, бедняги-ученики в застегнутых мундирах, с вечной опаской перед начальством. Встретив меня у одинокого фонаря на углу, Авдиев остановился и сказал:

— А! Это вы! Хотите ко мне пить чай? Вот, кстати, познакомьтесь: Жданов, ваш будущий товарищ, если только не срежется на экзамене, что, однако, весьма вероятно. Мы вам споем малорусскую песню. Чи може ви наших пісень цураэтесь? — спросил он по-малорусски. — А коли не цураэтесь, — идем.

Вечер весь прошел в пении. У Авдиева был глубокий и свободный баритон. Жданов подтягивал небольшой, но приятной октавой. Я сидел у открытого окна и слушал. В окно виднелся пруд, острова, тополи и зáмок. Над дальними камышами, почти еще не светя, подымалась во мгле задумчивая красная луна, а небольшая комната, освещенная мягким светом лампы, вся звенела мечтательной, красивой тоской украинской песни. Никогда впоследствии я не испытывал таких сильных ощущений от пения, как в подобные вечера у Авдиева. После двух-трех знакомых песен Авдиев сказал:

— Ну, Жданов, теперь давайте ту, новую...

И, взяв тон, он запел песню «про бурлаку».

Бурлак робить, заробляє,
А хозяін п'є , гуляє,
Гей-гей! Яром за товаром,
Та горами за волами...
Тяжко жити з ворогами.

Несомненно, в песне есть свои краски и формы. Нужно только, чтобы в центре стал ясный образ, а уже за ним, в туманные глубины воображения, в бесконечную даль непознанного, неведомого в природе и жизни, потянутся свои живые отголоски и будут уходить, дрожа, вспыхивая, плача, угасая. Я живо помню, как в этот вечер в замирающих тонах глубокого голоса Авдиева, когда я закрывал глаза или глядел на смутную гладь камышей, мне *виделась* степь, залитая мечтательным сиянием, колышущаяся буйной травой, изрезанная молчаливыми ярами. А басовая октава Жданова расстилалась под изгибами высокого и светлого баритона, как ночные тени в этих ярах и долинах. И среди этой озаренной степи стоял и оглядывался сиротина-бурлак и кричал: «гей-гей!» на затерявшихся волов и на свою одинокую долю.

Эта песня безотчетно понравилась мне тогда больше всех остальных. Авдиев своим чтением и пением вновь разбудил во мне украинский романтизм, и я опять чувствовал себя во власти этой поэтической дали степей и дали времен.

Гетьмани, гетьмани! Як би то ви встали,
Встали, подивились на той Чигирин,
Що вы будували, де ви панували?..[1]

У труби затрубили,
У дзвони задзвонили,
Вдарили з гармати...
Знаменами, бунчуками
Гетьмана укрили...[2]

И я грустил, что это ушло, что этого уже нельзя встретить на этом скучном свете, что уже

Не вернуться запорожці,
Не встануть гетьмани,
Не покриють Україну
Чорвони жупані.[3]

Теперь, под влиянием Авдиева, это настроение, казалось, должно вспыхнуть еще сильнее. Но... в сущности, этого не было, и не было потому, что та самая рука, которая открывала для меня этот призрачный мир, еще шире распахнула окно родственной русской литературы, в которое хлынули потоками простые, ясные образы и мысли. Без моего сознания и ведома в душе происходила чисто стихийная борьба настроений. И теперь на вопрос Авдиева, понравилась ли мне песня «про бурлаку», я ответил, что понравилась больше всех. На вопрос — почему больше всех, — я несколько замялся.

— Потому что... напоминает Некрасова. — И опять покраснел, чувствуя, что, в сущности, сходства нет, а между тем мой отзыв всё-таки выражал что-то действительное.

— Вы хотите, вероятно, сказать, что тут речь идет не о прошлом, а о настоящем? — сказал Авдиев. — Что это современный бурлак и современный хозяин? У Шевченко тоже есть такие мотивы-были. Он часто осуждал прошлое...

И он прочел несколько отрывков.

В это время я стал бредить литературой и порой, собрав двух-трех охочих слушателей, иногда даже довольствуясь одним, готов был целыми часами громко читать Некрасова, Никитина, Тургенева, комедии Островского...

Однажды Авдиев, чтобы заинтересовать нас Добролюбовым, прочитал у себя в квартире отрывки из его статей

---

[1] Из поэмы Т. Г. Шевченко «Гайдамаки».
[2] Из стихотворения Т. Г. Шевченко «У недиленьку у святую».
[3] Из стихотворения Т. Г. Шевченко «До Основьяненка».

и, между прочим, «Размышления гимназиста»[1]. Я вдруг с удивлением услышал давно знакомое стихотворение, которое мы когда-то списывали в свои альбомы... На наше положение прямо и ясно указывала литература и затем уже сопровождала каждый наш жизненный шаг. Это сразу роднило с нею. Статьи Добролюбова, поэзия Некрасова и повести Тургенева несли с собой что-то, прямо бравшее нас на том месте, где заставало. Казак Шевченко, его гайдамак, его мужик и дивчина представлялись для меня, например, красивой отвлеченностью. Мужика Некрасова я никогда не видел, но чувствовал его больше. Всегда за непосредственным образом некрасовского «народа» стоял интеллигентный человек, с своей совестью и своими запросами... вернее, — с *моей* совестью и *моими* запросами....

Эта струя литературы того времени, этот особенный двусторонний тон ее — взяли к себе мою разноплеменную душу... Я нашел тогда свою родину, и этой родиной стала прежде всего русская литература.

Однажды Авдиев явился в класс серьезный и недовольный.

— У нас требуют присылки четвертных сочинений для просмотра в округ, — сказал он с особенной значительностью. — По ним будут судить не только о вашем изложении, но и об образе ваших мыслей. Я хочу вам напомнить, что наша программа кончается Пушкиным. Всё, что я вам читал из Лермонтова, Тургенева, особенно Некрасова, не говоря о Шевченко, в программу не входит.

Ничего больше он нам не сказал, и мы не спрашивали... Чтение новых писателей продолжалось, но мы понимали, что всё то, что будило в нас столько новых чувств и мыслей, кто-то хочет отнять от нас; кому-то нужно закрыть окно, в которое лилось столько света и воздуха, освежавшего застоявшуюся гимназическую атмосферу.

— А я от вас, кажется, скоро уеду, — сказал вскоре после этого Авдиев с мягкой грустью, когда я зашел к нему.

— Отчего? — спросил я упавшим голосом.

— Долго рассказывать, да, может быть, и не к чему, — ответил он. — Просто пришелся не ко двору...

К нам приехал новый директор, Долгоносов, о котором я уже говорил выше. Все, начиная с огромного инспектора

---

[1] «Размышления гимназиста» (точнее — «Грустная дума гимназиста...») — сатирическое стихотворение Н. А. Добролюбова о применении розог в русской школе.

и кончая Дитяткевичем, сразу почувствовали над собой авторитетную руку. Долгоногова боялись, уважали, особенно после случая с Безаком, но... не знали. Он был от нас както далек по своему положению.

Можно было легко угадать, что Авдиеву будет трудно ужиться с этим неуклонным человеком. А Авдиев, вдобавок, ни в чем не менял своего поведения. Попрежнему читал нам в классах новейших писателей; попрежнему мы собирались у него группами на дому; попрежнему порой в городе рассказывали об его выходках.

Я почувствовал, без объяснений Авдиева, в чем дело... и прямая фигура Долгоногова стала мне теперь неприятной. Однажды при встрече с ним на деревянных мостках я уступил ему дорогу, но поклонился запоздало и небрежно. Он повернулся, но, увидя, что я всё-таки поклонился, тотчас же проследовал дальше своей твердой размеренной походкой. Он не был мелочен и не обращал внимания на оттенки.

Вскоре в город приехал киевский попечитель Антонович. Это был скромный старик, в мундире отставного военного, с очень простыми и симпатичными повадками. Приехал он как-то тихо, без всякой помпы, и в гимназию пришел пешком, по звонку, вместе с учителями. На уроки он тоже приходил в самом начале, сидел до конца, и об его присутствии почти забывали. Говорили, что он был когда-то разжалован в солдаты по одному делу с Костомаровым[1] и Шевченко и опять возвысился при Александре II. Он остался очень доволен уроками Авдиева. Пробыл он в нашем городе несколько дней, и в течение этого времени распространилось известие, что его переводят попечителем учебного округа на Кавказ.

Однажды на Гимназической улице, когда я с охапкой книг шел с последнего урока, меня обогнал Авдиев.

— Что это у вас за походка?.. — сказал он, весело смеясь: — с развальцем... Подтянулись бы немного. А вот еще хуже: отчего вы не занимаетесь математикой?

— Я, Вениамин Васильевич, неспособен...

— Пустяки. Никто не требует от вас математических откровений, а в гимназических пределах — способен всякий. Нельзя быть образованным человеком без математической дисциплины.

---

[1] Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — известный ученый-историк. В 1847 году был арестован вместе с Т. Г. Шевченко по обвинению в тайной политической деятельности, направленной против крепостнических порядков в России.

В это время на противоположной стороне из директорского дома показалась фигура Антоновича. Поклонившись провожавшему его до выхода директору, он перешел через улицу и пошел несколько впереди нас.

— Ну вот, — сказал тихо Авдиев, — сейчас дело мое и решится.

Кивнув мне приветливо головой, он быстро догнал попечителя и, приподняв шляпу, сказал своим открытым, приятным голосом:

— У меня к вам, ваше превосходительство, большая просьба. Учитель Авдиев, преподаю словесность.

— Знаю, — сказал старый генерал с неопределенным выражением в голосе. — Какая просьба?

— Говорят, вы переводитесь на Кавказ. Если это правда... возьмите меня с собой.

— Это почему?

Авдиев улыбнулся и сказал:

— Раз вы меня запомнили, то позвольте думать, что вам известны также причины, почему мне здесь оставаться... не рука.

Старый кирилло-мефодиевец[1] остановился на мгновение и взглянул в лицо так свободно обратившемуся к нему молодому учителю. Потом зашагал опять, и я услышал, как он сказал негромко и спокойно:

— Ну, что ж. Пожалуй.

Мне было неловко подслушивать, и я отстал. В конце улицы Антонович попрощался и пошел направо, а я опять догнал Авдиева, насвистывавшего какой-то веселый мотив.

— Ну вот, дело сделано, — сказал он. — Я знал, что с ним можно говорить по-человечески. В Тифлисе, говорят, ученики приходят в гимназию с кинжалами, тем менее оснований придираться к мелочам. Ну, не поминайте лихом!

— Разве уже... так скоро? — спросил я.

— Да, недели через три.

Через три недели он уехал. Первое время мне показалось, что в гимназии точно сразу потемнело... Помня наш разговор на улице, я подправил, как мог, свои математические познания и... старался подтянуть свою походку.

---

[1] Кирилло-мефодиевец — член Кирилло-Мефодиевского братства — тайного общества, существовавшего на Украине с 1846 по 1847 год. Целью общества было уничтожение крепостничества и создание демократического объединения славянских народов.

БАЛМАШЕВСКИЙ

На место Авдиева был назначен Сергей Тимофеевич Балмашевский. Это был высокий, худощавый молодой человек, с несколько впалой грудью и слегка сутулый. Лицо у него было приятное, с доброй улыбкой на тонких губах, но его портили глаза, близорукие, с красными, припухшими веками. Говорили, что он страшно много работал, отчего спина у него согнулась, грудь впала, а на веках образовались ячмени, да так и не сходят... На одном из первых уроков он заставил меня читать «Песнь о вещем Олеге».

Ковши круговые, запенясь, кипят
На тризне плачевной Олега:
Князь Игорь и Ольга на холме сидят,
Дружина пирует у брега.

Когда я прочел предпоследний стих, новый учитель перебил меня:

— На холмѐ сидят... Нужно читать «на холмѐ»!

Я с недоумением взглянул на него.

— Размер не выйдет, — сказал я.

— Нужно читать «на холмѐ», — упрямо повторил он.

Из-за кафедры на меня глядело добродушное лицо, с несколько деревянным выражением и припухшими веками. «Вечный труженик, а мастер — никогда!» — быстро, точно кем-то подсказанный, промелькнул у меня в голове отзыв Петра Великого о Тредьяковском [1].

Блеска у него не было, новые для нас мысли, неожиданные, яркие, то и дело вспыхивавшие на уроках Авдиева, — погасли. Балмашевский добросовестно объяснял: такое-то произведение разделяется на столько-то частей. В части первой или вступлении говорится о таком-то предмете... При этом автор прибегает к такому-то удачному сравнению... «Словесность» стала опять только отдельным предметом. Лучи, которые она еще так недавно кидала во все стороны, исчезли. Центра для наших чувств и мыслей в ровенской реальной гимназии опять не было... И опять над голосами среднего регистра резко выделялись выкрикивания желто-красного попугая.

---

[1] Тредьяковский Василий Кириллович (1703—1769) — стихотворец, профессор, автор научных работ по теории словесности и русской грамматике. Славился необыкновенным трудолюбием.

Вскоре, однако, случился эпизод, поднявший в наших глазах нового словесника.

Гаврило Жданов, после отъезда Авдиева поступивший-таки в гимназию, часто приходил ко мне, и, лежа долгими зимними сумерками на постели в темной комнате, мы вели с ним тихие беседы. Порой он заводил вполголоса те самые песни, которые пел с Авдиевым. В темноте звучал один только басок, но в моем воображении над ним вился и звенел бархатный баритон, так свободно взлетавший на высокие ноты... И сумерки наполнялись ощутительными видениями...

Однажды у нас исключили двух или трех бедняков за невзнос платы. Мы с Гаврилой беспечно шли в гимназию, когда навстречу нам попался один из исключенных, отосланный домой. На наш вопрос, почему он идет из гимназии не в урочное время, он угрюмо отвернулся. На глазах у него были слезы.

В тот же день после уроков Гаврило явился ко мне, и, по общем обсуждении, мы выработали некий план: решили обложить данью ежедневное потребление пирожков в большую перемену. Сделав приблизительный подсчет, мы нашли, что при известной фискальной[1] энергии нужную сумму можно собрать довольно быстро. Я составил нечто вроде краткого воззвания, которое мы с Гаврилом переписали в нескольких экземплярах и пустили по классам. Воззвание имело успех, и на следующий же день Гаврило во время большой перемены самым серьезным образом расположился на крыльце гимназии, рядом с еврейкой Сурой и другими продавцами пирожков, колбас и яблок, и при каждой покупке предъявлял требования:

— Два пирожка... Давай копейку... У тебя что? Колбаса на три копейки. Тоже копейку.

Дело пошло. Некоторые откупались за несколько дней, и мы подумывали уже о том, чтобы завести записи и бухгалтерию, как наши финансовые операции были замечены надзирателем Дитяткевичем.

— Это что такое? Что вы делаете?

Чувствуя свою правоту, мы откровенно изложили свой план и его цели. Дидонус, несколько озадаченный, тотчас же поковылял к директору.

---

[1] **Фискальный** (лат.) — направленный в сторону служебных должностных интересов.

Долгоногова в то время уже не было. Его перевели вскоре после Авдиева, и директором был назначен Степан Яковлевич. Через несколько минут Дидонус вернулся оживленный, торжествующий и злорадный. Узнав от директора, что мы совершили нечто в высокой степени предосудительное, он радостно повлек нас в учительскую, расталкивая шумную толпу гимназистов.

Степан Яковлевич, откинувшись на стуле, измерил нас обоих взглядом и, подержав с полминуты под угрозой вспышки, заговорил низким, хрипловатым голосом.

— Вы что это затеяли? Прокламации какие-то?.. Тайные незаконные сборы?..

— Мы... Степан Яковлевич...— начал было изумленный Гаврило, но директор кинул на него суровый взгляд и сказал:

— Молчать!.. Я говорю: тай-ные сборы, потому, что вы о них ничего не сказали мне, вашему директору... Я говорю: незаконные, потому...

Он выпрямился на стуле и продолжал торжественно:

...что на-ло-ги устанавливаются только государственным советом... Знаете ли вы, что если бы я дал официальный ход этому делу, то вы не только были бы исключены из гимназии, но... и отданы под суд?..

Красивые глаза Гаврила застыли в выражении величайшего, почти сверхъестественного изумления. Я тоже был удивлен таким неожиданным освещением нашей затеи, хотя чувствовал, что законодательные права государственного совета тут ни при чем.

В это время взгляд мой случайно упал на фигуру Балмашевского. Он подошел в самом начале разговора и теперь, стоя у стола, перелистывал журнал. На его тонких губах играла легкая улыбка. Глаза были, как всегда, занавешены тяжелыми припухшими веками, но я ясно прочел в выражении его лица сочувственную поддержку и ободрение. Степан Яковлевич спустил тон и сказал:

— Пока ступайте в класс!

В тот же день при выходе из гимназии меня окликнул Балмашевский и сказал, улыбаясь:

— Что? Досталось? Ну, ничего! Никаких последствий из этого, разумеется, не будет. Но вы, господа, действительно, принялись не так. Зайдите сегодня ко мне со Ждановым...

В тот же вечер мы зашли с Гаврилой в холостую квар-

тирку учителя. Он принял нас приветливо и просто изложил свой план: мы соберем факты и случаи крайней нужды в среде наших товарищей и изложим их в форме записки в совет. Он подаст ее от себя, а учителя выработают устав «общества вспомоществования учащимся города Ровно».

Вышли мы от него тронутые и с чувством благодарности.

— Не Авдиев, а малый всё-таки славный, — сказал на улице мой приятель. — И, знаешь, он тоже недурно поет. Я слышал на именинах у Тысса.

Записку мы составили. Мне далось очень трудно это первое произведение в деловом стиле, и Балмашевскому пришлось исправлять его. Молодые учителя поддержали доклад, и проект устава был отослан в министерство, а пока сделали единовременный сбор и уплатили за исключенных. Вследствие обычной волокиты, устав был утвержден только года через три, когда ни нас с Гаврилом, ни Балмашевского в Ровно уже не было. Но всё же у меня осталось по окончании гимназии хорошее, теплое воспоминание об этом неблестящем молодом учителе, с впалой грудью и припухшими от усиленных занятий веками.

Прошло еще лет десять. «Система» в гимназиях определилась окончательно. В 1888 или 1889 году появился памятный циркуляр «о кухаркиных детях» [1], которые напрасно учатся в гимназиях. У директоров потребовали особую «статистику», в которой было бы точно отмечено состояние родителей учащихся, число занимаемых ими комнат, количество прислуги. Даже в то глухое и смирное время этот циркуляр выжившего из ума старика Делянова, [2] слишком наивно подслуживавшегося кому-то и поставившего точки над i, вызвал общее возмущение: не все директора даже исполнили требование о статистике, а публика просто накидывалась на людей в синих мундирах «народного просвещения», выражая даже на улицах чувство общего негодования...

В это время мне довелось быть в одном из городов нашего юга, и здесь я услышал знакомую фамилию. Балма-

---

[1] Циркуляр «о кухаркиных детях» — реакционный приказ министерства народного просвещения, изданный в конце восьмидесятых годов прошлого века и ограничивший доступ в гимназию детям из неимущих слоев населения.

[2] Делянов — в восьмидесятых и девяностых годах прошлого столетия был министром просвещения царского правительства. Известен тем, что при нем были введены ограничения на доступ в средние школы, стеснено преподавание и замерло начальное обучение.

шевский был в этом городе директором гимназии. У меня сразу ожили воспоминания о нашем с Гаврилой посягательстве на права государственного совета, о симпатичном вмешательстве Балмашевского, и мне захотелось повидать его. Но мои знакомые, которым я рассказал об этом эпизоде, выражали сомнение: «Нет, не может быть! Это, наверное, другой»!

Оказалось, что это был тот же самый Балмашевский, но... возмутивший всех циркуляр он принялся применять не токмо за страх, но и за совесть: призывал детей, опрашивал, записывал «число комнат» и прислуги... Дети уходили испуганные, со слезами и недобрыми предчувствиями, а за ними исполнительный директор стал призывать беднейших родителей и на точном основании циркуляра убеждал их, что воспитывать детей в гимназиях им трудно и нецелесообразно. По городу ходила его выразительная фраза:

— Да что вы ко мне пристаете? Я чиновник. Прикажут вешать десятого... Приходите в гимназию, так и будут висеть рядышком, как галки на огороде... Адресуйтесь к высшему начальству...

Мне опять вспомнился тургеневский Мардарий.

Балмашевские, конечно, тоже не злодеи. Они выступали на свою дорогу с добрыми чувствами, и, если бы эти чувства требовались по штату, поощрялись, или хоть терпелись, — они бы их старательно развивали. Но жестокий, тусклый режим школы требовал другого и производил в течение десятилетий систематический отбор...

Старательный Балмашевский сделал карьеру, а Авдиев умер незаметным провинциальным преподавателем словесности на окраине.

МОЙ СТАРШИЙ БРАТ ДЕЛАЕТСЯ ПИСАТЕЛЕМ

Старший брат был года на два старше меня. Казалось, он унаследовал некоторые черты отцовского характера. Был, как отец, вспыльчив, но быстро остывал, и, как у отца, у него сменялись разные увлечения. Одно время он стал клеить из бумаги сначала дома, потом корабли, и достиг в этом бесполезном строительстве значительного совершенства: миниатюрные фрегаты были оснащены по всем правилам искусства, с мачтами, реями и даже маленькими пушками, глядевшими из люков. Потом он внезапно бросал и принимался за что-нибудь новое.

Особенно он увлекался чтением. Часто его можно было видеть где-нибудь на диване или на кровати в самой неизящной позе: на четвереньках, упершись на локтях, с глазами, устремленными в книгу. Рядом на стуле стоял стакан воды и кусок хлеба, густо посыпанный солью. Так он проводил целые дни, забывая об обеде и чае, а о гимназических уроках и подавно.

Сначала это чтение было чрезвычайно беспорядочно: «Вечный жид», «Три мушкетера», «Двадцать пять лет спустя», «Королева Марго», «Граф Монтекристо», «Тайны мадридского двора», «Рокамболь» и т. д. Книги он брал в маленьких еврейских книжных лавчонках и иной раз посылал меня менять их. На ходу я развертывал книгу и жадно поглощал страницу за страницей. Но брат никогда не давал мне дочитывать, находя, что я «еще мал для романов». Так многое из этой литературы и доныне осталось в моей памяти в виде ярких, но бессвязных обрывков...

Однажды, — брат был в это время в пятом классе ровенской гимназии, — старый фантазер Лемпи предложил желающим перевести русскими стихами французское стихотворение:

De ta tige détachée,
Pauvre feuille desséchée,
Où vas-tu? je ne sais rien... [1]

Весь класс отказался, согласились двое. Это был некто Пачковский и мой брат. Последний кинулся на стихи так же страстно, как недавно на выклейку фрегатов, и ему удалось в конце концов передать изрядным стихом меланхолические размышления о листочке, уносимом потоком в неведомые пределы. О стихах заговорили и товарищи, и учителя. Брат прослыл «поэтом» и с этих пор целые дни проводил, подбирая рифмы. Мы смеялись, глядя, как он левой рукой выстукивал по столу число стоп и слогов, а правой строчил, перемарывал и опять строчил. Когда наш смех достигал до его слуха, он на время отрывался от вдохновенного творчества, грозил нам кулаком и опять погружался в свое занятие.

Так как французские стихи перевел также и Пачковский, то сначала в классе говорили: «у нас два поэта», Пачков-

---

[1] Оторванный от стебля,
Бедный, засохший лист,
Куда ты несешься? Я не знаю...

ский, сын бедной вдовы, содержавшей ученическую квартиру, был юноша довольно великовозрастный, с угреватым лицом, широкий в кости, медвежеватый и неуклюжий. Перевод его был плох, но всё же заслужил некоторое поощрение. После этого Пачковский стал как-то иначе ходить, иначе носил голову, втягивая ее между поднятых плеч и слегка откидывая назад, и говорил, цедя сквозь зубы. Успех брата не давал ему покоя. Он решился затмить соперника, для чего выступил одновременно с «оригинальной поэмой» и сатирой. Сатира имела форму «послания к товарищу-поэту», и в ней, под видом лукавого признания чужого первенства, скрывался яд. Поэма изображала страдания юной гречанки, которая собирается кинуться с утеса в море по причине безнадежной любви к младому итальянцу. Поэт напрасно взывает к ее благоразумию, убеждая не губить молодой жизни. Гречанка приводит в исполнение пагубное свое намерение и кидается в пучину. Но и жестокосердый итальянец не избег своей участи: «волны выкинули гречанкино тело на берег крутой» именно в том месте, где жил итальянец младой. Поэма кончалась убедительным двустишием:

И он не смог того пережить
И должен был себя жизни лишить.

Брат пустил по рукам стихотворную басенку о «Пачкуне, поэте народном». Эта кличка так и осталась за Пачковским.

Этот маленький полемический эпизод всколыхнул литературные интересы в гимназической среде, и из него могло бы, пожалуй, возникнуть серьезное течение, вроде того, какое было некогда в царскосельском лицее или нежинской гимназии времен Гоголя. Но словесник Андриевский был весь поглощен «Словом о полку Игореве», а затем вскоре появились циркуляры, запрещавшие всякие внеклассные собрания и рефераты. Д. А. Толстой заботился, чтобы умственные интересы в гимназической среде не били ключом, а смиренно и анемично[1] журчали в русле казенных программ

Пачковский принял тон непризнанного гения: с печатью отвержения на челе, он продолжал кропать длинные и вялые творения. Когда однажды Андриевский спросил его на уроке что-то по теории словесности, он полунасмешливо, полувеличаво поднялся с места и сказал:

---

[1] Анемично — слабо, бледно, малокровно.

— Для человека с кастальским источником[1] в душе мертвящие теории излишни.

Андриевский ответил обычным удивленно-протяжным «а-а-а!» — и поставил поэту единицу.

К концу года Пачковский бросил гимназию и поступил в телеграф. Брат продолжал одиноко взбираться на Парнас, без руководителя, темными и запутанными тропами: целые часы он барабанил пальцами стопы, переводил, сочинял, подыскивал рифмы, затеял даже словарь рифм... Классные занятия шли всё хуже и хуже. Уроки, к огорчению матери, он пропускал постоянно.

Однажды, прочитав проспект какого-то эфемерного[2] журнальчика, он послал туда стихотворение. Оно было принято и даже, кажется, напечатано, но журнальчик исчез, не выслав поэту ни гонорара, ни даже печатного экземпляра стихов. Ободренный всё-таки этим сомнительным «успехом», брат выбрал несколько своих творений, заставил меня тщательно переписать их и отослал... самому Некрасову в «Отечественные записки».[3]

Недели через две или три в глухой городишко пришел ответ от «самого» Некрасова. Правда, ответ не особенно утешительный: Некрасов нашел, что стихи у брата гладки, приличны, литературны; вероятно, от времени до времени их будут печатать, но... это всё-таки только версификация,[4] а не поэзия. Автору следует учиться, много читать и потом, быть может, попытаться использовать свои литературные способности в других отраслях литературы.

Брат сначала огорчился, но затем перестал выстукивать

---

1 Кастальский источник — мифический источник в древнегреческом городе Дельфах. По преданиям, этот источник находился близ храма Аполлона — покровителя искусства и литературы. Древние греки верили, что всякому человеку, выкупавшемуся в его водах, сообщалось поэтическое вдохновение.

2 Эфемерный (греч.) — скоропроходящий, однодневный.

3 «Отечественные записки» — знаменитый в прошлом столетии политический и литературный журнал. С 1868 года издателями и редакторами его были Н. А. Некрасов и М. Е. Салтыков-Щедрин. Журнал в это время становится органом передовой русской общественной мысли и литературы. Был закрыт царским правительством в 1884 году за «вредное направление».

4 Версификация (лат.) — стихосложение. Здесь имеется в виду создание внешне правильных, но холодных и невыразительных стихов.

стопы и принялся за серьезное чтение: Сеченов,[1] Молешот,[2] Шлоссер,[3] Льюис,[4] Добролюбов, Бокль[5] и Дарвин. Читал он опять с увлечением, делал большие выписки и порой, как когда-то отец, кидал мне мимоходом какую-нибудь поразившую его мысль, характерный афоризм, меткое двустишие, еще, так сказать, теплые, только что выхваченные из новой книги. Материал для этого чтения он получал теперь из батальонной библиотеки, в которой была вся передовая литература.

— Га! Помяните мое слово: из этого хлопца выйдет ученый или писатель, — глубокомысленно предсказывал дядя капитан.

Репутация будущего «писателя» устанавливалась за братом, так сказать, в кредит и в городе. Письмо Некрасова стало известно какими-то неведомыми путями и придавало брату особое значение...

Из гимназии ему пришлось уйти. Предполагалось, что он будет держать экстерном, но, вместо подготовки к экзамену, он поглощал книги, делал выписки, обдумывал планы каких-то работ. Иногда, за неимением лучшего слушателя, брат прочитывал мне отрывки из своих компиляций,[6] и я восхищался точностью и красотой его изложения. Но тут подвернулось новое увлечение.

На этот раз причиной его явился известный тогда издатель г-н Трубников. В то время он только что поставил газету «Биржевые ведомости», которую обещал сделать органом провинции, и его рекламы, заманчивые, яркие и вкусные, производили на провинциального читателя сильное впечатление. «Выписал я, знаете, газету Трубникова...» или

---

[1] Сеченов Иван Михайлович (1829—1906) — выдающийся русский физиолог-материалист.

[2] Молешот Якоб (1822—1893) — известный немецкий физиолог, придерживавшийся материалистических взглядов в науке.

[3] Шлоссер Фридрих (1776—1861) — немецкий историк. Лучшие его книги: «Всемирная история», «История XVIII века» были переведены на русский язык Н. Г. Чернышевским.

[4] Льюис Джордж (1817—1878) — английский философ и писатель, пропагандировавший в своих произведениях буржуазную «позитивную философию». Позитивисты признавали только личные ощущения и опыт и отрицали познаваемость окружающего мира. К. Маркс называл подобную философию поверхностной и пошлой.

[5] Бокль Генри Томас (1821—1862) — буржуазный английский историк, автор книги «История цивилизации в Англии».

[6] Компиляция (лат.) — несамостоятельное, сводное литературное произведение, основанное на сведениях, заимствованных из чужих книг.

«Об этом надо бы написать Трубникову...», — говорили друг другу обыватели, и «Биржевые ведомости»[1] замелькали в городе, вытесняя традиционный «Сын отечества» и успешно соперничая с «Голосом».[2]

Однажды брату принесли конверт со штемпелем редакции. Он вскрыл его, на лице его выразилось радостное изумление. В конверте было письмо от самого Трубникова. Правда, текст письма был печатный, но в начале стояло имя и отчество брата... Откуда юркий издатель узнал об его существовании и литературных склонностях, сказать трудно. В письме говорилось о важных « в наше время» задачах печати, и брат приглашался содействовать пробуждению общественной мысли в провинции присылкой корреспонденций, заметок и статей, касающихся вопросов местной жизни.

Брат на время забросил даже чтение. Он достал у кого-то несколько номеров трубниковской газеты, перечитал их от доски до доски, затем запасся почтовой бумагой, обдумывал, строчил, перемарывал, считал буквы и строчки, чтобы втиснуть написанное в рамки газетной корреспонденции, и через несколько дней упорной работы мне пришлось переписывать новое произведение брата. Начиналось оно словами:

Гор. Ровно (*от нашего корреспондента*).

За этим следовала бойко набросанная характеристика маленького городка с его спячкой, пересудами, сплетнями и низменными интересами. Общими беглыми чертами были зарисованы провинциальные типы, кое-где красиво выделялись литературные обороты и цитаты, обнаруживавшие начитанность автора. Мне казалось только, что речь идет, как будто, о каком-то городке вообще, а не о нашем именно, типы же взяты были скорее из книг, чем из нашей жизни. Это мое замечание нимало не смутило автора. Так и нужно. Это ведь «литература»... Всегда немного иначе, чем в жизни.

Корреспонденция была отослана. Дней через десять старик почтальон, сопровождаемый лаем собак, от которых он отбивался коротенькой сабелькой, принес брату номер

---

[1] «Биржевые ведомости» — Здесь говорится о буржуазной газете, основанной журналистом К. В. Трубниковым в 1861 году и выпускавшейся в Петербурге до 1879 года. Газета неоднократно получала «предупреждения» и приостанавливалась правительством.

[2] «Голос» — ежедневная газета, издававшаяся в Петербурге с 1863 по 1885 год известным журналистом А. А. Краевским; первоначально была неофициальным органом царского правительства, затем стала придерживаться умеренно-либерального направления.

газеты и новое письмо со штемпелем редакции. Брат тотчас схватился за газету и просиял. На третьей странице, выведенная жирным шрифтом и курсивом, стояла знакомая фраза:

Гор. Ровно (*от нашего корреспондента*).

Мне показалось это почти чудом. Так еще недавно я выводил эти самые слова неинтересным почерком на неинтересной почтовой бумаге, и вот они вернулись из неведомой, таинственной «редакции» отпечатанными на газетном листе и вошли сразу в несколько домов, и их теперь читают, перечитывают, обсуждают, выхватывают лист друг у друга. Я перечитал корреспонденцию, и мне показалось, что на огромном сером листе она выделяется чуть не огненными буквами. Критика моя перед печатным текстом почтительно смолкла. Это — «литература», то есть нечто гораздо интереснее нашего тусклого городишка, с его заросшими прудами и сонными лачугами... Листок с столбцом бойких строчек, набросанных рукою брата, упал сюда, как камень в застоявшуюся воду... Точно вдруг над сонным городом склонился таинственный и величавый фантом: сам г-н Трубников из своего прекрасного далека заглядывает в него умным и насмешливым взглядом... И городок начинает копошиться, точно внезапно раскрытый муравейник.

Городок, действительно, закопошился. Номер ходил по рукам, о таинственном корреспонденте строились догадки, в общих характеристиках узнавали живых лиц, ловили намеки. А так как корреспондент в заключение обещал вскрыть на этом фоне «разные эпизоды повседневного обывательского прозябания», то у Трубникова опять прибыло в нашем городе несколько подписчиков.

Этот эпизод в значительной степени ослабил благотворное действие некрасовского письма. Брат почувствовал себя чем-то вроде Атласа,[1] держащего на плечах ровенское небо. В то время, когда в городе старались угадать автора, — автор сидел за столом, покачивался на стуле, с опасностью опрокинуться, глядел в потолок и придумывал новые темы. Он был весь поглощен этим занятием. Корреспонденция летела за корреспонденцией, и хотя печатались не все, но некоторые всё же печатались, а однажды почтальон принес повестку на 18 рублей 70 коп. Эта сумма в то время, когда

[1] Атлас — герой древнегреческой мифологии. Гигант, наделенный необычайной силой. За возмущение против Зевса был обречен поддерживать на своих плечах небесный свод.

штатные чиновники суда получали по три и по пяти рублей в месяц, казалась целым богатством. Правда, вялый городок доставлял мало тем, но брат был на этот счет изобретателен. Наибольшее волнение в городе было вызвано его письмом о вечере в местном клубе, куда были допущены гимназисты.

Корреспондент изобразил их успех несколько преувеличенными красками. «Питомцы Минервы[1] (гимназисты) решительно оттеснили сынов Марса[2] (гарнизонные и стрелковые офицеры), и прелестная богиня любви, до тех пор благосклонная к усам и эполетам, с стыдливой улыбкой поощрения протянула ручку безусым юношам в синих мундирах». Офицеры обиделись и заговорили об «оскорблении военной чести».

Полковник ездил объясняться с директором... Городок долго не мог успокоиться... В качестве практического результата — гимназистам посещение танцевальных вечеров было воспрещено...

К экзаменам брат так и не приступал. Он отпустил усики и бородку, стал носить пенсне, и в нем вдруг проснулись инстинкты щеголя. Вместо прежнего увальня, сидевшего целые дни над книгами, он представлял теперь что-то вроде щеголеватого денди, в плоеных манишках и лакированных сапогах. «Мне нужно бывать в обществе, — говаривал он, — это необходимо для моей работы». Он посещал клубы, стал отличным танцором и имел «светский» успех... Всем давно уже было известно, что он «сотрудник Трубникова», «литератор».

Однажды он коснулся темы более «серьезной». В городе обокрали какого-то обывателя, и брат очень картинно изобразил беспомощный городишко в темные осенние ночи, без освещения, со стражами, благополучно спящими по своим углам... Помощник исправника, представлявший из себя, за окончательной дряхлостью исправника Гоца, высшую фактическую полицейскую власть в городе, пригласил брата «для некоторого секретного разговора». Любезно предложив папиросу, высший представитель полицейской власти приступил к дипломатическому объяснению: он хорошо знал и глубоко уважал отца. Кроме того, он питает уважение к литературе. Он находит, что описание вечера было очень остроумно и мило Но в последнее время газета Трубникова стала уже касаться некоторым образом «деятельности правительства».

[1] Минерва — мифическая богиня мудрости у древних римлян.
[2] Марс — мифический бог войны у древних римлян.

Брат выразил удивление: о правительстве, кажется, ничего не было. — Да, не прямо. Но было о ночной страже и бездействии, так сказать, власти. Участились грабежи... «А кто, позвольте спросить, обязан за этим наблюдать?» Полиция! Полиция есть орган правительства. И если впредь корреспонденции будут касаться деятельности правительственной власти, то он, помощник исправника, при всем уважении к отцу, а также к литературе, будет вынужден произвести секретное дознание о вредной деятельности корреспондента и даже... ему неприятно говорить об этом... ходатайствовать перед губернатором о высылке господина литератора из города...

Затем он вежливо попрощался, уверяя, что очень уважает печать, восхищается острым пером неизвестного ему, в сущности, корреспондента и ничего не имеет против обличения нравов. Лишь бы не подрывали власть.

Брат вернулся домой несколько озабоченный, но вместе польщенный. Он — сила, с которою приходится считаться правительству. Вечером, расхаживая при лунном свете по нашему небольшому саду, он рассказал мне в подробностях разговор с помощником исправника и прибавил:

— Да, вот неприятная сторона известности... А скажи: думал ли ты, что твой брат так скоро станет руководителем общественного мнения?

— Ну-у.. — протянул я скептически. — Это уж слишком громко.

Он остановился в аллейке, пронизанной пятнами лунного света, и сказал с некоторым раздражением (мое сомнение врывалось диссонансом в его настроение):

— Ты еще глуп. А я тебе по всем правилам логики докажу, что это так. Посылка: печать руководит общественным мнением! Отвечай: да или нет?

— Ну, положим, да!

— А я теперь писатель?

— Д-да, — протянул я менее решительно.

— Несомненно, так как человек, печатающий свои статьи, есть писатель. Отсюда вывод: я тоже руководитель общественного мнения. Советую: почитай логику Милля,[1] тогда не будешь делать глупых возражений.

---

[1] Милль Джон Стюарт (1806—1873) — известный английский буржуазный ученый-идеалист, автор работ по философии и политической экономии. Из его книг наибольшей известностью пользовалась «Система логики».

Я не возражал более, а он смягчился и, продолжая ходить по аллейке, развивал свои планы.

Читатель отнесется снисходительно к маленьким преувеличениям брата, если примет в соображение, что ему было тогда лет семнадцать или восемнадцать, что он только что избавился от скучной школьной ферулы, [1] и что, в сущности, у него были налицо все признаки так называемой литературной известности.

Что такое, в самом деле, литературная известность? Золя в своих воспоминаниях, рассуждая об этом предмете, рисует юмористическую картинку: однажды его, уже «всемирно известного писателя», один из почитателей просил сделать ему честь быть свидетелем со стороны невесты на бракосочетании его дочери. Дело происходило в небольшой деревенской коммуне близ Парижа. Записывая свидетелей, мэр, местный торговец, услышав фамилию Золя, поднял голову от своей книги и с большим интересом спросил:

— Мосье Золя? Шляпный магазин на такой-то улице?

— Нет, писатель.

— А! — произнес мэр [2] равнодушно и записал фамилию.

За писателем последовал какой-то мосье Мишель. Мэр опять поднял голову:

— Мосье Мишель... Магазин белья на такой-то улице?

— Да.

Мэр засуетился: — Стул г-ну Мишелю... Покорно прошу садиться. Очень польщен...

Этот маленький эпизод, который я передаю по памяти, довольно верно рисует пределы самой громкой «всемирной известности». Известность — это значит, что имя человека распространяется по свету известными тропками. Знают там, где читают—это в лучшем случае. А читают вообще на этом свете мало. Читающее человечество — это, приблизительно, поверхность рек по отношению ко всему пространству материков. Капитан, плавающий по данной части реки, весьма известен в этой части. Но стоит ему отъехать на несколько верст в сторону от берега... Там другой мир: широкие долины, леса, разбросанные по ним деревни... Над всем этим проносятся с шумом ветры и грозы, идет своя жизнь,

---

[1] Ферула — в античной и в средневековой школе — линейка, которой били ленивых учеников. В переносном смысле — скучное стеснительное руководство.

[2] Мэр (франц.) — лицо, стоящее во главе местного самоуправления — муниципалитета.

и ни разу еще к обычным звукам этой жизни не примешалась фамилия нашего капитана или «всемирно известного» писателя.

Зато в своей среде, на своей линии брат стал, действительно, известен.

С ним считалось «правительство», его знало «образованное общество», чиновники, торговцы-евреи, — народ, питающий большое уважение к интеллекту.[1]

В погожие сумерки «весь город» выходил на улицу, и вся его жизнь в эти часы переливалась пестрыми волнами между тюрьмой на одной стороне и почтовой станцией на другой. Обыватели степенно прохаживались, меся ногами пыль, встречались, здоровались, делились редкими новостями. Порой среди примелькавшихся лиц появлялся заезжий магнат, граф Плятер, кн. Вишневецкий или «столичный чиновник», едущий на таинственную «ревизию». И все взгляды обращались за ними, а толпа около них густела... Порой показывался директор гимназии, судья, помощник исправника, казначей... Всё это составляло своего рода аристократию... Но были известности неофициальные. Чиновник Михаловский, недавно приехавший из столицы, носил пестрые пиджаки и галстуки и необыкновенно узкие брюки. Об нем говорили, что по утрам он вскакивает в них со стола, как принц д'Артуа, по рассказу Карлейля,[2] а по вечерам дюжий лакей вытряхивает его прямо на кровать... Всё это было смешно, но... инициалы его совпадали с именем и отчеством известного в то время поэта-переводчика, и потому, когда в дымке золотистой пыли, подымаемой ногами гуляющих, появлялась пестрая вертлявая фигурка, — то за ней оглядывались и шептали друг другу:

— Господин Михаловский... Поэт. Знаете?.. В «Деле»...

— Как же, как же... читал...

И только когда недоразумение разъяснилось, — престиж приезжего упал. Остались лишь пестрые брюки и смешные анекдоты.

Однажды на таком гулянии появился молодой человек, одетый щеголем, худощавый, подвижной и веселый. Он по-

---

[1] Интеллект (лат.) — ум.

[2] Карлейль Томас (1795—1881) — видный английский писатель, историк, критик и публицист. В своих произведениях переоценивал роль личности в истории, считал, что только деятельность героев движет историю вперед, а народные массы лишь следуют за ними. Наиболее известна была его «История французской революции», в которой приводился рассказ о графе д'Артуа.

жимал руки направо и налево, перекидываясь шутками. И за ним говорили:

— Арепа, Арепа. Сотрудник «Искры». Свалил губернатора Бессе...

Арепа окончил нашу гимназию и служил в Житомире, кажется, письмоводителем стряпчего. Однажды в «Искре»[1] появился фельетон, озаглавленный: «Разговор Чемодана Ивановича с Самоваром Никифоровичем». В Чемодане Ивановиче узнавали губернатора, в Самоваре Никифоровиче — купца Журавлева. Разговор касался взятки при сдаче почтовой гоньбы. Пошли толки. Положение губернатора пошатнулось. Однажды в клубе он увидел в биллиардной Арепу и, вероятно, желая вырвать у него покаянное отречение, сразу подошел к нему и сказал:

— Вы, молодой человек... Я слышал... Распустили грязную сплетню.

Арепа вытянулся и, прикидываясь испуганным, дрожа и заикаясь, сказал:

— Смею спросить, ваше-ство... что именно?

Генерал ободрился. При разговоре присутствовали посетители, чиновники, виднелся даже синий жандармский мундир...

— Ну, там... — продолжал губернатор с величавым пренебрежением, — будто с Журавлева... каких-то там пять тысяч...

— Клевета-с, ваше-ство, — говорил Арепа, и его фигура изображала самое жалкое раболепие... — Враги, ваше-ство... хотят меня погубить в ваших глазах...

И вдруг, выпрямившись, он прибавил:

— Десять тысяч, ваше-ство... Я говорил: десять тысяч...

Губернатора чуть не хватил удар, и вскоре он «по домашним обстоятельствам» подал в отставку...

Так рассказывали эту историю обыватели. Факт состоял в том, что губернатор после корреспонденции ушел, а обли-

---

[1] «Искра» — один из лучших в России сатирических журналов прошлого столетия. Издавался с 1859 по 1873 год. Основателями и редакторами журнала были — поэт В. С. Курочкин и художник-карикатурист Н. А. Степанов. В «Искре» резкой и едкой критике подвергались пороки существовавшего в стране самодержавно-дворянского строя. К сотрудничеству в журнале были привлечены крупнейшие русские писатели и поэты: Герцен, Горбунов, Добролюбов, Полонский, Плещеев и многие другие. Журнал пользовался исключительным успехом и распространением среди читателей.

читель остался жив, и теперь, приехав на время к отцу, наслаждался в родном городе своей славой...

Он промелькнул метеором и исчез, оставив по себе великое почтение к званию корреспондента. Свалить губернатора — это не шутка. Брат мой был тоже корреспондент. И хотя ни одного губернатора еще не свалил, но все знали, что это именно его перо сотрясает время от времени наш мирок, волнуя то чиновников, то ночную стражу, то офицерство. На него обращали внимание. Его приглашали на вечера, солидные обыватели брали его под руку и, уведя в сторонку, рассыпались в похвалах его «таланту» и просили продернуть того или другого...

Мудрено ли, что некоторое время брат мой плавал в атмосфере этой «известности», не замечая, что вращается в пустом пространстве и что его потрясающие корреспонденции производят бесплодное волнение, ничего никуда не подвигающее...

Во мне эти «литературные успехи» брата оставили особый след. Они как будто перекинули живой мостик между литературой и будничной жизнью: при мне слова были брошены на бумагу и вернулись из столицы напечатанными.

Уже раньше, прочитав книгу, я сравнивал порой прочитанную книгу с впечатлениями самой жизни, и меня занимал вопрос: почему в книге всегда как будто «иначе». У брата было тоже иначе. Когда первое преклонение перед печатной строкой прошло,— я опять чувствовал это, как недостаток, и мне стало интересно искать таких слов, которые бы всего ближе подходили к явлениям жизни. Всё, что меня поражало, я старался перелить в слова, которые бы схватывали внутренний характер явления. На главной нашей улице стояла маленькая избушка, нижние венцы которой подгнили и осели. Стены ее стали ниже человеческого роста... Проходя мимо нее, я говорил себе: она нахмуренная... нахлобученная... прижмурившаяся... обиженная... печальная... И когда из нее, нагнувшись, выходил пьяненький чиновник Красуский, я искал слов для чиновника...

Это входило у меня в привычку. Когда же после Тургенева и других русских писателей я прочел Диккенса и «Историю одного города» Щедрина, — мне показалось, что юмористическая манера должна как раз охватить и внешние явления окружающей жизни, и их внутренний характер. Чиновников, учителей, Степана Яковлевича, Дидонуса я

стал переживать то в диккенсовских, то в щедринских персонажах.

Выходило всё-таки «не то»... И странно: порой, когда я не делал намеренных усилий, в уме пробегали стихи и рифмы, мелькали какие-то периоды, плавные и красивые... Но они пробегали непроизвольно и не захватывали ничего из жизни... Форма как будто рождалась особо от содержания и упархивала, когда я старался охватить ею что-нибудь определенное.

Только во сне я читал иной раз собственные стихи или рассказы. Они были уже напечатаны, и в них было всё, что мне было нужно: наш городок, застава, улицы, лавки, чиновники, учителя, торговцы, вечерние гуляния. Всё было живое, и над всем было что-то еще, уже не от этой действительности, что освещало будничные картины не будничным светом. Я с восхищением перечитывал страницу за страницей.

Но... когда я просыпался, — всё улетало, как стая птиц, испуганных приближением охотника. А те концы, которые мне удавалось порой задержать в памяти, оказывались совершенно плохи: в стихах не было размера, в прозе часто недоставало даже грамматического смысла, а слова стояли с не своим, чуждым значением...

Это опять было брожение в пустоте без откликов... Толчок ему дал Авдиев и отчасти корреспонденции брата. Авдиев уехал. Вкус корреспонденций притуплялся.

Запрещение гимназистам посещать клуб было, кажется, их единственным практическим результатом. Впрочем, однажды, в самом центре города, у моста, починили фонарь. Несколько раз в темные вечера в честь гласности горел огонек... Это было всё-таки торжество. Каждый, кто проходил мимо этого фонаря глухою ночью, думал: «А! пробрал их трубниковский корреспондент».

Но скоро и этот одинокий огонек погас...

ЧЕМ БЫТЬ?

Я был в последнем классе, когда на квартире, которую содержала моя мать, жили два брата Конахевичи: Людвиг и Игнатий. Они были православные, несмотря на неправославное имя старшего. Не обращая внимания на насмешки священника Крюковского, Конахевич не отказывался от своего имени и на вопросы в классе упрямо отвечал:

— Людвиг. Меня так окрестили.

Это был юноша уже на возрасте, запоздавший в гимназии. Небольшого роста, коренастый, с крутым лбом и кривыми ногами, он напоминал гунна,[1] и его порой называли гунном. Меня заинтересовала в нем какая-то особенная манера превосходства, с которой он относился к малышам, товарищам по классу. Кроме того, он говорил намеками, будто храня что-то недосказанное про себя.

Однажды, когда все в квартире улеглись и темнота комнаты наполнилась тихим дыханием сна, я долго не спал и ворочался на своей постели. Я думал о том, куда идти по окончании гимназии. Университет был закрыт, у матери средств не было, чтобы мне готовиться еще год на аттестат зрелости...

— Вы не спите? — тихо окликнул меня Конахевич.

— Не сплю.

— Думаете?. О чем?

— У меня есть о чем подумать.

— Да, вы кончаете курс... Выбираете карьеру?

В его голосе послышалась нотка иронии.

— Да, именно, — ответил я.

Он помолчал с полминуты, как бы прислушиваясь к дыханию спящих товарищей, и потом сказал, понизив голос:

— Счастливый вы человек...

— Это почему?

— У вас маленькие желания и маленькие задачи. Поэтому вы всего достигнете в жизни: окончите курс, поступите на службу, женитесь... И жизнь ваша покатится по ровной гладкой дороге...

— А ваша? — спросил я, невольно улыбаясь в темноте.

— Моя? — Опять с его кровати пронесся глубокий вздох, бурный и печальный. — Мне суждена другая доля... Меня манит недостижимое. Жизнь моя пройдет бурно... Уничтожая всё на своем пути, принося страдания всем, кого роковая судьба свяжет со мною. И прежде всего тех, кого я люблю.

— Не понимаю, — сказал я наивно. — Зачем же вы выбираете карьеру, связанную с такими неудобствами?..

Конахевич горько усмехнулся и сел на своей кровати.

---

[1] Гунны — дикий и воинственный кочевой народ, переселившийся в Европу из Азии во II столетии нашей эры. В течение двух веков гунны опустошали постоянными набегами Францию, Германию и Италию.

— Ваш вопрос показывает, что вы, в своем счастливом неведении, не можете даже понять натуру, подобной моей. Карьера?.. Это только счастливцев, как вы, ждет карьера, вроде гладкого шоссе, обставленного столбами... Мой путь?.. Пустынные скалы... пропасти... обрывы... блудящие огни... Черная туча, в которой ничего не видно, но она несет громы...

Мне было интересно узнать, что скрывается в этой мгле с мрачным неверием, бурей и громами... Но в это время на одной из кроватей послышалось движение, и раздался голос младшего Конахевича. Это был мальчик не особенно способный, но усидчивый и серьезный. Старший был прежде его кумиром. Теперь он догнал его, и оба были в одном классе.

— Ах, Людвиг, Людвиг, — сказал он укоризненно. — Опять говоришь глупости, а алгебру на завтра, верно, не выучил... Тучи, громы, а завтра получишь единицу.

— Врешь, — ответил старший сердито. — Знаю лучше тебя...

— Знаешь? — скептически возразил Игнатий. — Когда же ты выучил? В четверти опять будут двойки. Даже неприятно ехать с тобой домой: что скажешь старикам?

Людвиг демонстративно захрапел, а Игнатий продолжал ворочаться на постели и ворчать:

— О, господи! Начитался этого Словацкого.[1] Лучше бы выучил бином.

Потом и он смолк. Тогда Людвиг опять высунул голову из-под одеяла и тихо сказал мне:

— Вы надо мной смеетесь?..

— Чуть-чуть, — ответил я.

— Вы умнее, чем я думал. Я хотел посмеяться над вами...

— Благодарю вас...

Наутро он немного стыдился и косил глаза, но затем скоро вернулся к своему величаво-загадочному, байроническому тону... Он продолжал тяготеть ко мне, и часто мы прогуливались втроем. Третий был некто Кордецкий.

Это был очень красивый юноша с пепельными волосами, матовым лицом и выразительными серыми глазами. Он недавно перешел в нашу гимназию из Белой Церкви, и в своем

---

[1] Словацкий Юлий (1809—1849) — знаменитый польский поэт, романтик, последователь Байрона. Польская молодежь особенно увлекалась произведениями Словацкого в шестидесятых годах, когда вышло в свет собрание сочинений поэта.

классе у него товарищей не было. На переменах он ходил одинокий, задумчивый. Брови у него были как-то приподняты, отчего на лбу сдвигались скорбные морщины, а на красивом лбу лежал меланхолический нимб. [1]

Не помню, как произошло наше знакомство. Меня он интересовал, как и Конахевич, и вскоре мы стали часто ходить вместе, хотя они оба недолюбливали друг друга...

Вскоре от Кордецкого я тоже услышал туманные намеки. Конахевича угнетало мрачное будущее. Кордецкого томило ужасное прошлое... Если бы я узнал всё, то отшатнулся бы от него с отвращением и ужасом. Впрочем, и теперь еще не поздно. Мне следует его оставить на произвол судьбы, хотя я единственный человек, которого он любит...

— Знаете, — сказал он однажды, когда мы были только вдвоем, — я ужасный подлец... последний негодяй... преступник...

Брови его приподнялись, морщина на лбу углубилась, но мне показалось, что слова «подлец» и «преступник» он произносит с каким-то особенным вкусом, как будто смакуя и гордясь этим званием...

Однажды после каникул он явился особенно мрачный и отчасти приподнял завесу над бездной своей порочности: в его угрюмо-покаянных намеках выступало юное существо... дитя природы... девушка из бедной семьи. Обожала его. Он ее погубил... Этим летом, ночью... в глубоком пруду... и т. д.

Я слушал всё это совершенно спокойно, главным образом потому, что не верил ни одному слову, а ту долю его меланхолии, которая действительно слышалась в его голосе, приписывал предстоящей переэкзаменовке по французскому языку...

— Если, вдобавок, я завтра срежусь, — прибавил он мрачно, отдавая мне запечатанный конверт, — то вы... пошлите это письмо.

— К ней? — спросил я невинно. Он посмотрел на меня быстро и подозрительно и сказал с досадой:

— *Она* — в могиле.

— Почему же вы не пошлете письмо сами?

— Завтра вы узнаете, — почему.

Наутро я пошел в гимназию, чтобы узнать об участи Кордецкого. У Конахевича, увы! — тоже была переэкзаме-

---

[1] Нимб — условное изображение сияния вокруг головы, применявшееся в религиозной живописи.

новка по другому предмету. Кордецкий срезался первый. Он вышел из класса и печально пожал мне руку. Выражение его лица было простое и искренно огорченное. Мы вышли из коридора, и во дворе я всё-таки не удержался: вынул конверт.

— Посылать?..

Он взял его у меня из рук, швырнул в сторону и сказал, слегка покраснев:

— Я вам вчера показался большим дураком?.. Вам было смешно?

— Было немножко, — ответил я, — хотя дураком вы мне не казались...

— Не глуп... знаю сам. Но черт его знает: неисправимый фразер.

И мне показалось, что слово «фразер» он опять произнес с таким же вкусом и особого рода самоуслаждением, как недавно произносил слово «подлец»...

В это время выходная дверь на блоке хлопнула, и по мосткам застучали частые шаги. Нас нагонял Конахевич, стуча каблуками так энергично, будто каждым ударом мрачный юноша вколачивал кого-то в землю. Глаза Кордецкого сверкнули лукавой искоркой.

— Что, батенька? Тоже срезались?

— Срезали, п-подлецы, — сказал Конахевич с натиском. — Но я отомщу... Отомщу ужасно.

Кордецкий насмешливо посмотрел на меня и сказал:

— Ну, Конахевич. Я — фразер, а вы вдесятеро.

— Фразер? Что такое фразер? — спросил Конахевич быстро. Кордецкий усмехнулся и пожал плечами... Он гордился словом, которого Конахевич даже не понимает...

— Я имею перед вами то преимущество, — сказал он, и опять скорбный нимб лег на его челе, — что по крайней мере сознаю, что я такое...

У молодости есть особое, почти прирожденное чувство отталкивания от избитых дорог и застывающих форм. На пороге жизни молодость как будто упирается, колеблясь ступить на протоенные тропинки, как бы жалея расстаться с неосуществленными возможностями. Литература часто раздувает эту искру, как ветер раздувает тлеющий костер. И целые поколения переживают лихорадку отрицания действительной жизни, которая грозит затянуть их и обезличить.

Конахевич читал Словацкого. Кордецкий знал наизусть «Героя нашего времени» и имел некоторое понятие о «Дон-

Жуане»[1]. Оба были романтики. Пусть преступник, но не обыкновенный обыватель. Байроновский Лара тоже преступник. Пусть фразер. Рудин тоже фразер. Это не мешает стоять на некоторой высоте над средой, которая даже не знает, кто такой Лара и что значит фразер.

Но в сущности и романтизм и печоринство уже выдохлись в тогдашней молодежи. Ее воображением завладевали образы, выдвигаемые тогдашней «новой» литературой, стремившейся по-своему ответить на действительные вопросы жизни.

У обществ бывают свои настроения и предчувствия. Такое настроение, смутное, но широко охватывающее всех, и дает то, что принято называть «духом времени». В начале шестидесятых годов великая реформа всколыхнула всю жизнь, но волна обновления скоро начала отступать. То, что должно было пасть, не упало окончательно, что должно было возникнуть, не возникло вполне. Жизнь повисла на мертвой точке, и эта неопределенность кидала свою тень на общее настроение. Дорога, на которую страна так радостно выступала в начале десятилетия, упиралась в неопределенность. Невольно чувствовался впереди кризис, неизбежность потрясений и героических усилий.

В наличности не было сил для разрешения кризиса. Оставалась надежда на будущее, на что-то новое, что придет с этим будущим, и прежде всего на «нового человека», которого должны выдвинуть молодые поколения.

Молодежь стала предметом особого внимания и надежд, и вот что покрывало таким свежим блестяшим лаком недавних юнкеров,[2] гимназистов и студентов. Поручик[3] в свеженьком мундире казался много интереснее полковника или генерала, а студент юридического факультета интереснее готового прокурора. Те — люди, уже захваченные колесами старого механизма, а из этих могут еще выйти Гоши[4] или

---

[1] «Дон Жуан» — искатель любви, герой старинной испанской легенды. Здесь имеется в виду знаменитая поэма Байрона, в которой дон Жуан изображен без романтических прикрас. Поэт обличает в этом произведении пороки дворянского общества.

[2] Юнкера — воспитанники юнкерских училищ — военно-учебных заведений, готовивших в царской России офицеров для армии.

[3] Поручик — офицерский чин в царской армии.

[4] Гош Лазарь (1768—1797) — французский генерал времен французской буржуазной революции, сторонник демократии и республики. Известен своими победами над англичанами и австрийцами.

Дантоны[1]... В туманах близкого, как казалось, будущего начинали роиться образы «нового человека», «передового человека», «героя».

В действительной жизни этих необыкновенных героев еще не было: «почувствовать» их, созерцать творческим воображением было невозможно. Приходилось не создавать, а выдумывать, живость изображения заменять одушевлением ожидания и веры. Поэтому первостепенные художники за эти задачи не брались. Первый план художественной литературы всё еще занимали Лаврецкие и Рудины с их меланхолически отрицательным отношением к действительности и туманными предчувствиями. Тургенев в «Накануне» гениально отметил это ожидание, но «героя» всё-таки увел за границу. Из русской действительности попрежнему брались отрицательные типы, и даже Добролюбов только спрашивал с горечью: «Когда же придет настоящий день?..» Зато второй план художественной литературы с половины шестидесятых годов заполняется величаво-мглистыми очертаниями героев-великанов... И это было на обеих сторонах: герои прогрессивной беллетристики несли разрушение старому миру. Художники-консерваторы звали своих героев на его защиту... Будущее кидало впереди себя свою тень, и мглистые образы сражались в воздухе задолго еще до того времени, когда борьба назрела в самой жизни.

Среди этой литературы выделялись «Знамения времени» Мордовцева[2] и «Шаг за шагом» Омулевского[3] («Что де-

---

[1] Дантон Жорж (1759—1794) — один из видных деятелей французской буржуазной революции конца XVIII века. Красноречивый оратор и вождь наиболее реакционных слоев французской буржуазии. Участвовал в заговоре против республики и был казнен по приговору Комитета общественного спасения.

[2] Мордовцев Даниил Лукич (1830—1905) — известный в свое время писатель. Автор многих очерков, повестей и рассказов преимущественно из русской и украинской истории. Уделял внимание освободительной борьбе народных масс. Особым распространением пользовался его роман «Знамения времени», посвященный общественному движению шестидесятых годов. Писатель был далек от этого движения. Он отрицал идеи революционеров-демократов, проповедовал «слияние с народом» и советовал интеллигенции «учиться у него терпению...».

[3] Омулевский — литературный псевдоним писателя-демократа Иннокентия Васильевича Федорова (1836—1883). Основное его произведение — роман «Шаг за шагом» был написан в конце шестидесятых годов. Омулевский изобразил в нем «новых людей» — представителей русской революционной демократии, готовых вступить в борьбу с самодержавием, чтобы добиться социальных преобразований в России.

лать?» Чернышевского я прочел гораздо позже). Мордовцев был писатель не вполне искренний и сильно «себе на уме». Молодежь восхищалась его «Историческими движениями русского народа», не замечая, что книга кончается чуть не апофеозом[1] государства, у подножия которого, как вокруг могучего утеса, бьются бессильные народные волны. Он приводил в восхищение «областников» и «украинофилов» и мог внезапно разразиться яркой и эффектной статьей, в которой доказывал, что «централизация» — закон жизни, а областная литература обречена на умирание. Свой роман он начал эффектным бредом больного. В картинах этого бреда ловились намеки на казнь Каракозова. Это кидало на весь роман неуловимый для цензора, но ясно ощутимый покров «революционности». Можно было подумать, что автору и его героям выход из современного положения ясен, и если бы не цензура, то они бы его, конечно, указали... Роман имел в то время огромный успех. Его зачитывали, комментировали, разгадывали намеки, которые, наверное, оставались загадкой для самого автора. В качестве грядущей революционной силы в тумане рисовались... какие-то, кажется, уральские артели...

Омулевский был гораздо искреннее и проще. От его романа веяло молодой верой и какой-то особенной бодростью. Слабохарактерный, спившийся, погибавший, он как бы раздваивался в своем произведении: себя он вывел в лице доктора, мрачного меланхолика, страдающего запоем, безнадежно загубленного уже мраком окружающих условий, но благословляющего своего молодого друга Светлова на новую жизнь и борьбу. В Светлове, как об этом свидетельствует уже самая фамилия, воплощена вера в будущее. Он бодр, силен, светел. Всё ему удается, все преклоняются перед его знаниями, характером, особенной удачливостью.

Он живет в сибирской глуши (кажется, в ссылке), работает в столичных журналах и в то же время проникает в таинственные глубины народной жизни. Приятели у него — раскольники, умные крестьяне, рабочие. Они понимают его, он понимает их, и из этого союза растет что-то конспиративное и великое. Всё, что видно снаружи из его деятельности, — только средство. А цель?..

Об этом спрашивает молодая женщина, «пробужденная им к сознательной жизни». Он всё откроет ей, когда при-

---

[1] Апофеоз (греч.) — торжественное восхваление, прославление.

дет время... Наконец, однажды, прощаясь с нею перед отъездом в столицу, где его уже ждет какое-то важное общественное дело, он наклоняется к ней и шепотом произносит одно слово... Она бледнеет. Она не в силах вынести гнетущей тайны. Она заболевает и в бреду часто называет его имя, имя героя и будущего мученика.

Слово, которое герои Мордовцева закутывали эзоповскими намеками и шарадами, а Светлов шепнул на ухо любящей женщине, — было, конечно, «революция». Это оно стояло впереди, как туча, здали поблескивая своими молниями, на горизонте общества, вышедшего из крепостного строя и остановленного на пути к всестороннему раскрепощению... Как это будет?.. Когда будет? Это было неясно. Будет как-то... Будет скоро. Сделают это новые люди из «молодежи». А за ними из неведомых деревень, из лесов, из недр раскола и «общины» двинется загадочный и никому неизвестный «народ»...

Много в этом было наивного, и революционные планы даже серьезных людей того времени кажутся теперь совершенно ребяческими. Однако «дух времени» шел неуклонно своим путем. Обе стороны литературы указывали вперед на загадочную тучу: консерваторы — со страхом, прогрессисты — с надеждой. Инстинкт молодежи всё больше удерживал ее от проторенных дорог, сопротивление «принятию жизни» росло. Поколение за поколением выходили из «толстовских» гимназий и, точно в кипящий поток, кидались в бурную университетскую полосу. Кто успевал пройти ее, тот более или менее сливался с жизнью. Из недавних протестантов выходили прокуроры, инженеры, управляющие, часто с улыбкой вспоминавшие о своих «молодых увлечениях». А на их месте уже кипели другие, для которых настала своеобразная очередь этой повинности...

С «Знамениями времени» и «Шаг за шагом» я познакомился тоже на каникулах в Гарном Луге. Читали громко, и даже старики — капитан с женой — слушали с некоторым благоговением повествования о «новой молодежи».

Сначала я к этой литературе отнесся скептически. Авдиев на мой вопрос о Писареве отозвался, как о задорном мальчишке. Белинский и особенно Добролюбов оставались для меня высшими авторитетами, а Тургенева я любил фанатично[1]. Его герои были живые люди. У Мордовцева по

[1] Фанатично — исключительно горячо предаваться избранному делу, быть до крайности приверженным какой-либо идее.

сравнению с ними выходили деревяшки. Один из них, носящий кличку «Точеная голова», подает «барышне» стул. Барышня обижается: значит, ее не считают равным человеком. Герой объясняет: его поступок — разумно-эгоистичен. Барышня упадет в обморок, и ему же придется возиться с нею. Одна из героинь рекомендует себя: я переросла Веру Павловну (из «Что делать?»). Всё это казалось мне неестественно и деланно. Светлов Омулевского с его отвлеченной удачливостью тоже порой напоминал хорошо вычищенный таз, а постоянное любование им автора давало сильный привкус антихудожественности. Вообще это были не лица, как у Тургенева, Писемского, Гончарова, а личности, с прибавлением ходячего эпитета: «светлые личности».

Они не овладевали поэтому моим воображением, хотя какой-то особый дух, просачивавшийся в этой литературе, всё-таки оказывал свое влияние. Положительное было надуманно и туманно. Отрицание — живо и действительно.

Когда вслед за этими романами мы прочли «Один в поле не воин»[1], переведенный Благосветловым в «Деле»[2], — впечатление было огромное. Вообще этот немецкий писатель сразу овладел умами тогдашней молодежи. Его герои были уже «лица», а не «личности», а условия их борьбы взяты из несомненной действительности. И так же, как прежде по русским захолустьям бродили Чайльд-Гарольды, Амалат-беки и Печорины, — теперь стали десятками появляться шпильгагенские Лео и Рахметовы Чернышевского. Были даже «Лео на рахметовской подкладке»...

К концу гимназического курса в моей душе начало складываться из всего этого брожения некоторое, правда, довольно туманное представление о том, чем мне быть за гранью гимназии и нашего города. Реалистическая литература внесла сюда свою долю: из реакции романтизму я отверг по отношению к себе всякие преувеличенно героиче-

[1] «Один в поле не воин» — социальный роман известного немецкого писателя Фридриха Шпильгагена (1829—1911). В этом произведении писатель изображает классовую борьбу в Германии в середине прошлого века и начало рабочего движения. Роман был переведен на русский язык в 1866 году и пользовался исключительным успехом у демократических читателей.

[2] «Дело» — ежемесячный журнал демократического направления, издававшийся в Петербурге с 1867 по 1888 год. Журнал доказывал необходимость буржуазно-демократических преобразований в стране и проповедовал идеи выдающегося критика и публициста-демократа Д. И. Писарева.

ские иллюзии. Образ Лео я признал себе не по плечу. Я им восхищался, но моим воображением завладел другой шпильгагенский герой из «Между молотом и наковальней». Он легче мыслился в России... Где-то у нас происходят важные события. В них принимает деятельное участие молодой человек лет двадцати пяти, небольшого роста, с умным выражением лица и твердым взглядом. Он отчасти напоминает меня, но только отчасти (своим лицом я был крайне недоволен и в воображении произвел в нем некоторые поправки). Вследствие неудачи первой любви он отказался от «личного счастья» (правда, не без возможности когда-нибудь неожиданного счастливого поворота судьбы). Он не герой, широкой известностью не пользуется, но когда он входит в общество людей, преданных важному и опасному делу, то, на вопрос не знающих его знающие отвечают: «Это—NN... человек умный. На него можно положиться»... Порой его положение становится опасно, или он устает от трудной работы. Тогда он исчезает куда-то в глушь. У него, как у шпильгагенского героя, есть какая-то мастерская, которую он предоставил своим «друзьям из народа». Тут он становится за станок наряду с ними, а по вечерам они читают, и он говорит им о том, что затевается там, далеко в столицах. Они этому сочувствуют и в свою очередь делятся тем, что зреет в глубине народной мудрости. Лица у них умные, но... национальности у них нет, и, несмотря на усилия моего воображения, они отчасти похожи на немецких рабочих 1848 года...

Туманные образы Амалат-беков, Чайльд-Гарольдов, Печориных и Демонов были, в сущности, очень безвредны: непосредственно с таинственно-мрачных высот они поступали на службу. Конахевич стал железнодорожным чиновником. Кордецкий успешно служил по акцизу [1] и из погубителя невинных существ превратился в отличного, несколько даже сентиментального семьянина....

ПОСЛЕДНИЙ ГОД В ГИМНАЗИИ

Этот год прошел для меня в особом настроении.

Каникулы были на исходе, когда «окончившие» уезжали: один в Киев, другие в Петербург. Среди них был и

---

[1] Акциз — косвенный налог на предметы потребления, производящиеся в пределах государства. В царской России этим налогом были обложены: табак, спички, спиртные напитки и некоторые другие товары.

Сучков. В Житомире мы учились в одном классе. Потом он обогнал меня на год, и мысль, что и я мог бы уже быть свободным, выступала для меня с какой-то особенной, раздражающей ясностью..

Я проводил его за заставу. В штатском платье, с чемоданом в ногах, с новеньким саквояжем через плечо, он сидел в перекладной, которая уносила его в незнакомую даль. На шоссе, за тюрьмой, мы расстались, и я долго еще следил за клубком пыли, который катился пятнышком по дороге. Мне страстно хотелось самому на волю... Ехать вот так же, всё вперед и вперед, куда-то на простор, к новой жизни. А там что-то неясное, но великолепное. И странно: из всего этого великолепия прежде всего передо мной выступала маленькая комнатка где-то очень высоко. Из окна видны крыши и небо. На полу стоит мой чемодан, на стенке висит такой же, как у Сучкова, новенький саквояж. Это значит, что я приехал и вот-вот уйду куда-то. Куда? В новую жизнь!

Клубок пыли исчез. Я повернулся к городу. Он лежал в своей лощине, тихий, сонный и... ненавистный. Над ним носилась та же легкая пелена из пыли, дыма и тумана, местами сверкали клочки заросшего пруда, и старый инвалид дремал в обычной позе, когда я проходил через заставу. Вдобавок, около пруда, на узкой деревянной кладочке, передо мной вдруг выросла огромная фигура Степана Яковлевича, ставшего уже директором. Он посмотрел на меня с высоты своего роста и сказал сурово:

— Хотите обновить карцер?

Я посмотрел на него с удивлением. Что нужно этому человеку? Страха перед ним давно уже не было в моей душе. Я сознавал, что он вовсе не грозен и не зол, пожалуй, даже по-своему добродушен. Но за что же он накинулся? Толстый палец потянулся к моей груди. Две средних пуговицы мундира не были застегнуты.

«Только-то?» — подумал я и, застегивая пуговицы, невольно повел плечами. Он внимательно и строго посмотрел мне в лицо.

— Откуда вы идете?..

— Я... провожал Сучкова...

— Ну... так что же? — спросил он опять не совсем кстати, озадаченный, вероятно, выражением моего лица.

— Ничего, Степан Яковлевич, — ответил я деревянно.

Директор опять посмотрел на меня, как будто подыскивая предлог для вспышки, чтобы встряхнуть мою невоспри-

имчивость к авторитету, но ничего не придумал и пошел своей дорогой.

А я с тоской посмотрел вокруг. Сучков несется уже далеко. Подъезжает к станции. Расписывается в книге: «студент Технологического института»!.. Дает на чай ямщику. Садится опять, и колокольчик заводит свою загадочную болтовню... А передо мной всё тот же пруд, заросший зеленой ряской. Прогалины знойно и неподвижно отражают небо и солнечный свет. Ряска кое-где шевелится, — это под ней проплывают головастики и лягушки. Из камышей выплыл тяжко скучающий лебедь. Баба стучит вальком по мокрому белью. Степан Яковлевич сейчас грозил мне карцером... И всё это еще не целый год! Тоска, тоска!..

Год этот тянулся для меня вяло и скучно, и я хорошо понимал брата, который, раз выскочив из этой колеи, не мог и не стремился опять попасть в нее. Передо мной конец близко. Я, конечно, должен кончить во что бы то ни стало...

Директор продолжал присматриваться ко мне подозрительным, но мало понимающим взглядом. Однажды он остановил меня при выходе из церкви.

— Отчего вы не молитесь? — спросил он. — Прежде вы молились. Теперь стоите, как столб.

Я поднял на него глаза, и в них, вероятно, опять было озадачившее его выражение. Что мне сказать в ответ? Начать молиться по приказу, под упирающимися в спину начальственными взглядами?

— Не знаю, — ответил я кратко.

На ученической квартире, которую после смерти отца содержала моя мать, я был «старшим». В этот год одну комнату занимал у нас юноша Подгурский, сын богатого помещика, готовившийся к поступлению в один из высших классов. Однажды директор, посетив квартиру, зашел в комнату Подгурского в его отсутствие и повел в воздухе носом.

— Он... курит? — спросил он у меня.

— Не знаю, — ответил я.

— Вы старший?

— Да, но он еще не ученик.

— Это всё равно... Вы д о л ж н ы узнать. Понимаете?

— Хорошо, Степан Яковлевич, я спрошу у него, — сказал я с невинным видом.

На монументальном лице директора вспыхнул гнев. Он считал, что я, как старший по квартире, обязан секретно

оказать ему содействие в надзоре за будущим учеником: выследить, разыскать табак и потом доложить. В моем ответе он увидел насмешку, но, кажется, тут даже и насмешки не было. Просто я мало думал о том, какое действие произведут на него мои слова, и уже мог быть рассеянным в присутствии грозного начальства. Это было, пожалуй, инстинктивное неуважение, которое теперь квалифицировали бы, как «вредный образ мыслей». Но в то время «чтение в сердцах» еще не было в ходу даже в гимназиях, советы требовали «проступков», а мое настроение было неуловимо.

Я думаю, многие из оканчивавших испытывают и теперь в большей или меньшей степени это настроение «последнего года»... Настроение довольно опасное. Один раз оно прорвалось у меня неожиданно и бурно.

Шел какой-то урок, для которого два класса собирались вместе. В классе была тоскливая тишина напряженного полувнимания, в котором чувствуется глухая борьба с одолевающей дремотой, — идеал классной дисциплины. Я сидел ровно, вытянувшись и, по обыкновению, думая о чем-то постороннем, как вдруг сидевший рядом со мной товарищ толкнул меня локтем и указал на дверь. В стекле виднелся поднятый кверху хохолок Дитяткевича. Угадывалась фигура любознательного надзирателя на корточках, у замочной скважины. Во мне вдруг завозился какой-то злобный бесенок. Я встал на своем месте, не видном Дидонусу из-за угла классной доски, и попросился выйти. Получив разрешение, я прошел у стены и рванул дверь так резко, что раскрылись сразу обе половинки. Перед восхищенным классом предстала фигура Дитяткевича на корточках, с торчащим кверху хохолком и испуганно выпученными глазами. В классе поднялся смех. Учитель в изумлении оглянулся и тоже засмеялся. А я, как ни в чем не бывало, прошел в коридор.

Это был пятый урок. Другие классы и учителя разошлись раньше, и в коридорах было почти пусто, когда наш класс тоже шумно двинулся к выходу. Навстречу нам, торопливо ковыляя кривыми ножками, показался Дитяткевич. Бедняга сильно страдал от насмешек: его кок, щегольские галстучки, неудачные ухаживания давали пищу анекдотам, — а молодежь в таких случаях безжалостна и жестока!.. Теперь бедный надзиратель чувствовал себя в смешном положении. Он был красен. Маленькие глазки тре-

вожно бегали и сверкали. Растолкав учеников, он подошел ко мне и взял за борт шинели.

— Вы остаетесь без обеда.

— По чьему распоряжению? — спросил я довольно спокойно.

Дитяткевич гордо выпрямился и сказал:

— Я оставляю вас собственной властью.

— По правилам вы на это не имеете права, — возразил я. — Вы можете только пожаловаться инспектору, но... На что же, собственно, вы будете жаловаться?..

— Там уж я знаю на что... А пока оставайтесь.

Я пожал плечами.

— Я вышел из класса с разрешения учителя и... не мог знать, что это будет вам неудобно.

Ученики рассмеялись. Это окончательно вывело беднягу-надзирателя из равновесия. Он забылся и, обругавшись, как извозчик, рванул меня за пальто, стараясь силой вывести из кучки товарищей.

Во мне вдруг поднялось что-то неожиданное и захватывающее. Резко оттолкнув его руку, я назвал его шпионом и идиотом. Товарищи во-время разъединили нас, иначе сцена могла закончиться еще безобразнее. В первый раз в жизни во мне поднялась волна отцовской вспыльчивости, которой я не сознавал в себе до тех пор. В маленькой фигурке с зелеными глазами я будто видел олицетворение всего, что давило и угнетало всех нас в эти годы, и сознание, что мы стоим друг против друга с открытым вызовом, доставляло странно щекочущее наслаждение...

Это столкновение сразу стало гимназическим событием. Матери я ничего не говорил, чтобы не огорчать ее, но чувствовал, что дело может стать серьезным. Вечером ко мне пришел один из товарищей, старший годами, с которым мы были очень близки. Это был превосходный малый, туговатый на ученье, но с большим житейским смыслом. Он сел на кровати и, печально помотав головой, сказал:

— Эх, Карла, Карла! (это была моя гимназическая кличка). Вот до чего доводит остроумие!.. Я обошел некоторых учителей, чтобы предупредить... Они говорят, что дело твое плохо.

— Ну и пусть! — ответил я упрямо, хотя сердце у меня сжалось при воспоминании о матери. И всё же я чувствовал, что если бы опять Дитяткевич схватил меня за борт, я бы ответил тем же.

Дело кончилось благополучно. Показания учеников были в мою пользу, но особенно поддержал меня сторож Савелий, философски, с колокольчиком подмышкой, наблюдавший всю сцену. Впрочем, он показал только правду: Дитяткевич первый обругал меня и рванул за шинель. Меня посадили в карцер, Дитяткевичу сделали замечание.

ПОСЛЕДНИЙ ЭКЗАМЕН. СВОБОДА

Часов в пять чудного летнего утра в конце июня 1870 года, с книжками Филаретовского катехизиса[1] и церковной истории, я шел за город к грабовой роще. В этот день был экзамен по «закону божию», и это был уже последний.

Настроение мое было тягостно и неприятно. Я уже устал от экзаменов. Вчера лег поздно, встал сегодня очень рано, еще до восхода солнца. Глаза невольно слипались, мозг дремал, и я пришел сюда в надежде, что чистый утренний ветер на этом холме разгонит дремоту. Взойдя на возвышение, я залюбовался широкой далью. Город лежал внизу, как на ладони. По утрам его часто затягивало туманами от прудов, и теперь туманная пелена разрывалась, обнаруживая то крышу, то клок зелени, то белую стену... Статуя мадонны точно плавала в воздухе, а далеко за городом чуть виднелись поля, деревни, полосы лесов... Несколько минут я не мог оторваться от этого зрелища, которому незаметное движение туманов придавало особую жизнь. Мне казалось, что я еще в первый раз настоящим образом вижу природу и начинаю улавливать ее внутреннее содержание, но... глядеть было некогда. Я должен был заучивать сухое перечисление догматов, соборов[2] и ересей,[3] в которых не было даже отдаленной связи с красотой этого изумительного мира. Это делало меня несчастным. Счастье в эту минуту представлялось мне в виде возможности стоять здесь же, на этом холме, с свободным настроением, глядеть на чудную красоту мира, ловить то странное выражение, которое мелькает, как дразнящая тайна природы, в тихом движении ее света и теней.

Я дал себе слово, как только выдержу экзамен, тотчас же прийти опять сюда, стать на этом самом месте, глядеть

---

[1] Катехизис — книга религиозного содержания.

[2] Соборы — съезды, совещания служителей церкви.

[3] Ереси — отклонения от принятого церковью толкования религии.

на этот пейзаж и уловить, наконец, его выражение. А затем... глубоко заснуть под деревом, которое шумело рядом своей темнозеленой листвой.

Я еще зубрил «закон божий», когда до меня долетел переливчатый звон гимназического колокола, в последний раз призывавший меня в гимназию. Ну, будь что будет! Книга закрыта, и через четверть часа я входил уже во двор гимназии.

А через час выбежал оттуда, охваченный новым чувством облегчения, свободы, счастья! Как случилось, что я выдержал, и притом выдержал «отлично», по предмету, о котором, в сущности, я не имел понятия, — теперь уже не помню. Знаю только, что, выдержав, как сумасшедший, забежал домой, к матери, радостно обнял ее и, швырнув ненужные книги, побежал за город.

Раннее утро кончилось, его свежесть исчезла, тумана не было, только над прудами еще тянулись чуть заметные сизые струйки. Тургенев говорит, что в первый раз уже за границей, где-то под Берлином, он сознательно наслаждался природой и пеньем жаворонка. Это странно, но это правда. Это не значит, что он не чувствовал природу ранее. Но наступает момент, когда это свое чувство человек сознательно наблюдает в себе, как особое душевное явление. И это бывает поздно, а у иных людей, быть может, не наступает никогда. В ту минуту я тоже, быть может, в первый раз *так* смотрел на природу и так полно давал себе отчет в своем ощущении. И в первый раз эта заканчивающаяся симфония утра показалась мне стройной, одухотворенной и цельной.

Спать под деревом мне совсем не хотелось. Я опять ринулся, как сумасшедший, с холма и понесся к гимназии, откуда один за другим выходили отъэкзаменовавшиеся товарищи. По «закону божию», да еще на последнем экзамене, «резать» было не принято. Выдерживали все, и городишко, казалось, был заполнен нашей опьяняющей радостью. Свобода, свобода!

Это ощущение было так сильно и так странно, что мы просто не знали, что с ним делать и куда его пристроить. Целой группой мы решили снести его к «чехам», в новооткрытую пивную... Крепкое чешское пиво всем нам казалось горько и отвратительно, но... еще вчера мы не имели права входить сюда и потому пошли сегодня. Мы сидели за столами, глубокомысленно тянули из кружек и старались подавить невольные гримасы.

Через несколько дней, получив аттестаты, мы решили сообща отпраздновать нашу свободу. И праздник был опять вроде горького пива. Мы собрались в большой комнате виноторговца Вайнтрауба, куда доступ ученикам был воспрещен под страхом исключения, и пригласили учителей. Учителя «по-товарищески» пили с нами, варили жженку, пьянели, целовались. Жженка казалась отвратительно крепкой, но... мы пили ее вместе с учителями, хлопая их дружески по плечам, и это было ново, необычно, как будто нужно и приятно... Поздно ночью кто-то потребовал музыку. Юркий фактор-еврей поднял музыкантов, а на рассвете мы ходили по спящему и темному еще городу, сопровождаемые кларнетом, флейтой, двумя-тремя скрипками и турецким барабаном. Музыка тревожила тишь спящих улиц. Мы кричали «ура!», качали учителей и... чувствовали, что всё это как-то нехорошо, ненастояще и фальшиво.

А между тем, что же делать с этим не дающим покоя новым ощущением свободы?

На следующий день, с тяжелой головой и со скверным чувством на душе, я шел купаться и зашел за одним из товарищей, жившим в казенном здании, соседнем с гимназией. Когда я подымался по лестнице, одна из дверей открылась, и навстречу мне спустился молодой еще человек с умным лицом и окладистой небольшой бородкой... Мне запомнился очень выпуклый лоб и серьезный упорный взгляд. Лицо было новое, очевидно, «не ровенское». Когда он сошел с лестницы, дверь вверху открылась, и на площадке показался учитель истории Андрусский. Наклоняясь с перил, он крикнул:

— Драгоманов![1] Постойте, еще два слова!

Незнакомый господин поднялся наверх, и, когда я спустился с лестницы, незнакомца уже не было.

Драгоманов, Драгоманов! Я вспомнил эту фамилию из сочинений Добролюбова. В полемику по поводу пироговского инцидента[2] вмешался студент Драгоманов, причем в

[1] Драгоманов М. П. (1841—1895) — буржуазный украинский националист, автор публицистических статей.

[2] Пироговский инцидент (случай, происшествие.) — Имеется в виду журнальная полемика конца пятидесятых годов. Н. И. Пирогов высказывался за отмену телесных наказаний в школе, но пошел на уступки реакционным педагогам и согласился на ограниченное применение розог. Добролюбов в статье «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами», напечатанной за подписью «Н-бов», обвиняет Пирогова в отступничестве.

своих статьях, направленных против Добролюбова, довольно бесцеремонно раскрыл его инициалы. Неужели этот господин с крутым лбом и таким умным взглядом — тот самый «студент Драгоманов»?

На полевой дорожке, которая вела к реке, меня обогнал Андрусский. Об этом учителе я говорил: он преподавал сухо и скучновато, но пользовался общим уважением, как человек умный, твердый и справедливый. Вчера он только показался в начале нашего вечера, ничего не пил и рано исчез. Теперь он шел с полотенцем через плечо, бодрый, свежеодетый и сам свежий. Я остановился и по-ученически снял перед учителем фуражку, но он подошел ко мне и протянул руку. Я опять почувствовал в этом новую черту моего нового положения.

— Вы купаться? — спросил он.

— Да.

— Идем вместе.

Мы пошли на то самое место, где Дитяткевич устраивал свои засады на учеников. Была своя новая прелесть и в этом обстоятельстве.

— С кем вы разговаривали на лестнице? — решился я спросить дорогой.

— С Драгомановым.

— Это... Тот самый?

— Да, писатель и профессор. Мы с ним товарищи по университету.

Он не знал, что для меня «тот самый» значило — противник Добролюбова. Я его себе представлял иначе. Этот казался умным и приятным. А то обстоятельство, что человек, о котором (хотя и не особенно лестно) отозвался Добролюбов, теперь появился на нашем горизонте, — казалось мне чудом из того нового мира, куда я готовлюсь вступить. После купанья Андрусский у своих дверей задержал мою руку и сказал:

— У меня самовар и газета с отчетом об интересном деле. Хотите зайти?

Я охотно зашел в холостую квартиру учителя. На столе стоял самовар. Андрусский заварил чай, покрыл чайник чистой салфеткой и протянул мне номер «Голоса».

— Не прочтете ли громко? Вот тут.

Это был отчет по нечаевскому[1] процессу.

Я ничего тогда не знал об этом деле и начал читать довольно безразлично. Но постепенно меня охватило непонятное одушевление. В номере говорилось о типографии Ткачева и Дементьевой[2] и приводилась прокламация Нечаева к студенчеству... «Мы сидели тогда по углам, понурив унылые головы, со скверным выражением на озлобленных лицах...» «Развив наши мозги на деньги народа, вскормленные хлебом, забранным с его поля, — станем ли мы в ряды его гонителей?..» В прокламации развивалась мысль, что интересы учащейся молодежи и народа одни. «У нас есть товарищи, у которых нет прав, положение которых самое худшее в Европе и ожесточение которых тем сильнее, что не имеет исхода»...

Когда я кончил читать, умные глаза Андрусского глядели на меня через стол. Заметив почти опьяняющее впечатление, которое произвело на меня чтение, он просто и очень объективно изложил мне суть дела... идеи Нечаева, убийство Иванова в Петровском парке[3]... Затем сказал, что в студенческом мире, куда мне придется скоро окунуться, я встречусь с тем же брожением и должен хорошо разбираться во всем...

Всё это опять падало на девственную душу, как холодные снежинки на голое тело... Убийство Иванова казалось мне резким диссонансом. «Может быть, неправда?..» Но над всем преобладала мысль: значит, и у нас есть уже это... Что именно? Студенчество, умное и серьезное, «с озлобленными лицами», думающее тяжкие думы о бесправии всего на-

---

[1] Нечаевский процесс. — Летом 1871 года в Петербурге шел судебный процесс членов тайного политического общества, обвиненных в намерении свергнуть царское правительство. Руководил этим обществом С. Н. Нечаев — анархист, человек, который не верил в революционные силы масс и борьбу с самодержавием пытался свести к заговорам и политическим убийствам.

[2] Типография Ткачева и Дементьевой. — Народник П. Н. Ткачев (1844—1886) и его жена А. Д. Дементьева (1850—1922) организовали в Петербурге в шестидесятых годах тайную типографию. В этой типографии они печатали листовки, призывающие студенческую молодежь к свержению самодержавия. Ткачев и Дементьева разделяли ложные взгляды Нечаева и считали, что революционный переворот в России может быть совершен силами небольшой группы людей.

[3] Убийство Иванова. — С. Н. Нечаев и его единомышленники заподозрили в измене студента Иванова Петровской земледельческой и лесной академии в Москве и убили его, после чего Нечаев скрылся за границу.

рода... А при упоминании о «генералах Тимашевых[1] и Треповых[2] в памяти вставал Безак.

В один из последних вечеров, когда я прогуливался по шоссе, всё время нося с собой новое ощущение свободы, — из сумеречной и пыльной мглы, в которой двигались гуляющие обыватели, передо мною вынырнули две фигуры: один из моих товарищей, Леонтович, шел под руку с высоким молодым человеком в синих очках и мягкой широкополой шляпе на длинных волосах. Фигура была, очевидно, не ровенская.

— Киевский студент Пиотровский, — отрекомендовал незнакомца мой товарищ. — А это тоже будущий студент такой-то.

Пиотровский крепко пожал мне руку и пригласил нас обоих к себе, в номер гостиницы. В углу этого номера стояли две пачки каких-то бумаг, обвязанных веревками и обернутых газетными листами. Леонтович с почтением взглянул на эти связки и сказал, понизив голос:

— Это... они?

— Да, — с важностью кивнул студент.

— Знаешь... это в углу стояли запрещенные книжки, — сказал мне Леонтович уже на улице. — Пиотровского послали... Понимаешь... Очень опасное поручение...

Это был первый «агитатор», которого я увидел в своей жизни. Он прожил в городе несколько дней, ходил по вечерам гулять на шоссе, привлекая внимание своим студенческим видом, очками, панамой, длинными волосами и пледом. Я иной раз ходил с ним, ожидая откровений. Но студент молчал или говорил глубокомысленные пустяки.

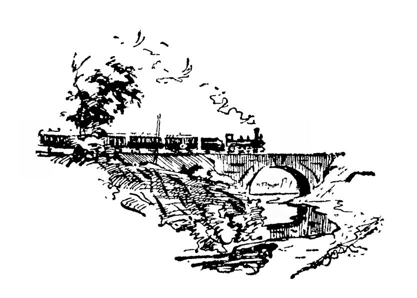
Когда он уехал, в городе осталось несколько таинственно розданных, довольно невинных брошюр, а в моей душе — двойственное ощущение. Мне казалось, что Пиотровский — малый пустой и надутый ненужною важностью. Но это таилось где-то в глубине моего сознания и робело пробиться наружу, где всё-таки царило наивное благоговение: такой важный, в очках и с таким опасным поручением!..

---

[1] Тимашев — глава царских жандармов, затем министр внутренних дел с 1868 по 1878 год.

[2] Трепов — один из ярых врагов революции. В конце шестидесятых и семидесятых годов был петербургским градоначальником.

Наконец наступила счастливая минута, когда и я покидал тихий городок, оставшийся позади в своей лощине. А передо мной расстилалась далекая лента шоссе, и на горизонте клубились неясные очертания: полосы лесов, новые дороги, дальние города, неведомая новая жизнь...



ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ КОРОЛЕНКО И «ИСТОРИЯ МОЕГО СОВРЕМЕННИКА»

Владимир Галактионович Короленко родился 15 июля 1853 года, умер 25 декабря 1921 года. Талантливый писатель, автор многочисленных очерков, повестей и рассказов, он был в то же время видным общественным деятелем, мужественно отстаивавшим интересы простых людей России. Жизнь его была полна волнующих событий и напряженного творческого труда.

Детство и юность писателя прошли на Украине. Он рос в семье скромного труженика, уездного судьи Галактиона Афанасьевича Короленко.

Это было время, когда развитие капитализма в России и грозные «бунты» крестьян против помещиков заставили царское правительство отменить крепостное право.

События тех лет и знакомство с лучшими произведениями русской революционно-демократической литературы определили общественные воззрения будущего писателя.

Летом 1871 года Короленко окончил реальную гимназию в городе Ровно и уехал в Петербург, чтобы там продолжить свое образование.

Он мечтал стать филологом, хотел изучать языкознание и историю и теорию литературы. Но доступ в университет

был для него закрыт. Реальная гимназия давала право поступить только в одно из высших технических учебных заведений.

Короленко избрал Технологический институт. Он занимался там около трех лет. Потом изучал естественные науки в Петровской земледельческой и лесной академии под Москвой, а еще через некоторое время был студентом Петербургского горного института.

В студенческие годы Короленко приходилось вести тяжелую жизнь интеллигента-пролетария. «Я решительно не мог бы дать отчета, — вспоминал он потом, — как удалось мне прожить первый год в Петербурге и не погибнуть прямо с голоду». Дни проходили в напрасных попытках сочетать ученье с необходимостью зарабатывать на хлеб. Короленко занимался корректурой, рисовал для печати географические карты, раскрашивал ботанические атласы.

Во время пребывания в Петровской земледельческой академии сблизился он с революционно настроенной учащейся молодежью.

Петровская земледельческая и лесная академия принадлежала к числу передовых учебных заведений того времени. Среди профессоров академии был выдающийся русский ученый К. А. Тимирязев. Студенчество славилось своими демократическими и вольнолюбивыми стремлениями.

Короленко был увлечен кипучей общественной жизнью академии. Он посещал тайные студенческие сходки на уединенных дачах в сосновом лесу, принимал участие в горячих спорах о будущем России.

Вместе с товарищами Короленко противился попыткам царских чиновников подчинить жизнь академии строгому полицейскому надзору. От имени студентов он вручил директору письменный протест и был за это немедленно арестован. Его исключили с третьего курса академии и выслали из Москвы.

Не удалось Короленко окончить и другое учебное заведение — Горный институт в Петербурге.

За каждым шагом «неблагонадежного студента» настойчиво следила полиция. Его часто арестовывали и, наконец, «без объяснения причин», весной 1879 года выслали в отдаленную часть Вятской губернии.

Пять долгих лет провел Короленко в ссылке.

Он жил в захолустном городке Вятской губернии Глазове, потом — в Березовских Починках — маленьком селе-

нии, затерянном среди необозримых лесов и болот в верховьях Камы, томился в пересыльных тюрьмах и, наконец, был отправлен в Восточную Сибирь.

В глухом якутском поселке Амге провел Короленко три года. Здесь с полным блеском развернулись творческие способности молодого писателя.

С юных лет Короленко был острым и вдумчивым наблюдателем. Каждое значительное впечатление, каждый поразивший его образ он старался облечь в ясную и точную словесную форму.

Литературным трудом Короленко впервые стал заниматься еще в студенческие годы. Он сотрудничал в одной из петербургских газет и намерен был в будущем посвятить себя всецело литературной деятельности.

Те испытания, которые выпали на долю молодого писателя, не смогли убить его творческой энергии. В пересыльной тюрьме города Вышний Волочок он пишет очерк «Чудна́я» — о девушке-революционерке Морозовой, волю которой не сломили преследования царского правительства. Во время плавания по Иртышу в арестантской барже был написан очерк «Ненастоящий город», посвященный Глазову и глазовским обывателям.

На этапах, в сибирских пересыльных тюрьмах, во время томительных переездов от одной почтовой станции к другой делал он наброски своих будущих рассказов, записывал характерные сцены, очерчивал образы поразивших его воображение людей. В Амге Короленко начал превращать эти отрывочные записи и наброски в законченные художественные произведения. Так сложились его первые рассказы и очерки на сибирские темы.

Большой литературной удачей Короленко был рассказ «Сон Макара», который выдвинул молодого автора в ряды передовых русских писателей.

В 1885 году кончился срок ссылки Короленко, и ему было разрешено выехать из Амги.

Писатель поселился в городе Нижнем Новгороде на Волге. Здесь прошли лучшие одиннадцать лет его жизни. Здесь достигла полного расцвета его литературная и общественная деятельность.

В середине девяностых годов Короленко покинул Нижний Новгород и уехал в Петербург, чтобы быть в центре литературной жизни страны. Но писатель недолго оставался в столице. Его больше привлекала провинция, и он

навсегда, до конца своей жизни, поселился в тихой, зеленой Полтаве.

За четыре десятилетия литературной деятельности Короленко были созданы десятки замечательных произведений. Художественные очерки: «Мороз», «Чудна́я», «В облачный день», «Парадокс», «Река играет»; рассказы: «Сон Макара», «Соколинец», «Ат-Даван», «Мгновение»; поэтическое полесское предание «Лес шумит»; повести: «В дурном обществе», «Слепой музыкант», «Без языка»; автобиографическая хроника — «История моего современника»... Всё это находило самое широкое распространение среди читателей, как только появлялось в печати.

Темы и сюжеты для своих произведений писатель брал обычно из самой русской действительности.

Каждое лето, с котомкой за плечами, отправлялся Короленко бродить по дорогам и проселкам России. Он побывал у павловских кустарей, ходил к озеру Светлояр, обошел лесные селения и глухие раскольничьи скиты Поволжья. На неторопливых колесных пароходах он не раз совершал путешествия по Волге, на лодке проплыл вниз по рекам Ветлуге и Керженцу.

Побережья Дуная, Крым, Кавказ, Южный Урал — таковы были места, которые привлекали внимание писателя. Каждый раз, возвращаясь из летних путешествий, он привозил записные книжки и дорожные альбомы, заполненные бытовыми зарисовками, записями разговоров, слышанных в пути, набросками пейзажей.

Сборники дорожных очерков: «На Волге», «В пустынных местах», «У казаков», «В Крыму»; замечательные произведения этого жанра: «Река играет», «В облачный день», — где тонко и лирично очерчены образы русских людей и русская природа, — были плодом его скитаний по родной стране.

Короленко совершал и заграничные путешествия. Он побывал в Румынии, Швеции, Англии и Франции. Летом 1893 года посетил международную выставку в Чикаго.

Писатель надеялся найти за океаном свободную и счастливую демократическую страну. Но совсем не такой оказалась Америка в действительности. Зоркий и вдумчивый наблюдатель, Короленко с особой ясностью увидел там все темные стороны буржуазной действительности. В дневниках и письмах он с негодованием говорит о продажности амери-

канской печати, описывает массовую безработицу, преследование негров, беспощадное истребление индейцев.

В «свободной» Америке сыщики агентства Пинкертон, подкупленные царским правительством, настойчиво следили за каждым шагом русского писателя. Местные газеты под крикливыми заголовками помещали лживые сообщения о его словах и намерениях.

«Сегодня, наконец, уезжаю и ужасно рад... — писал Короленко матери перед отъездом из Нью-Йорка. — Газеты отравили здесь мое существование».

Для общественных отношений буржуазного Запада характерна безудержная погоня за наживой, неприкрытая «жестокость и грубость» — вот тот вывод, к которому приходит писатель. В одном из своих писем он сообщает: «Когда мы ехали, вначале все отмечали, что лучше у других народов. А теперь всё ищем, что лучше у нас. И многое у нас лучше...»

Самое дорогое, самое лучшее для Короленко на родине — это трудящийся человек, свободолюбивый и мужественный. «И за что его, бедного, держат в черном теле», — с грустью отзывается писатель о тяжелой участи простого человека в царской России.

Активной любовью к родине проникнуты жизнь и творчество Короленко. «Любить родину разумно и полезно», — утверждает писатель. Патриотизм его непосредственно связан с заветами великих русских критиков-демократов: Белинского, Чернышевского и Добролюбова, на произведениях которых он воспитывался в юности.

В конце пятидесятых годов прошлого века Н. А. Добролюбов писал:

«...в недавнее время патриотизм состоял в восхвалении всего хорошего, что есть в отечестве; ныне этого уже недостаточно для того, чтобы быть патриотом. Ныне к восхвалению хорошего прибавилось неумолимое порицание и преследование всего дурного, что еще есть у нас. И нельзя не сознаться, что последнее направление патриотизма гораздо практичнее, потому что вытекает прямо из жизни и ведет прямо к делу» [1].

Добролюбов отчетливо выражал здесь взгляды русских революционеров-демократов. В его словах звучал призыв:

[1] Добролюбов Н. А. «Обзор детских журналов». Полное собрание сочинений, т. III. М. Гос. изд-во художественной литературы, 1936, стр. 538.

к коренному изменению условий жизни народов царской России, к революционному преобразованию страны.

В борьбе с силами реакции, со всем тем, что задерживало развитие России, видел Короленко свой патриотический долг.

Особенно ярко это стремление писателя воплотилось в его публицистических статьях и очерках. «Когда у меня в руках перо, я не знаю жалости», — говорил Короленко. С негодованием описывал он злоупотребления царских чиновников и полиции, разоблачая темные дела богатых помещиков-землевладельцев и банковских дельцов. В широко известной в свое время книге очерков «В голодный год» он не только нарисовал трагическую картину голода в Нижегородской губернии, но и сумел доказать преступное безразличие царского правительства к народному бедствию.

Особенно резко выступал Короленко против «национальных утеснений», сурово обличал тех людей, которые пытались посеять вражду между народами, населяющими Россию. Он защищал на суде вотяков (удмуртов) из селения Старый Мултан, ложно обвиненных в человеческом жертвоприношении. «Люди погибают невинно, совершается вопиющее дело, я не могу ни о чем больше думать», — писал Короленко своим друзьям во время Мултанского процесса. В очерках «Дом № 13» и «Дело Бейлиса» он разоблачал действия царской полиции, тайно подготовлявшей на юге России еврейские погромы.

Писатель открыто выступал против самодержавия и полицейского произвола в стране.

После революции 1905 года правительство Николая II жестоко преследовало людей, причастных к революционному движению. В публицистических произведениях: «Открытое письмо Филонову», «Бытовое явление» Короленко требует прекращения смертных казней революционеров и сурового наказания людей, повинных в массовых убийствах рабочих и крестьян.

Публицистические статьи и очерки Короленко находили живой отклик по всей стране.

Писателя называли «совестью России». Деятельность его приобрела широкий общественный размах. С Короленко вынуждено было считаться царское правительство.

В рассказах, повестях и художественных очерках Короленко звучали те же вольнолюбивые мотивы, что и в его публицистических произведениях. Герои Короленко — это

чаще всего искатели справедливости, люди, смело протестующие против угнетения и произвола.

Таков герой рассказа «Яшка» — заключенный последственного отделения томской тюрьмы. Громким стуком в дверь камеры встречает Яшка представителей тюремной администрации. Герой вкладывает в свои действия особый, общественный смысл. «Обличаю начальников, — говорит он, — начальников неправедных обличаю. Стучу».

Со страстным обличением несправедливого общественного строя царской России выступает герой рассказа «Сон Макара» — крестьянин из глухого якутского села — Макар, далекий потомок русских переселенцев.

В рассказе «Ат-Даван» робкий и забитый смотритель глухой почтовой станции на реке Лене — Кругликов — под влиянием пробудившегося у него чувства человеческого и гражданского достоинства бесстрашно требует «прогоны» — плату за проезд на казенных лошадях — с грозного чиновника Арабын-Тойона, перед которым трепетало всё население Ленского края.

Внимание писателя привлекали стихийные выступления простых русских людей против насилия, царившего в стране. Герои его — люди мужественные и решительные. Им чужды смирение и рабская покорность. В рассказе «Лес шумит» казак Опанас и лесник Роман убивают жестокого пана, помещика. Сочувствие писателя на их стороне. «Я не могу считать насильником человека, который один защищает слабого и измученного раба против десятка работорговцев, — говорит Короленко в одном из своих писем. — Нет, каждый поворот его шпаги, каждый его удар для меня благо».

В своем творчестве Короленко стремился раскрыть героические черты в образе рядового человека из народа.

Выдающиеся люди — «продукт массы, — пишет Короленко в дневнике, — и потому могут совершать подвиги героизма, что масса понимает в их время и ценит героизм больше, чем в другие времена».

Ярко воплощен этот мотив в одном из лучших произведений Короленко — повести «Без языка».

Писатель рисует в повести нищету и бесправие трудовых масс американского народа. Простым людям Америки он противопоставляет хищников-капиталистов, интересы которых отстаивают представители власти и вооруженные резиновыми дубинками отряды полиции.

Главный герой повести — добродушный русский крестьянин-переселенец Матвей Лозинский — испытал на чужбине назойливое внимание полиции и откровенную враждебность деловитых янки. В большом капиталистическом городе герой был одинок, как в пустыне, и, как в пустыне, грозила ему гибель. На митинге безработных в Нью-Йорке Матвей Лозинский понял, что его судьба — это судьба многих. В толпе мелькали изможденные лица... Здесь были итальянцы и немцы, поляки и ирландцы. Надежда найти работу и счастье привела их за океан. Но в Америке они встретили лишь безработицу и голод, а вместо свободы — дубинки полицейских. На митинге, среди таких же обездоленных людей труда, как и он сам, Матвей Лозинский впервые испытал волнующее чувство классовой солидарности. Под влиянием этого могучего чувства, «которое билось и трепетало здесь, как море в крутых берегах», герой повести смял и разметал цепи американских полицейских, напавших на безработных.

В лирическом очерке «В облачный день» невзрачный крестьянин — кучер Силуян — превращается в грозного певца народного гнева. Его рассказ о диком произволе «хитрых господишек» и о том, как «вскипело холопье сердце», полон волнующей силы.

Тема народного возмущения — одна из основных тем Короленко. Не случайно им был задуман большой исторический роман о Пугачеве. Материалы для этого романа писатель усиленно собирал в архивах бывшего Яицкого городка на Южном Урале. Массовое крестьянское движение восемнадцатого века, на гребне которого возникла яркая личность Пугачева, по мнению Короленко, давало наиболее характерный пример неразрывной связи между героем и средой, которая его породила.

Особенно смело и злободневно звучали вольнолюбивые произведения Короленко в годы реакции, предшествовавшие появлению в литературе «буревестника революции» — А. М. Горького. Не случайно великий русский пролетарский писатель называл потом десятилетие с 1886 по 1896 год «эпохой Короленко».

Это было время, когда народническое движение в России потерпело полное поражение.

Народники пытались поднять крестьян на борьбу с самодержавием. «Но за ними крестьянство не пошло, так

как они и крестьян, как следует, не знали и не понимали»[1].

Тогда «революционеры без народа», как их называл Короленко, вступили в безнадежное единоборство с самодержавием. По решению тайного общества «Народная воля» 1 марта 1881 года был убит царь Александр Второй.

Сила была на стороне правительства. Оно немедленно разгромило народническую организацию и встало на путь беспощадного подавления малейшего свободомыслия в стране.

Народническая интеллигенция под давлением реакции отказалась от былых революционных стремлений и стала искать примирения с царизмом. «Общественная атмосфера была удушливая... Казалось, что в России всё замерло», — вспоминал впоследствии Короленко. Духом уныния были проникнуты произведения многих писателей.

Однако и в это тяжелое время не заглохла русская революционная мысль.

Реакция не могла остановить хода истории. В стране зрели новые могучие силы — силы пролетариата.

Важнейшим явлением общественной жизни тех лет было возникновение на русской почве первых марксистских кружков и распространение марксизма.

Это была новая, подлинно революционная теория, ничего общего с народничеством не имеющая.

Взгляды народников на законы исторического развития были ошибочными, отсталыми.

Вопреки очевидности, они долгое время не хотели признавать, что в России развивается капитализм, и решительно отрицали передовую роль рабочего класса в революционном движении. Народники доказывали, что зародышем будущего социалистического общества является отсталая крестьянская община — «мир». И в то же время они проявляли полное неверие в революционные силы крестьянских масс.

В статье «От какого наследства мы отказываемся?» В. И. Ленин называет народничество «теорией *реакционной* и *вредной*, сбивающей с толку общественную мысль, играющей на-руку застою и всяческой азиатчине».[2]

---

[1] История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. 1952, стр. 12.

[2] Ленин В. И. Сочинения, изд. 4-е, т. 2, стр. 483.

В восьмидесятых — девяностых годах народники окончательно «стали выразителями интересов кулачества»,[1] людьми, чуждыми русскому рабочему движению.

Марксисты решительно выступали против них в печати, на сходках и на нелегальных собраниях. В своей гениальной книге «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» В. И. Ленин разоблачил истинное лицо мнимых «друзей народа» и «завершил идейный разгром народничества».[2]

Первый рассказ Короленко — «Эпизоды из жизни искателя» — был написан всецело в духе народнической литературы семидесятых годов. Писатель пространно рассуждал в нем о благородном, но несколько туманном служении народу, прославлял одного из своих героев — старого охотника Якуба, носителя таинственной народной мудрости.

Но вскоре Короленко стал всё дальше и дальше отходить от ложных, народнических представлений о деревне.

С раздражением он говорит о писателе-народнике Н. Н. Златовратском, в произведениях которого особенно часто мелькали фигуры мудрых и добродетельных мужиков, готовых постоять за общее, «мирское» дело. Образы этих условных героев поражали Короленко своим несоответствием с реальной жизнью русской деревни, где уже давно происходило классовое расслоение крестьянства.

«Мужика, единого и неделимого, — пишет Короленко,— просто мужика—нет: есть Федоты, Иваны, бедняки, богачи, нищие и кулаки, добродетельные, порочные, заботливые и пьяницы, живущие на полном наделе и дарственники, с наделом земли в один лапоть, хозяева и работники».

Короленко убедился, что взгляды народников на крестьянскую жизнь являются отсталыми и ничего, кроме вреда, принести не могут.

«Эта неопределенная «народная мудрость», — говорит писатель, — привела меня к туманностям Златовратского, а теперь приводит к тому, против чего возмущается всё мое непосредственное чувство: к смирению, к покорности...»

В своих дневниках и письмах Короленко настойчиво высказывал мысль, что в литературе давно пора отказаться от «благонамеренной и идеалистической народнической лжи».

---

[1] История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. 1952, стр. 16.

[2] История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. 1952, стр. 26.

Подлинно реалистическое, правдивое изображение жизни русской деревни, чуждое фальшивой идеализации,— вот та задача, которую ставил перед собой писатель.

«Наши недостатки нам ближе и больнее», — говорил Короленко. Он не подкрашивал, вопреки действительности, героев своих произведений, как это делали литераторы-народники. Его герои — представители наиболее темных и обездоленных слоев населения старой России. Писатель не скрывал теневых сторон их быта, их сознания.

Таков беззаботный перевозчик Тюлин — герой очерка «Река играет». Автор рисует его человеком, чаще всего погруженным в ленивое созерцание природы или в тяжелую похмельную тоску. Таков в «Сне Макара» темный, немного плутоватый крестьянин полуякут Макар, судьба которого глубоко трагична. Таковы в очерке «Смиренные» добродушные крестьяне приволжской деревни Колотилово, которые в течение десяти лет держали на цепи больного, полубезумного человека.

Общественное содержание рассказов и очерков Короленко в свое время было чрезвычайно остро. Писатель рисовал в них не только нищету и обездоленность своих героев, но и те социальные условия, которые так неблагоприятно отражались на их материальном положении и на самой их нравственности.

Короленко умел направить гнев и негодование читателей на представителей высших классов, на тех людей, которые были повинны в разорении и бесправии русского крестьянства.

Одно из лучших своих произведений — рассказ «Сон Макара» — он заканчивает пылким обличением буржуазно-дворянского строя, при котором простой человек был обречен на изнурительный труд и жалкое, полуголодное существование.

В то же время в произведениях Короленко нет оттенка пессимизма, неверия в творческие силы народа и будущее родной страны. «Русский народ есть народ живой и дееспособный», — говорит писатель.

Эта мысль наиболее ярко воплощена в его очерке «Река играет». Во время бури на реке Ветлуге в минуту опасности бесследно исчезает лень и сонливость героя очерка — перевозчика Тюлина. Он преображается в отважного и находчивого человека, способного выйти победителем из любого тяжелого испытания.

Образ Тюлина — одна из больших художественных удач писателя.

В сердцах героев Короленко, даже самых темных и отсталых, всегда живет могучее стремление к социальной справедливости, стремление к другой, более разумной и счастливой жизни. «Человек создан для счастья, как птица для полета», — говорит один из героев очерка «Парадокс». Эти слова могут служить эпиграфом ко всему творчеству писателя.

Короленко называют писателем-гуманистом. Подлинным человеколюбием, активным сочувствием к людям труда проникнуты лучшие его произведения. Но порой его гуманизм становился беспочвенным и отвлеченным. Он говорил о человеке «вообще» и требовал сострадания и «к правому и к неправому».

Короленко не был писателем-революционером. Он не имел ясного представления о законах классовой борьбы и перед собой ставил лишь цель «пробуждения гражданского сознания в обществе и народе».

Однако его смелые выступления против самодержавия, стремление отойти от ложных теорий народничества и общественная правдивость сыграли исключительно большую роль в русской жизни конца девятнадцатого и начала двадцатого веков.

Таковы были причины, которые в свое время дали возможность В. И. Ленину сказать, что Короленко — прогрессивный писатель.

В январе 1906 года на страницах журнала «Современные записки» появились начальные главы большой автобиографической повести Короленко — «История моего современника». Через три года первый том этого произведения вышел в свет отдельным изданием.

Короленко не случайно взялся за разработку автобиографической тематики. Творчество писателя было тесно связано с его биографией.

Героями его рассказов и очерков обычно являлись люди, которых он хорошо знал лично или встречал во время своих бесконечных скитаний по России и Сибири.

Во всех этих произведениях неизменно присутствовал один постоянный герой — сам автор.

В одной из статей Короленко есть несколько характерных строк, посвященных известному русскому писателю

Всеволоду Михайловичу Гаршину: «Его жизнь и его произведения отлиты из одного куска, и, говоря об его жизни, нельзя вместе не говорить об его произведениях и наоборот...»

Еще в большей степени эти слова можно отнести к биографии и творчеству самого Короленко.

«История моего современника» была задумана писателем как обширное литературное обобщение всего того, что было им пережито и совершено в течение жизни.

Замысел произведения сложился у Короленко в 1902—1903 годах, когда в беседах с матерью он стремился восстановить в памяти многие подробности своего детства и русского быта середины прошлого века.

Работу над «Историей моего современника» он начал в 1905 году и продолжал со значительными перерывами около семнадцати лет.

Повествование охватывает более чем тридцатилетний период жизни писателя.

«В этой книге, — говорит Короленко, — я пытаюсь вызвать в памяти и оживить ряд картин прошлого полустолетия, как они отражались в душе сначала ребенка, потом юноши, потом взрослого человека».

Писатель рассказывает в «Истории моего современника» о своем раннем детстве, школьных годах, студенчестве и ссылке в Вятский край и Якутскую область.

В одном из писем Короленко говорит: «Если бы пришлось умирать, не сделав этой работы, чувствовал бы большое раскаяние...»

Повествование ему удалось довести лишь до середины восьмидесятых годов. Он умер в конце 1921 года, во время работы над четвертым томом своей автобиографической хроники.

«История моего современника» осталась незавершенной.

Наиболее стройным и художественно полноценным является первый том этого произведения.

Начиная со второго тома и особенно в третьем и четвертом томах резко меняется характер повествования. Короленко всё далее отходит от художественной манеры изложения и постепенно приближается к форме простых воспоминаний о прошлом.

«Во мне борются бытописатель и художник, — говорит Короленко в одном из своих писем в 1920 году, — и мне приходится отдавать предпочтение бытописателю...»

Первый том «Истории моего современника» свободен от подчеркнутого «бытописательства». Это яркое художественное произведение, посвященное раннему детству и школьным годам писателя.

В русской литературе прошлого века задолго до Короленко уже появлялись автобиографические произведения о детстве. В середине пятидесятых годов Львом Николаевичем Толстым была написана его знаменитая трилогия «Детство. Отрочество. Юность».

В 1858 году вышла в свет повесть известного русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова — «Детские годы Багрова-внука». Это была повесть о безоблачном, радостном детстве ребенка из дворянской среды.

«Ты, золотое время детского счастья, память которого так сладко и грустно волнует душу старика! — пишет Аксаков. — Счастлив тот, кто имел его, кому есть что вспомнить!»

Вслед за появлением в печати произведений Л. Н. Толстого и С. Т. Аксакова многие из русских писателей берутся за разработку тем о детстве. В книге «Былое и думы» рассказывает о своем детстве выдающийся русский писатель А. И. Герцен. Писатель-демократ Н. Г. Помяловский создает правдивую книгу о жизни учеников духовных училищ — «Очерки бурсы». В конце столетия появляются яркие автобиографические повести Н. Г. Гарина-Михайловского — «Детство Тёмы» и «Гимназисты».

Но рядом с этими крупными мастерами русской литературы существовали и другие, реакционные литераторы, имена которых ничего не говорят нашим читателям. Достаточно назвать таких писательниц, как М. Ф. Ростовская, Е. В. Тур и В. П. Желиховская. Они обычно описывали жизнь дворянских детей. Перед читателями возникали идиллические картины помещичьего быта. Добрый помещик-барин, преданные ему крепостные крестьяне, самоотверженная старуха-нянька или старая ключница, верная раба своих господ, — таковы были образы, наиболее характерные для их произведений.

Маленький Владимир Короленко рос в условиях, резко отличавшихся от той обстановки, в которой обычно проходили ранние годы героев дворянской автобиографической литературы.

Отец писателя никогда не владел наследственными поместьями и крепостными крестьянами. Он жил только на свой небольшой трудовой заработок.

Весь быт семьи Короленко по своему строю и духу был глубоко демократическим.

Потомок старого казацкого рода и русский дворянин, Галактион Афанасьевич Короленко относился к своим сословным привилегиям с оттенком явной насмешки. «И мне кажется, что это у него было сознательно», — говорит писатель.

Когда судья Короленко умер, семья его осталась не только «без всяких реальных связей с дворянской средой», но и без средств к существованию.

С юных лет будущий писатель чувствовал себя интеллигентом-пролетарием, разночинцем.

Не случайно его ранние детские впечатления находятся в прямом противоречии с реакционной дворянской легендой о единстве интересов помещиков и крепостных крестьян.

Лучшие страницы «Истории моего современника» посвящены изображению реальных общественных отношений в России пятидесятых-шестидесятых годов прошлого века.

Короленко описывает деревню Гарный Луг, где находились владения его дяди, помещика. Здесь нет и следа крепостнической идиллии. Измельчавшая гарнолужская шляхта ведет паразитическое существование и глубоко враждебна крестьянам-украинцам.

Капитан в отставке, добродушный остряк, дядя юного Короленко оказывается убежденным и беспощадным крепостником. Он приказывает облить на морозе водой трудолюбивого мужика Кароля, заподозренного в сочувствии к беглому крестьянину-гайдамаку, объявившему себя врагом панов.

Безобидный и смешной пан Уляницкий, с которым встречался в Житомире маленький Короленко, неожиданно раскрывается как злой скаред и мучитель. Он изо дня в день истязал крепостного мальчика Мамерика.

Самое яркое детское впечатление о крепостных нравах было связано для писателя с именем помещика Дешерта.

«Это была цельная крепостническая натура, не признававшая ничего, кроме себя и своей воли». В семье Короленко ходили о нем целые легенды, окружавшие его имя грозой и мраком. Говорили о страшных истязаниях, которым он подвергал крепостных крестьян.

«Когда нелюбимые дети попадались ему на глаза, — пишет Короленко, — он швырял их, как собачонок... Одна

дочь, красивая девушка с печальными глазами, сбежала из дому. Сын застрелился».

Вместо фальшивых образов патриархальных помещиков, отечески заботящихся о своих крестьянах, на страницах «Истории моего современника» возникают мрачные фигуры реальных защитников крепостного насилия и деспотизма.

Иными чертами наделяет Короленко и крестьян. Они совсем не склонны быть смиренными крепостными рабами.

Ярко изображает писатель ту обстановку тревожного ожидания, в которой жила Россия перед отменой крепостного права. Грозный призрак крестьянской революции приобретал всё более ясные формы. Герой книги с напряженным вниманием выслушивал вести о том, «что мужики не хотят больше быть панскими, что Кармелюк вернулся из Сибири, вырежет всех панов по селам и пойдет с мужиками на город...»

В 1861 году пало крепостное право. Стараниями правящих кругов России «освобожденные крестьяне» лишились значительной части своих земель. «Пресловутое «освобождение», — писал В. И. Ленин, — было бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и сплошным надругательством над ними»[1]. Беднейшие слои населения деревни были либо разорены реформой, либо оказались в материальной зависимости от помещиков-землевладельцев; «...крестьяне вышли «на свободу» ободранные до нищеты»[2]... Они остались в прежней безысходной кабале у помещиков.

Реакционные литераторы отмену крепостного права пытались выдать за проявление «отеческой заботы» царя о народе. На страницах их произведений разыгрывались фальшивые сцены трогательной признательности крестьян «царю-освободителю».

«Я лично ничего подобного не видел», — говорит Короленко.

Как подлинный реалист, он рисует иные картины. Писатель вспоминает об официальном торжестве в Житомире по случаю освобождения крестьян. Насильственно согнанные из окрестных сел «свободные мужики», войска на городской площади, полиция, напирающая на толпу, истерические крики людей, уверенных, что их собрали для рас-

[1] Ленин В. И. «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция. Сочинения, т. 17, изд. 4-е, стр. 94—95.

[2] Ленин В. И. Пятидесятилетие падения крепостного права. Сочинения, т. 17, изд. 4-е, стр. 65.

стрела, — такими были, по свидетельству современника, истинные проявления «народного одушевления».

«В своей работе я стремился, — говорит Короленко, — к возможно полной исторической правде, часто жертвуя ей красивыми или яркими чертами правды художественной».

Он задался целью создать исторически достоверный и убедительный бытовой документ своей эпохи.

«Здесь не будет ничего, что мне не встречалось в действительности, чего я не испытывал, не чувствовал, не видел», — подчеркивает он в обращении к читателям.

В русской жизни второй половины прошлого века крупнейшим событием было крушение крепостного права. Ему писатель и уделяет больше всего внимания.

Но не менее вдумчиво рисует он и другое выдающееся событие своего времени — польское восстание 1863 года.

Восстание началось в центральных районах Польши. В нем приняли участие не только местные рабочие, ремесленники и крестьяне, но и польская шляхта и буржуазия.

За освободительной борьбой польского народа с сочувствием следили русские революционеры-демократы, Карл Маркс приветствовал восставших.

Весной 1863 года в Варшаве было создано революционное польское правительство.

Для успешной борьбы с многочисленными царскими войсками нужно было вооружить крестьян, создать сильное народное ополчение.

Но в правительстве всё бо́льшую роль стала играть враждебная демократическим силам «партия белых». Это была партия польских дворян — землевладельцев, крупных помещиков. Они боялись борьбы крестьян за землю больше, чем царских солдат, и все надежды возлагали на вмешательство иностранных государств.

Одной из крупнейших ошибок руководителей польского восстания была их позиция в национальном вопросе. Они мечтали о восстановлении старой, «исторической» Польши, включавшей в свой состав украинские, белорусские и литовские земли.

Великодержавные устремления польских патриотов и слабая опора на крестьянство подорвали движение, дали возможность правительству Александра Второго разгромить польские повстанческие отряды.

Наиболее ясно и полно слабые стороны польского освободительного движения обозначались на Украине. Коро-

ленко правдиво освещает те причины, которые помешали польскому восстанию перерасти в общерусскую революционную борьбу.

«Жили мы на Волыни, — пишет Короленко, — то есть в той части правобережной Украины, которая дольше, чем другие, оставалась во власти Польши...»

В течение многих столетий польское дворянство силой оружия стремилось утвердить свою власть на украинских землях. «В селах помещики, в городах среднее сословие были поляки». «Как тень от невидимой тучи», — говорит Короленко, — простиралась на всё вековая ненависть украинских крестьян «к своему панству».

Руководили повстанческими отрядами на Волыни польские дворяне. Они менее всего были склонны отказываться от своих «исторических привилегий». В таких условиях движение не могло получить поддержки со стороны местного населения и было обречено на поражение.

Описанию эпохи, которая наступила после отмены крепостного права в России и польского восстания 1863 года, посвящена бо̀льшая часть первого тома «Истории моего современника».

Короленко рисует характерные сцены школьной жизни второй половины прошлого века. В его описаниях есть родственные черты с «Очерками бурсы» Н. Г. Помяловского.

В книге Помяловского с огромной обличительной силой изображен мрачный быт русских духовных училищ. Грубые и жестокие нравы учащихся, произвол бурсацкого начальства, розга как единственное средство воздействия на воспитанников — такова безотрадная действительность, которую правдиво воспроизвел писатель.

Та же розга, что и в бурсе, процветала и в житомирской гимназии.

Подобно Помяловскому, Короленко ничего не приукрашивает, ничего не смягчает. Последовательный реализм, точное воспроизведение прошлого по воспоминаниям — вот та цель, которую ставит перед собой писатель.

Отражение самодержавного режима в жизни русской средней школы определяет собой содержание ряда глав «Истории моего современника».

Правительственные круги старой России стремились подчинить дело воспитания и обучения молодых поколений строгим педагогическим правилам, которые мало чем отли-

чались от полицейских порядков, сковывавших в те времена русскую жизнь.

Эти условия породили особый тип педагога-формалиста, злого и подозрительного деспота, врага своих воспитанников.

Таков в книге Короленко педагог Лотоцкий — «идеал дисциплины» и вместе с тем человек, некоторые прирожденные странности которого «шли навстречу влиянию отупляющей рутины». В затхлой атмосфере провинциальной гимназии Лотоцкий превратился в придирчивого маниака, нелепо выкрикивающего на уроках своего «желто-красного попугая». Таков образ злого психопата географа Самаревича, таков немец Кранц, который язык Шиллера и Гёте «превратил в бестолковую смесь ничего не означающих звуков и кривляний».

Как символ полицейского порядка, установленного в гимназии, в «Истории моего современника» рисуется образ маленького надзирателя Дидонуса — человека, который назойливо и неутомимо следит за каждым шагом гимназистов.

Точно связующее звено между государством и школой, появляется в повести генерал-губернатор Юго-Западного края Безак. Во время торжественной встречи, устроенной ему в Ровно, губернатор заметил среди гимназистов малыша, не снявшего фуражку, и немедленно приказал арестовать его.

Жизнь гимназии и жизнь государства подчинены одному и тому же полицейскому произволу и насилию — вот тот ясный вывод, который делает Короленко.

Гнетущая обстановка гимназии, гасившая «порывы юного ума своей безответностью на все живые запросы», порождала у подростков чувство неосознанного протеста. По свидетельству Короленко, это чувство выливалось чаще всего в дикие гимназические бунты и в повседневную войну с начальством.

Но писатель не ограничивается изображением одной только теневой стороны старой школьной жизни.

Середина прошлого века была временем, когда складывались и оформлялись общественные взгляды русских революционеров-демократов, когда с необычайной остротой стоял вопрос о крестьянской революции в России.

Новые общественные веяния находили отголосок во всех областях русской жизни. Не миновали они и школу.

Воздействие революционно-демократических идей на сознание учащейся молодежи было огромным. Проводником этих идей в первую очередь была русская классическая литература.

«После разнообразных романтических увлечений, — говорит Короленко в одном из своих писем, — я увлекся глубоко человеческими мотивами русской литературы».

Произведения прогрессивных писателей России становятся «учебником жизни» для молодого поколения шестидесятых годов. «На наше положение, — говорит Короленко, — прямо и ясно указывала литература и затем уже сопровождала каждый наш жизненный шаг».

Могучее воздействие передовых идей на сознание учащейся молодежи было явлением далеко не случайным. Оно сочеталось с появлением в стенах русской средней школы новых людей. Это были молодые учителя, проходившие курс гимназии в конце пятидесятых годов и только что вышедшие из университета.

Таков был в Житомире молодой учитель естественной истории Прелин. Он был гуманен и сердечен с учениками. Именно под воздействием Прелина у героя «Истории моего современника» появилось первое движение «разумной мечты о жизни». Маленький Владимир Короленко мечтает стать учителем, и именно таким, как Прелин. «Я сижу на кафедре, и ко мне обращены все детские сердца, а я, в свою очередь, знаю каждое из них, вижу каждое их движение».

Человеком такого типа был в Ровно Владимир Васильевич Игнатович — учитель химии. Он искренне любил свой предмет, преподавал старательно и с глубоким уважением относился к человеческому достоинству своих учеников.

Но самой яркой фигурой среди «молодых» оказался учитель словесности Вениамин Васильевич Авдиев. Это был широко-образованный, талантливый педагог. Противник штампов, застывших педагогических схем, Авдиев стремился к свободному педагогическому творчеству.

«Говорил он медленно, вдумчиво и свободно, — вспоминает в «Истории моего современника» Короленко. — Урок, очевидно, не был заучен: слова рождались, выплавлялись тут же и летели к нам еще не остывшие».

Каждый урок Авдиева являлся для учеников светлым промежутком «на тусклом фоне обязательной гимназической рутины».

Но в преподавании Авдиева учеников привлекали не

столько блестящая форма изложения и великолепное владение материалом, как то, что он раскрывал, доводил до сознания своих учеников яркие освободительные и гуманистические идеи русской литературы. Не считаясь с казенной гимназической программой, Авдиев знакомил своих учеников с революционными статьями Чернышевского и Добролюбова, с рассказами и повестями Гоголя и Тургенева, с гражданской поэзией Некрасова и Шевченко. В его преподавании изучение словесности «стало увлекательным и серьезным делом».

Появление «новых» людей в стенах гимназии изменило весь тон жизни этого учебного заведения: «...педагогический хор с голосами среднего регистра и выкрикиваниями маниаков покрывался теперь звучными и яркими молодыми голосами», — говорит писатель.

Перед учениками предстал во всем своем обаянии учитель-человек, носитель передовых идей своего времени.

С исключительным мастерством рисует Короленко портреты своих современников. Преподаватели и ученики гимназии, чиновники уездного суда, где служил отец писателя, обитатели Гарного Луга составляют живой и разнообразный круг героев этого произведения.

Главный герой «Истории моего современника» — сам автор. Образ его дан в развитии, в процессе постепенного становления. Мы ясно видим, как складывалась личность замечательного русского писателя от первых проблесков сознания до полной зрелости.

Горячее увлечение молодого Короленко передовой русской литературой, настойчивые поиски общественной справедливости, активная любовь к народу — таковы были наиболее яркие проявления его индивидуальности.

Герой этого замечательного произведения предстает перед читателем как типичный представитель русской демократической молодежи шестидесятых-семидесятых годов прошлого века. Не случайно в его образе воплощены черты, характерные не только для самого Короленко, но и для многих других русских людей того времени.

Это и дало основание писателю назвать книгу «Историей моего современника».

Короленко удалось здесь сочетать большую историческую тему с искренним и взволнованным рассказом о судьбе молодого разночинца.

Художественной манере писателя в «Истории моего современника» свойственны не только яркие бытовые описания, но и авторские раздумья, и лирические отступления, причем в этих лирических отступлениях отражены не узко личные ощущения героя, а большие социальные чувства и переживания.

Эта характерная особенность «Истории моего современника» наиболее значима в наши дни.

В настоящем издании повесть о детстве писателя печатается с некоторыми сокращениями. Но в то же время она пополнена небольшим биографическим очерком «Мое первое знакомство с Диккенсом».

Короленко сам предусматривал возможное сокращение или расширение текста «Истории моего современника». В 1906 году он писал: «Мы постараемся каждой отдельной части придать форму и характер более или менее цельных отдельных очерков, так, чтобы... они были способны жить своею собственной художественной жизнью».

Это дало возможность отобрать из книги наиболее характерные главы и составить из них связную и художественно законченную повесть о раннем детстве и годах ученья писателя.

Б. Летов

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАННЕЕ ДЕТСТВО

НАЧАЛО УЧЕНЬЯ.—ВОССТАНИЕ

В УЕЗДНОМ ГОРОДЕ.— УЧЕНИЧЕСКИЕ ГОДЫ

В ДЕРЕВНЕ

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ

Владимир Галактионович Короленко

ИСТОРИЯ МОЕГО СОВРЕМЕННИКА

Редактор *В. В. Воловинский*
Художник *В. С. Саксон*
Технический редактор *К. И. Лапрун*
Корректор *И. Л. Пархомовская*

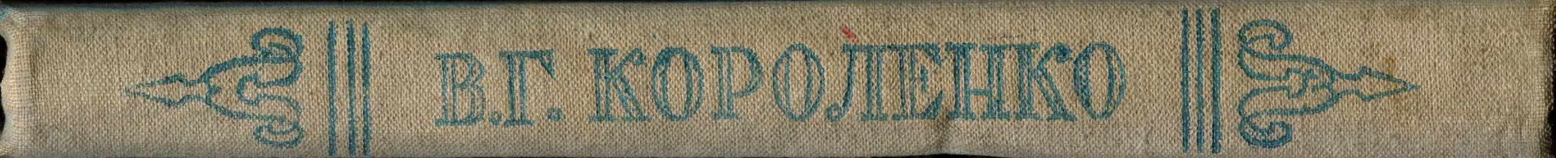
Сдано в набор 27 мая 1955 г.
Подписано к печати 1 сентября 1955 г.
Бумага $84 \times 108^{1}/_{32}$ — 4,62 б. л. = 15,15 усл. п. л.
Уч.-изд. 14,70 л. + 1 вклейка
ЛБ27359. Тираж 75 000 экз. Цена 5 р. 50 к.
Молотовское книжное издательство,
ул. Карла Маркса, 30.

2-я книжная типография Облполиграфиздата.
г. Молотов, ул. Коммунистическая, 57.
Зак. 490.



Цена 5 р. 40 к.

Молотовское книжное издательство
г. Молотов — 1955 г.


В.Г. КОРОЛЕНКО